ЕВА
БЕРАР

БУРНАЯ ЖИЗНЬ ИЛЬИ ЭРЕНБУРГА

БУР.. ЖИЗНЬ


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Книга Евы Берар — увлекательное и вместе с тем исторически достоверное повествование о непростой жизни Ильи Эренбурга, русского европейца, еврейского «печальника», жизнь которого прошла между Россией, Францией и Советским Союзом. Поэт и революционер, известнейший военный корреспондент и ловкий пропагандист сталинской страны, защитник «обиженных» и преуспевающий писатель… Четыре войны, две революции, десятки путешествий по всему миру в качестве официозного «голубя мира». В исследовании Евы Берар судьба писателя восстановлена на основе богатого архивного материала и многочисленных свидетельств современников, на фоне яркой картины русской, советской и французской жизни. Глаз французского историка, наподобие стендалевского «зеркала», отражает беспристрастно, но не без юмора витиеватую судьбу героя в паутине истории.

Ева Берар-Зажицка родилась и воспитывалась в Польше, получила высшее образование в Йельском университете США, живет и ведет исследовательскую работу во Франции.

- Ева Берар
  - ПИСАТЕЛЬ ТРЕХ КУЛЬТУР
  - Благодарности
  - Глава I
    - Киев: ребенок с двумя именами
    - Москва. Лев Толстой и рабочее движение
    - Революция 1905 года
    - Революционер-подпольщик
  - Глава II
    - Вместе с Лениным
    - Разрыв с революционерами
    - Искусство, поэзия и религиозный кризис
    - Война
    - Военный корреспондент
  - Глава III
    - Земля обетованная
    - Московский апокалипсис
    - Киев, переходящий из рук в руки
    - Вирус большевизма
    - Погромы
    - Бесконечное бегство
    - Москва и Чека

- Глава IV
  - Persona non grata в Париже
  - Автор и ученик Хулио Хуренито
  - Берлин: над схваткой
  - Русский еврей или европеец?
  - Эренбург — к психиатру!
  - «Эрзац» как образ жизни
  - Стоит ли оплакивать чекистов?
  - «И все-таки Эренбург вертится»[197]
- Глава V
  - Очаровательное небытие
  - Модернизм и «иудейский дух»
  - Париж — Москва: новые друзья
  - Романтическая ирония Лазика Ройтшванеца
  - Еврей советского исповедания
  - Новая любовь и «производственные романы»
- Глава VI
  - Призрак Горгулова
  - «День второй»
  - Мальро и Эренбург
  - Всеобщая мобилизация писателей: съезд в Москве…
  - …и конгресс в Париже
  - Пощечина Андре Бретона
  - Эренбург среди «своих»
- Глава VII
  - Каталонские анархисты
  - Советская миссия в отеле «Гэйлорд»
  - Конгресс писателей в защиту культуры
  - Террор в Москве
  - Процесс над Бухариным
  - Европа на пороге войны
  - Верность
  - В оккупированном Париже
- Глава VIII
  - Персона нон грата
  - Разгром
  - «Нашим братьям евреям во всем мире»
  - Оборона Москвы
  - Союзники и второй фронт
  - Страшное лето 1942 года
  - Еврейский антифашистский комитет
  - Скоро победа… что дальше?
  - Украина без евреев

- «Товарищ Эренбург упрощает»
- Глава IX
  - Несостоявшееся свидание с победой
  - На ковре-самолете
  - «Буря»
  - Годы позора
  - Голубь мира
  - «Я не Дрейфус, а вы не Золя»
  - Последнее письмо Сталину
- Глава X
  - Бог умер
  - «Оттепель»
  - Советский художник
  - В поисках единомышленников
  - Венгерские события
  - Эренбург под обвинением
  - Голубь мира подстрелен
  - «Доктор Живаго»
- Глава XI
  - Старый упрямец
  - Цензура и самоцензура
  - Масштабная провокация
  - «Поздний вечер был трудным и неспокойным…»
- ИЛЛЮСТРАЦИИ
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -



- ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32
  - 33
  - 34
  - 35
  - 36

- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80

- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124

- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168

- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212

- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215
- ○ 216
- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220
- ○ 221
- ○ 222
- ○ 223
- ○ 224
- ○ 225
- ○ 226
- ○ 227
- ○ 228
- ○ 229
- ○ 230
- ○ 231
- ○ 232
- ○ 233
- ○ 234
- ○ 235
- ○ 236
- ○ 237
- ○ 238
- ○ 239
- ○ 240
- ○ 241
- ○ 242
- ○ 243
- ○ 244
- ○ 245
- ○ 246
- ○ 247
- ○ 248
- ○ 249
- ○ 250
- ○ 251
- ○ 252
- ○ 253
- ○ 254
- ○ 255
- ○ 256

- ○ 257
- ○ 258
- ○ 259
- ○ 260
- ○ 261
- ○ 262
- ○ 263
- ○ 264
- ○ 265
- ○ 266
- ○ 267
- ○ 268
- ○ 269
- ○ 270
- ○ 271
- ○ 272
- ○ 273
- ○ 274
- ○ 275
- ○ 276
- ○ 277
- ○ 278
- ○ 279
- ○ 280
- ○ 281
- ○ 282
- ○ 283
- ○ 284
- ○ 285
- ○ 286
- ○ 287
- ○ 288
- ○ 289
- ○ 290
- ○ 291
- ○ 292
- ○ 293
- ○ 294
- ○ 295
- ○ 296
- ○ 297
- ○ 298
- ○ 299
- ○ 300

- ○ 301
- ○ 302
- ○ 303
- ○ 304
- ○ 305
- ○ 306
- ○ 307
- ○ 308
- ○ 309
- ○ 310
- ○ 311
- ○ 312
- ○ 313
- ○ 314
- ○ 315
- ○ 316
- ○ 317
- ○ 318
- ○ 319
- ○ 320
- ○ 321
- ○ 322
- ○ 323
- ○ 324
- ○ 325
- ○ 326
- ○ 327
- ○ 328
- ○ 329
- ○ 330
- ○ 331
- ○ 332
- ○ 333
- ○ 334
- ○ 335
- ○ 336
- ○ 337
- ○ 338
- ○ 339
- ○ 340
- ○ 341
- ○ 342
- ○ 343
- ○ 344

- ○ 345
- ○ 346
- ○ 347
- ○ 348
- ○ 349
- ○ 350
- ○ 351
- ○ 352
- ○ 353
- ○ 354
- ○ 355
- ○ 356
- ○ 357
- ○ 358
- ○ 359
- ○ 360
- ○ 361
- ○ 362
- ○ 363
- ○ 364
- ○ 365
- ○ 366
- ○ 367
- ○ 368
- ○ 369
- ○ 370
- ○ 371
- ○ 372
- ○ 373
- ○ 374
- ○ 375
- ○ 376
- ○ 377
- ○ 378
- ○ 379
- ○ 380
- ○ 381
- ○ 382
- ○ 383
- ○ 384
- ○ 385
- ○ 386
- ○ 387
- ○ 388

- ○ 389
- ○ 390
- ○ 391
- ○ 392
- ○ 393
- ○ 394
- ○ 395
- ○ 396
- ○ 397
- ○ 398
- ○ 399
- ○ 400
- ○ 401
- ○ 402
- ○ 403
- ○ 404
- ○ 405
- ○ 406
- ○ 407
- ○ 408
- ○ 409
- ○ 410
- ○ 411
- ○ 412
- ○ 413
- ○ 414
- ○ 415
- ○ 416
- ○ 417
- ○ 418
- ○ 419
- ○ 420
- ○ 421
- ○ 422
- ○ 423
- ○ 424
- ○ 425
- ○ 426
- ○ 427
- ○ 428
- ○ 429
- ○ 430
- ○ 431
- ○ 432

- ○ 433
- ○ 434
- ○ 435
- ○ 436
- ○ 437
- ○ 438
- ○ 439
- ○ 440
- ○ 441
- ○ 442
- ○ 443
- ○ 444
- ○ 445
- ○ 446
- ○ 447
- ○ 448
- ○ 449
- ○ 450
- ○ 451
- ○ 452
- ○ 453
- ○ 454
- ○ 455
- ○ 456
- ○ 457
- ○ 458
- ○ 459
- ○ 460
- ○ 461
- ○ 462
- ○ 463
- ○ 464
- ○ 465
- ○ 466
- ○ 467
- ○ 468
- ○ 469
- ○ 470
- ○ 471
- ○ 472
- ○ 473
- ○ 474
- ○ 475
- ○ 476

- ○ 477
- ○ 478
- ○ 479
- ○ 480
- ○ 481
- ○ 482
- ○ 483
- ○ 484
- ○ 485
- ○ 486
- ○ 487
- ○ 488
- ○ 489
- ○ 490
- ○ 491
- ○ 492
- ○ 493
- ○ 494
- ○ 495
- ○ 496
- ○ 497
- ○ 498
- ○ 499
- ○ 500
- ○ 501
- ○ 502
- ○ 503
- ○ 504
- ○ 505
- ○ 506
- ○ 507
- ○ 508
- ○ 509
- ○ 510
- ○ 511
- ○ 512
- ○ 513
- ○ 514
- ○ 515
- ○ 516
- ○ 517
- ○ 518
- ○ 519
- ○ 520

- ○ 521
- ○ 522
- ○ 523
- ○ 524
- ○ 525
- ○ 526
- ○ 527
- ○ 528
- ○ 529
- ○ 530
- ○ 531
- ○ 532
- ○ 533
- ○ 534
- ○ 535
- ○ 536
- ○ 537
- ○ 538
- ○ 539
- ○ 540
- ○ 541
- ○ 542
- ○ 543
- ○ 544
- ○ 545
- ○ 546
- ○ 547
- ○ 548
- ○ 549
- ○ 550
- ○ 551
- ○ 552
- ○ 553
- ○ 554
- ○ 555
- ○ 556
- ○ 557
- ○ 558
- ○ 559
- ○ 560
- ○ 561
- ○ 562
- ○ 563
- ○ 564

- ○ 565
- ○ 566
- ○ 567
- ○ 568
- ○ 569
- ○ 570
- ○ 571
- ○ 572
- ○ 573
- ○ 574
- ○ 575
- ○ 576
- ○ 577
- ○ 578
- ○ 579
- ○ 580
- ○ 581
- ○ 582
- ○ 583
- ○ 584
- ○ 585
- ○ 586
- ○ 587
- ○ 588
- ○ 589
- ○ 590
- ○ 591
- ○ 592
- ○ 593
- ○ 594
- ○ 595
- ○ 596
- ○ 597
- ○ 598
- ○ 599
- ○ 600
- ○ 601
- ○ 602
- ○ 603
- ○ 604
- ○ 605

Ева Берар
Бурная жизнь Ильи Эренбурга

ПИСАТЕЛЬ ТРЕХ КУЛЬТУР

Быть сыном своего века совсем не обязательно значит быть «героем своего времени». Героем XIX века, несомненно, стал Наполеон Бонапарт, а детьми столетия были Жюльен Сорель, Раскольников, Растиньяк. Сын века вовсе не должен поражать нас своими достоинствами или какой-то особой красотой, но он вбирает в себя характерные черты своей эпохи.

Илья Эренбург был посредственным писателем и слабым поэтом, его многотомную автобиографическую книгу, работе над которой он посвятил последние годы жизни, никак нельзя назвать образцом жанра: она носит следы спешки и не дает чувства удовлетворения читателю, который находит там больше вопросов, чем ответов, множество слишком эскизных портретов, легковесных суждений, необоснованных, сомнительных выводов, заставляющих порой усомниться в честности и добросовестности автора. И тем не менее именно Эренбург — настоящий сын своего века. И это ярко демонстрирует его биография, написанная Евой Берар.

Начало его жизни ознаменовалось участием в революционной борьбе, сотрудничеством с марксистскими журналами. Эренбург распространял большевистские листовки, провел шесть месяцев в тюремном заключении, словом, прошел путь, типичный для молодого социалиста. Затем он вынужден был уехать в эмиграцию, где поначалу тоже больше занимался политикой, нежели культурой. Он попадает в Париж накануне Первой мировой войны, в разгар «прекрасной эпохи», в Париж, который стал столицей авангарда. Жизнь в Париже приобщала политических эмигрантов к утонченному эстетизму, к религиозным поискам, к современному искусству. Это была поразительная смесь декадентских умонастроений, мистических озарений, общественных устремлений и эротических соблазнов, как духовных, так и плотских. Эренбург жадно впитывает этот сладкий яд, он дышит этим отравленным воздухом; и вот русский еврей превращается в европейца. С этого момента жизнь его проходит в бесконечных метаниях между Москвой, Парижем, Берлином, Мадридом. Но везде его преследует ностальгия: в России он скучает по Франции, во Франции тоскует по России. Всюду на него смотрят как на чужака: еврей для русских и французов, католик для евреев, еретик для христиан, коммунист для европейских буржуа, «буржуй» для победившего в России пролетариата, для партийных функционеров и для собратьев по цеху — советских писателей. Конечно, в Советском Союзе ему

многие завидовали: он был едва ли не единственным из советских граждан, кто мог безнаказанно пересекать границу и проводить не меньше времени на Западе, чем в СССР.

Бурная деятельность была для Эренбурга средством преодолеть неотступную внутреннюю раздвоенность, перестать ощущать себя человеком без корней. Его жизнь — это постоянное возвращение: из Франции — обратно в Россию, из России — обратно в Европу, из эмиграции — снова на родину, которую он любил несмотря ни на что и которая, тем не менее, была для него хуже, чем чужбина: ведь она так и не признала родным сыном этого еврейского интеллектуала с его скептическим складом ума, всегда предпочитавшего слову «да» слово «нет». Это было «нет» еврея, отрицавшего принадлежность к иудейскому народу; «нет» мистика, тяготевшего к материализму; русского, не имевшего ничего общего с патриархальной крестьянской Россией; «нет» человека, превыше всего ценящего свободу и все-таки оставшегося вместе с соотечественниками нести иго деспотического сталинского режима. Он не решился на эмиграцию, как многие его современники, как, например, нелюбимый им Иван Бунин или обожаемый им Евгений Замятин: Россия влекла его к себе неодолимо, без русского языка он не смог бы творить, он потерял бы душу.

Вместе с тем он не мог оторваться и от Франции, ставшей для него второй родиной. Франция была для него колыбелью европейской культуры, перед которой он преклонялся, столицей мировой живописи, оплотом свободы. Одной из последних работ Эренбурга стали очерки, посвященные его любимым писателям — русским и французским. Первый очерк посвящен Чехову: Эренбург понимал его глубоко, русским умом, и в то же время находил этого писателя «странным», потому что мог взглянуть на персонажей чеховских рассказов и пьес «со стороны», увидеть их глазами иностранца. Другой его герой — Стендаль — был соотечественником Эренбурга-парижанина, но этот галломан смотрел на Фабрицио дель Донго и Жюльена Сореля с позиции русского писателя Льва Толстого. Была еще и третья точка зрения, связанная с «еврейским духом» — с еврейским юмором, иронией, скептической мудростью; носителями этого духа были и предки, и современники Эренбурга, вечно преследуемые, везде и повсюду гонимые, тщедушные, хрупкие и вместе с тем удивительно стойкие. И если Эренбург ненавидел узколобый религиозный фанатизм хасидов, то именно потому, что ощущал себя евреем.

Случай Эренбурга и впрямь из ряда вон выходящий: его принадлежность к двум совершенно разным, во многом

противоположным культурам, его способность видеть одну культуру сквозь призму другой поистине граничит с чудом. Но именно здесь и проявляется черта, присущая XX столетию, в котором ссылка и эмиграция стали распространенным явлением. Эта черта иногда определяет личность, как, например, у Набокова, Вальтера Беньямина или у Башевиса Зингера, а иногда остается чем-то внешним, поверхностным, как в случае Анри Труайя или Стефана Цвейга, но так или иначе, это — отличительная черта нашей эпохи. Илья Эренбург с его тройственной культурной принадлежностью — еврей в России, русский во Франции, француз в России — поистине сын своего века.

Важнейшие события эпохи проходят через его жизнь: он был не только свидетелем, но в большинстве случаев и участником исторических катаклизмов: Первой мировой войны, трех русских революций — 1905 года, Февральской и Октябрьской 1917 года. Он видел белый и красный террор, нэп. В двадцатые годы он жил в России и в Германии, где на его глазах уничтожалось культурное разнообразие и насаждался тенденциозный «реализм» — «социалистический» и «национал-социалистический». Он наблюдал подъем фашизма, нацизма и формирование коммунистического режима, создание сталинской тоталитарной бюрократической империи. Затем — тридцатые годы: сталинский «большой террор» и «коричневая чума». Гражданская война в Испании, падение Парижа, мюнхенский сговор и подписание советско-германского пакта о ненападении и, наконец, Великая Отечественная, ужасы геноцида. Новые надежды, которые пробудила эта кровавая и величественная битва, и крушение этих надежд, утрата последних иллюзий. После войны была «ждановщина», апогей советского шовинизма, когда погромные антисемитские настроения превращаются в борьбу с «безродным космополитизмом» и «дело врачей». Атака на еврейскую культуру — убийство Михоэлса, уничтожение еврейских писателей и всей литературы на идише. Смерть Сталина и последовавшая за ней хрущевская оттепель принесли возрождение надежд и новые разочарования — отставку Хрущева и ужесточение режима.

Илья Эренбург неизменно оказывался в центре событий. Опираясь на его романы, стихи, статьи, очерки, письма, можно в подробностях воссоздать историю этих пяти десятилетий. Он писал романы один за другим, но они не были макулатурой и однодневками, они — свидетельство проницательного наблюдателя, неутомимого путешественника, настоящего бойца, страстно отстаивавшего свою правду. Это был репортер, создавший летопись своего века, видевший все своими глазами и

написавший обо всем, что видел. Как свидетель и очевидец Илья Эренбург не имеет себе равных.

Его «Исповедь сына века» не всегда до конца искренна. Порой Эренбургу приходилось кривить душой. Он воспевал индустриализацию в романе «День второй», в других романах тридцатых годов утверждал преимущества социалистического образа жизни; будучи на Западе, в своих выступлениях отрицал существование «еврейского вопроса» в СССР, воспевал Отца народов, клеймил американский империализм. Но он был убежден, что такая ложь — во имя социального прогресса, мира во всем мире, сплочения всех передовых людей, торжества интернационализма и защиты культуры.

Эренбург был вынужден постоянно лавировать, пытаться отстоять главное, пожертвовав второстепенным, — и в этом он тоже был сыном своего века, страшной эпохи вынужденных сделок и компромиссов, эпохи мюнхенского сговора и Ялтинской конференции. Появление типа «человека лавирующего» стало прямым следствием красной и коричневой диктатур. Когда речь идет о положении интеллигенции в гитлеровской Германии или сталинском Советском Союзе, обычно говорят о страхе — но это заблуждение. Страх всегда связан с неопределенностью: если я скажу правду, то меня могут арестовать… пытать… наконец, расстрелять. Тоталитаризм же уничтожает всякую неопределенность. И Эренбург это прекрасно знал: его бы уничтожили, если бы он сказал хоть слово правды, например, о товарище своей юности Николае Бухарине. В таких условиях говорить правду было равносильно самоубийству: доказательство тому — участь, постигшая Мандельштама. Эренбург хотел выжить — чтобы видеть и осознавать происходящее вокруг, участвовать в жизни и по мере сил защищать тех, кому он в состоянии помочь. Он молчал о преступлениях, которые мог бы разоблачить, — в этом его позже неоднократно упрекали. Он не отрицал того, что молчал в те страшные годы, и считал это наименьшим из своих грехов. Эренбург воспевал верность и считал ее высшим достоинством человека. «Верность — зрелой души добродетель», — писал он в своих стихах 1939 года. Восхищение способностью человека хранить верность вопреки бесчеловечной реальности — еще одна черта эпохи: чем острее честный человек ощущает свое бессилие изменить окружающую действительность, тем более непроницаемой становится стена, ограждающая его внутренний мир от мира внешнего.

Эренбург всегда оставался оптимистом. Он надеялся, что его вера в грядущие перемены в России не является утопией. Он хотел дожить до этого дня, увидеть их торжество. Самоубийство

может быть возвышенным и впечатляющим, но в конечном итоге оно всего лишь театральный жест, который только на руку режиму. Эмиграция — еще один вид капитуляции, отказ выполнять свой гражданский долг. Единственный путь представлялся ему плодотворным — трудиться на ниве культуры, повышать культурный уровень в России; культура была единственной дорогой к свободе.

Автобиографическая книга Эренбурга «Люди, годы, жизнь» стала реализацией этой идеи; создавая свои мемуары, Эренбург стремился придать смысл своей собственной жизни. Он рассказывает молодым соотечественникам, какой была культура в годы его юности — великая культура, раздавленная тиранией и уже позабытая к тому времени, когда Эренбург начал писать свои воспоминания. Он рассказывает о поэтах, художниках, режиссерах, ученых, писателях. Он упоминает убитых, уехавших в эмиграцию, оболганных и высланных из страны; впервые за несколько десятилетий вновь звучат запрещенные имена. Эренбург сражается с цензорами, бдительными реакторами, здравомыслящими и осторожными доброжелателями и почти всегда выходит победителем. Он выполняет свой долг — пробуждает национальную память.

Однако есть еще и зарубежная культура. Сталинизм отрезал Россию от Запада: долгое время все деятели культуры, которые не были коммунистами, огульно шельмовались как прислужники империалистической реакции. Эренбург рассказывает о своей дружбе с европейскими писателями, художниками, политикам не из тщеславия, не для того, чтобы показать, что он был принят в интеллектуальную элиту века, но чтобы познакомить соотечественников с теми знаменитыми людьми, чьи имена запрещалось произносить. Его воспоминания представляют художников разных национальностей: русских, французов, итальянцев, немцев. Все они внесли вклад в мировую культуру.

Всемирную известность принесла Эренбургу его публицистика военных лет. Его статьи появлялись почти ежедневно и были, как говорили тогда, «действеннее автомата». Их успех у тогдашних читателей не знал себе равных: их читала вся армия, они заучивались наизусть всеми — от маршала до пехотинца, они доходили и до штабов, и до самых дальних окопов. Эренбург не пытался упрощать, когда писал для солдат. Он утверждал: наша армия, сражаясь с фашистами на Волге, защищает не только сокровища Эрмитажа или Третьяковской галереи, но и Сикстинскую капеллу Ватикана, и Прадо, и Пинакотеку. И хотя он перечислял музеи «буржуазной» Европы, его понимали рабочие и колхозники, надевшие солдатские

шинели. Он обладал почти волшебным даром подбирать такие слова, которые находили дорогу к сердцу и обеспечивали ему любовь бесчисленных читателей. Эренбург-журналист в своей военной публицистике предстает как самый яркий выразитель эпохи; риторический дар он унаследовал от великих французов — таких мастеров политической речи, как Демулен и Мирабо, Виктор Гюго и Жан Жорес. Ораторское искусство француза сочеталось у Эренбурга с патриотизмом русского и темпераментом библейских пророков.

Ефим Эткинд

1991

Благодарности

Выражаю благодарность всем, кто в восьмидесятые годы брежневского СССР помогал мне в работе над этой книгой советами и материалами, в первую очередь покойной Ирине Ильиничне Эренбург.

В архиве дочери писателя находились материалы из личного архива Б.Я. Фрезинского и других исследователей жизни и творчества И.Г. Эренбурга, которыми я воспользовалась. Б.Я. Фрезинский и И.В. Щипачева любезно предоставили ряд ценных фотографий для настоящего издания.

Ева Берар

Глава I
ДЕТСКИЕ ГОДЫ: ЕВРЕЙСКИЙ МАЛЬЧИК В ЦАРСКОЙ РОССИИ

Киев: ребенок с двумя именами

Как крошка мускуса наполнит весь дом, так малейшее влияние юдаизма переполняет целую жизнь. О, какой это сильный запах!

Осип Мандельштам. «Шум времени»

Чудный и удивительный город Киев, что привольно раскинулся на холмах вдоль широкого русла Днепра! Над городом возвышается величественный собор — София Киевская, построенная по образцу Константинопольской Софии и не уступающая ей по красоте. Город утопает в садах, здесь и там виднеются барочные церковки, на просторных шумных улицах звучит разноязычная речь — русская, польская, украинская, еврейская. Киев, «матерь русских городов», вовсе не похож на торжественные и важные столичные города— Санкт-Петербург или Москву. Тем не менее именно здесь в X веке произошло крещение Руси и началось собирание русских земель. С начала XIX века «третья столица» империи превратилась в столицу российского еврейства: в Киевском университете процент студентов-евреев был самым высоким во всей России. Колыбель русского православия стала колыбелью еврейской интеллектуальной элиты.

Чета Эренбургов жила в центре Киева, что свидетельствовало о привилегированном положении семьи, ее состоятельности и ассимиляции. Киев со времен Екатерины Великой являлся крупнейшим городом в черте оседлости: доступ в другие большие города был евреям в принципе воспрещен. За исключением особых случаев, таких как служба в армии или получение высшего образования, евреям, иноверцам и инородцам воспрещалось покидать черту оседлости и менять место жительства. В 1893-м евреев начинают гнать и из деревень; лишившись своего имущества, они устремились в малые городишки и на окраины городов. Еврейские кварталы и местечки стали синонимом скученности и нищеты. При этом наиболее состоятельным евреям, таким как промышленник Лев Бродский или Григорий Эренбург — служащий его завода, — уровень благосостояния позволял жить в комфортных условиях в центре Киева. В отличие от обитателей местечек и городских окраин, этот слой еврейского населения ассимилировался быстрее, хотя и

здесь далеко не все отказывались от еврейского жизненного уклада или получали светское образование.

Биография Ильи Эренбурга началась с недоразумения — первого, но далеко не последнего в его жизни. Сын Герша Эренбурга родился в Киеве 14 января 1891 года, и его назвали не Илья, а Элий: согласно законам Российской империи евреям запрещалось носить русские имена. Ильей Эренбург стал лишь позже.

Он был желанным ребенком: в семье уже было трое дочерей, и родители очень хотели мальчика. Говоря о себе, Эренбург любил вспоминать русскую пословицу: «Я родился в рубашке», — и добавлял: «А другой у меня и не было»[1]. Он был младшим ребенком в семье, его обожала мать и боготворили сестры, так что детство его было безоблачным, быть может, даже и слишком. Он рос в окружении четырех женщин и вынужден был чуть ли не с рождения бороться за свою индивидуальность. Эренбург, которого впоследствии друзья называли «стопроцентным умницей», быстро понял всю выгоду своего положения и постоянно отравлял семейную жизнь своими капризами и озорством.

Элий Эренбург рос в покое и довольстве. Отец его также носил два имени: одно еврейское — Герш, второе, русское — Григорий. Григорий Григорьевич был колоритной фигурой. В юности он вызвал страшный гнев своего отца тем, что пошел учиться в русскую школу. Отец проклял Григория, среди «гоев» он оставался чужаком, но, несмотря на это, ему все же удалось вырваться из замкнутой еврейской среды. При этом Григорий Эренбург завещал собственному сыну никогда не отрекаться от своих корней: «Отец мой, будучи неверующим, порицал евреев, которые для облегчения своей участи принимали православие, и я с малых лет понял, что нельзя стыдиться своего происхождения»[2]. Дед Эренбурга был уважаемым членом киевской еврейской общины. В доме Эренбургов мебель была обтянута бархатом, мать Ильи, урожденная Анна Ареншейн, играла на фортепиано Чайковского. Эта робкая, хрупкая, слабая здоровьем женщина не возражала в открытую против ассимиляционистских устремлений мужа, но каким-то образом умудрялась сохранять в доме тот самый «мускус иудейства», воспетый Мандельштамом. В семье Эренбургов говорили только по-русски — Илья и его сестры не знали идиша; однако мать старалась почаще отправлять детей к своим родителям, где их учили чтить еврейские обычаи. «Она никогда не забывала ни о Судном Дне на небесах, ни о погромах на земле»[3]. «Добрая, болезненная и суеверная»[4], всегда в окружении бесчисленной

родни, она почти не покидала своей комнаты и строго соблюдала бесчисленные предписания иудаизма. Она раздражала своего мужа, который предпочитал обществу супруги мужскую компанию и частенько покидал дом, чтобы провести вечер в кафе или в ресторане.

Так рос маленький Элий в буржуазной еврейской семье, в «третьей столице» Российской империи, с детства оказавшись на перепутье, на перекрестке культур: с одной стороны — прошлое еврейского народа, его национальные и религиозные традиции; с другой — современное русское общество, настоящая terra incognita, то ли земля обетованная, сулившая богатство и общественное признание, то ли земля изгнания, куда в наказание сослал свой избранный народ грозный библейский Бог.

Москва. Лев Толстой и рабочее движение

В 1896 году Григорий Григорьевич Эренбург получил место управляющего на Хамовническом пивоваренном заводе, и вся семья переехала на север, в Москву. Это был неслыханный подарок судьбы: прошло менее пяти лет с тех пор, как великий князь Сергей Александрович, генерал-губернатор Москвы, отдал приказание очистить город от евреев. Число выселенных тогда достигло десятков тысяч. Однако, как оказалось, переезд в Москву положил начало и новым трудностям, которые в конечном счете привели к разрушению семьи: материальные условия ухудшились, положение отца было ненадежным, его отлучки стали более частыми. Григорий Григорьевич дорожил московскими светскими знакомствами: он стал членом закрытого Охотничьего клуба, ездил туда играть в вист, завязал дружбу с журналистом В.А. Гиляровским, который вручил ему свою знаменитую книгу «Москва и москвичи» с дарственной надписью: «Дорогому Гри Гри на память о многом…» Пока отец находился в постоянной погоне за «многим», мать по-прежнему старалась, чтобы ее дети воспитывались в духе еврейской традиции. Каждую весну она отправляла Элия и девочек в Киев, к дедушке и бабушке. «Дед по матери был благочестивым стариком с окладистой серебряной бородой. В его доме строго соблюдались все религиозные правила»[5]. Маленький Элий восставал против этих строгостей: «Дед был набожным евреем, он жил среди семисвечников, талесов, молитвенников. У него я все делал невпопад: писал в субботу, задувал не те свечи, снимал фуражку, когда надо было ее надеть»[6]. Но при этом Элий подспудно усваивал ортодоксальные религиозные обычаи, уклад повседневной жизни, вкус к еврейскому юмору, рассказам и историям: «Я подражал: молился, раскачиваясь, вдыхал запах гвоздики, которым пах флакон с серебром»[7].

Ребенок подрастал, но оставался все таким же капризным и непослушным: «Меня избаловали, и, кажется, только случайно я не стал малолетним преступником»[8]. Вместе с тем Илья быстро осознал, что его привилегированное положение скоро кончится, если он станет пренебрегать учебой. В десять лет он должен был держать государственный экзамен: число евреев, которым разрешалось получать среднее образование, определялось в соответствии с «процентной нормой». Таким образом, Эренбург мог надеяться на поступление в гимназию только в том случае, если бы он получил отличный балл. Несмотря на то что через несколько дней после экзамена процентная норма была

пересмотрена и снижена, Илья блестяще сдал экзамен и поступил в престижную московскую гимназию. Однокашники обзывали его «жидом пархатым», изводили разными обидными кличками и дразнилками. Так ли он представлял себе встречу с Москвой? «Слово „еврей“ я воспринимал по-особому: я принадлежу к тем, кого положено обижать; это казалось мне несправедливым и в то же время естественным»[9]. Несмотря на буржуазную семью, частных учителей, поездки на воды в Эмс, в Германию, несмотря на ощущение собственной значимости, в нем неизбежно возникает обжигающее чувство смятения, страха, стыда и гнева, знакомое каждому еврею, заведомо обреченному на униженное положение в обществе. Вскоре к этим чувствам прибавятся еще гнев и жажда сопротивления. В 1903 году разнеслась ужасная весть о кишиневском погроме: во время главного иудейского праздника Песах при попустительстве полиции в гетто была учинена кровавая расправа. В первый раз Эренбург узнал о насилии, вызванном юдофобством: «Помню рассказы о кишиневском погроме, мне было двенадцать лет; я понимал, что произошло нечто ужасное, но я знал, что повинны в этом царь, губернатор, городовые…»[10] Дома родители бурно обсуждают произошедшее. Отец поручает Илье переписать текст Льва Толстого, который тайно ходил по Москве: знаменитый «еретик» (писатель не так давно был отлучен от церкви Священным Синодом) обвинял правительство, церковь и чиновников в том, что они портят русский народ, разлагают нравы. Илья был горд тем, что их знаменитый сосед (Эренбурги жили в Хамовниках, неподалеку от дома Толстого) оказался их союзником и единомышленником. Позже, в своих воспоминаниях «Люди, годы, жизнь» Эренбург, не без укора в адрес современников, напишет: «…антисемитизма в те времена интеллигенты стыдились, как дурной болезни»[11].

В отличие от Санкт-Петербурга — холодной мраморной столицы, где находились императорский двор и европейски образованная элита, в отличие от многонациональной мозаики Киева, купеческая Москва с ее деревянными церквями была городом патриархальным и истинно русским. Дом, где жили Эренбурги, и завод, на котором работал отец, находились возле Садового кольца, так что Илья ходил пешком в гимназию, расположенную напротив Храма Христа Спасителя. Пивоваренный завод стоял возле дома Льва Толстого: часто можно было видеть, как граф разъезжал верхом по окрестным улицам и переулкам. Когда Толстой приезжал из Ясной Поляны в Москву, у него бывали журфиксы, и можно было слышать, как у

дверей его дома звучали громкие имена: здесь собирались сливки тогдашнего русского общества. Как-то раз Лев Толстой посетил Хамовнический пивоваренный завод граф полагал, что пиво может оказаться эффективным средством в борьбе с водкой и поможет справиться с пьянством, разлагающим народ. Московские рабочие в большинстве своем были из крестьян, приехавших в город на заработки, у многих в деревнях оставались семьи. Народную жизнь Илья наблюдал каждый день. Вокруг заводских построек, в убогих лачугах рабочих, в заводском дворе — всюду ему открывался жестокий неизведанный мир, в котором он прижился в качестве писца: «Я писал под диктовку рабочих письма в деревню, писал про харчи, про болезни, про свадьбы и похороны»[12].

«Рабочий вопрос» был одним из самых злободневных. Студенты и гимназисты с горящими глазами обсуждали запрещенные сочинения Плеханова и Каутского. Пресловутый вопрос «Что делать?» был у всех на устах, однако отнюдь не все, как Ленин, вкладывали в него конкретное политическое содержание; чаще он звучал как голос юного поколения, размышляющего об ответственности и задачах русской интеллигенции.

Но был ли «рабочий вопрос» единственным обстоятельством, толкнувшим Эренбурга на путь, приведший его в 1906 году в большевистскую ячейку РСДРП — Росийской социал-демократической рабочей партии? В самом деле, ощущал ли себя этот мальчик, «лишь по случайности не ставший малолетним преступником», частью интеллигенции, мучившейся неизбывным чувством вины перед народом, стремившейся трудиться на благо простых тружеников? Обладал ли он характером профессионального революционера?

Революция 1905 года

Летом 1904-го, когда началась Русско-японская война, Илье было тринадцать лет. Война была где-то далеко, и поражения русской армии мало его задевали. Он много читает, хотя его мать тщательно следит за тем, чтобы ее единственный сын не попал под влияние вредных книг: так, она запретила ему читать «Воскресение» Толстого. Однако городская публичная библиотека с лихвой восполняла недостатки: там он находил произведения Горького, Леонида Андреева, Куприна. На вопрос школьного журнала о любимом писателе и любимом герое Илья отвечает, не боясь показаться высокопарным: «Достоевский и Аввакум». Эренбург разделяет со своими товарищами страсть к театру, к Ибсену и Метерлинку. Но вдруг самые знаменитые русские писатели публично заявляют, что Россия оказалась совершенно не готова к войне, стали раздаваться открытые требования отставки всех (не исключая и самого царя), кто был виновен в унизительном поражении, которое потерпела великая Россия от крошечного государства. Толстой призвал к гражданскому неповиновению. Комиссаржевская и Андреева, две великие актрисы, которым поклонялись поэты-символисты, декламировали бунтарские стихи и открыли двери своих театров для стачечных комитетов и запрещенных политических партий. Студенты и гимназисты восхищались ими и стремились им подражать.

В воздухе витало тревожное предчувствие больших перемен; в семейном гнезде становится тесно. В конце концов их дом не выдержал потрясений: Григория Григорьевича уволили с завода, он потерял должность и директорский кабинет. Илья вместе с матерью и сестрами находится в это время на водах в Эмсе. Женщины решили продлить свое пребывание в Германии, а Илья один отправился назад в Москву. Они поселились с отцом в меблированных комнатах. Илья восхищен их новым независимым и неустойчивым существованием. Он не слишком тоскует по уютному семейному очагу и быстро находит ему замену у своих однокашников-гимназистов.

Как только Илья сдал вступительные экзамены и успешно преодолел барьер «процентной нормы», он тут же забросил учебу. В гимназии интеллектуальным развлечением стало редактирование рукописного школьного журнала «Новый луч»: «В этом журнале мы говорили о том, что „знание победит мрак невежества“»[13]. В ожидании грядущего освобождения Илья проводил время у ворот соседней женской гимназии. «Перейдя в

четвертый класс, я почувствовал себя взрослым и начал влюбляться в различных гимназисток, убегал до конца урока, ждал девочку у выхода и нес ее книги, аккуратно завернутые в клеенку»[14]. В своем первом автобиографическом романе «Книга для взрослых», написанном в 1935 году, он дает понять, что в гимназическую большевистскую организацию он попал благодаря своим подругам — сестрам Львовым, светловолосой Егоровой, а также благодаря Николаю Бухарину: «Бухарин был весел и шумен. Когда он приходил в квартиру моих родителей, от его хохота дрожали стекла…»[15] В воспоминаниях, вышедших в шестидесятые годы, Эренбург более серьезно описывает свой приход в РСДРП: «Я познакомился с некоторыми учениками старших классов: с Бухариным, Астафьевым, Циресом, Ярхо. От Бухарина я услышал впервые про исторический материализм, про прибавочную стоимость, про множество вещей, которые показались мне чрезвычайно важными и которые резко переломили мою жизнь»[16].

Много позже, в 1960 году, Эренбург обратится к Н.С.Хрущеву с просьбой разрешить опубликовать в мемуарах «Люди, годы, жизнь» главу, посвященную «Бухарчику». Последует отказ: несмотря на разоблачение культа личности и XX съезд, Бухарин так и останется главой «правой оппозиции», врагом коллективизации и индустриализации страны. Эренбург будет вынужден, говоря о друге своей юности, прибегать к намекам и уклончивым формулировкам. Но в годы юности дружба с Бухариным сыграла для Ильи решающую роль.

В главе, представленной на суд Хрущева и так и оставшейся не изданной вплоть до 1988 года, Эренбург напишет: «Бухарин был героем моей молодости, близким другом, старшим по возрасту. Он еще меньше меня казался приспособленным к политике. Он был полон радости, задора и юмора. Он любил поэзию и живопись. Сегодня я вспоминаю его с нежностью и с чувством признательности»[17]. Бухарин происходил из православной семьи, но рано отказался от религии. Эренбург, также порвавший со своим окружением, с энтузиазмом разделял устремления своего друга, которые, впрочем, пока еще были весьма неопределенны: бунтарский дух выражался во фразах, заимствованных отчасти из марксистского, отчасти из народнического лексикона. Революция 1905 года придаст им новую определенность.

В ноябре 1904-го Эренбург и его товарищи проводят время в университете. Они влились в ряды студенчества: это и опьяняло, и таило в себе новые опасности. Молодые люди защищали университет, ставший одним из штабов революции: «Мы развели

костры, жевали колбасу и пели: „Смело, друзья, не теряйте бодрость в неравном бою!..“ Мне было четырнадцать лет, и теперь можно признаться, что в моей голове Карл Маркс мешался с Фенимором Купером»[18].

В августе 1905 года правительство уступило требованиям профессоров и студентов: университету вернули автономию. Впоследствии Витте признал, что эта мера стала первой брешью, через которую революция, прежде вызревавшая в подполье, вышла на свет. Студенты открывают аудитории для массовых митингов, где заседали вместе с рабочими и гимназистами. 17 октября 1905 года, под угрозой всеобщей забастовки, император Николай Второй подписывает манифест, в котором учреждаются Государственная Дума, новый избирательный закон, даруются основные гражданские свободы. Политические партии выходят из подполья, избирательное право признается и за еврейским населением. Но в начале декабря в Москве снова вспыхнула всеобщая стачка, на сей раз переросшая в вооруженное восстание: «Помню декабрь: тогда впервые я увидел кровь на снегу. Я помогал строить баррикаду возле Кудринской площади. Никогда не забуду Рождества — тяжелой, страшной тишины после песен, криков, выстрелов»[19]. Через несколько дней восстание было подавлено.

Революция закончилась. Молодым людям пришлось снова определяться в обычной жизни. Эренбург возвращается в гимназию, однако несколько месяцев, проведенных в эпицентре борьбы, заставили его повзрослеть раньше времени. Вскоре он бесповоротно бросает школу, предпочтя урокам участие в подпольной деятельности. В докладе начальника Московского охранного отделения фон Котена, посвященном подпольной социал-демократической организации в средних учебных заведениях Москвы, говорилось, что «партия приобрела для себя из среды учеников новых работников», наиболее активные из которых работают в качестве «районных пропагандистов»[20]. В числе их были названы Николай Иванович Бухарин и Илья Гиршев Эренбург.

Революционер-подпольщик

Неудача, которую потерпело вооруженное восстание, лишь утвердила молодых революционеров в правильности выбранного пути. Надо было только выработать новые аргументы, способные оправдать риск, заложенный в работе в революционном подполье. Статья, написанная Эренбургом в 1907 году для социал-демократической газеты «Звено», хорошо отражает тогдашнее его настроение: здесь и риторика рабочих маевок, и эсеровский пламенный романтизм, и призывы к дисциплине чисто ленинского стиля:

> «С твердым сознанием новой силы, со светлой верой в конечную победу загнанный в подполье пролетариат оттачивает свое оружие — строит свою рабочую партию… Под красное знамя зовет он всех униженных и оскорбленных, всех, кто искренне жаждет обновления человечества. Тернистой, но верной дорогой идет он к цели — социализму. И нет, и не должно быть зрителей в этой исторической борьбе: кто не с ним, тот против него. К тем из учащихся, кто решил отдать свою жизнь делу освобождения труда, будет направлено наше слово. Мы хотим подготовить их к трудной роли быть барабанщиками и трубачами великого класса, хотим научить их науке борьбы, хотим спаять их крепким звеном с мессией будущего — пролетарием»[21].

Итак, в шестнадцать лет Эренбург уже стал ленинским «профессиональным революционером»: вместе с Бухариным он организует забастовку на московской обойной фабрике, собирает среди студентов деньги для забастовочного комитета. «В подполье я делал все, что делали другие: писал прокламации и варил в противне желатин — листовки мы размножали на гектографе, — искал „связи“ и записывал адреса на папиросной бумаге, чтобы при аресте успеть их проглотить; в рабочих кружках пересказывал статьи Ленина, спорил до хрипоты с меньшевиками и старался, как мог, соблюдать правила конспирации»[22].

Вместе с тем участие в подпольной организации не предполагало обязательного прекращения учебы. Николай Бухарин, например, вернулся в университет. Но Эренбург был неустойчивым, склонным к крайностям, к бунтарству. В нем

тлело подспудное желание довести свой конфликт с обществом до последней черты, до полного разрыва. Вслед за поражением революции начался небывалый всплеск антисемитизма. Черная сотня бесчинствовала в городах, крестьяне нападали на еврейские местечки. По словам историка, «в 1905 году для евреев в России настала Варфоломеевская ночь»[23]. Едва добившись признания своих прав и своей культуры, евреи обречены были горько поплатиться за новообретенные свободы. Одни спасаются, уезжая за море в эмиграцию, другие вступают в борьбу за достойное место в конституционной России. Эренбург отыскал себе нишу в подпольном революционном движении, среди социал-демократов: к антисемитизму они относились с презрением, как и ко всем проявлениям национального и религиозного сознания. В их кругу он чувствовал себя увереннее, здесь ему жилось проще и дышалось легче, чем в русском обществе.

Однажды в ноябре 1907 года, в три часа ночи раздался стук в дверь: на квартиру явились жандармы. Во время обыска были обнаружены только ноты «Марсельезы» и несколько открыток. На этот раз Илье повезло, и он продолжает подпольную работу. После того как он успешно справился с первым партийным поручением — сбором денежных средств для забастовщиков, ему доверили более ответственное задание — создание партийной ячейки в казармах.

Целая пропасть отделяла мир обывателей от жизни подпольщиков: «Я враждебно относился к своим родителям, к эсерам, к декадентской поэзии, к Исидоре Дункан и к молоденьким девушкам, которые думают только о замужестве. Искусство я считал постыдной слабостью и никогда бы не признался, что провел ночь за чтением „Мистерий“ Кнута Гамсуна». Добровольный отказ от светской жизни, театров и литературных разговоров, презрение к поэтам-декадентам, которыми он зачитывался в четырнадцать лет, — все это, несомненно, было следствием нового интеллектуального окружения, повлиявшего на его кругозор. Между тем в революционных кругах, которые никак не могли оправиться от поражения революции 1905 года, начинается страстное увлечение идеалистическими построениями; возникает феномен «богоискательства» (само это понятие принадлежит философу Николаю Бердяеву). Бердяев и ряд других мыслителей отказались от идей марксизма и социал-демократизма, осудили «нигилизм» (то есть материализм и атеизм) революционной интеллигенции и стали на путь реабилитации духовности и религии. Радения «богоискателей» привлекали многих поэтов и писателей, готовых заняться расстрижением разума, — но не молодого Илью

Эренбурга.

В феврале 1908 года к нему домой снова пришли жандармы, и на этот раз его арестовали. Во время обыска была найдена печать создаваемой «боевой группы социал-демократов». Эренбургу угрожало шесть лет каторжных работ, он провел в заключении пять месяцев. Он сидел вместе с уголовниками; встречал в заключении и товарищей по партии, участвовал в голодовке заключенных, предпринял попытку побега. Самое страшное началось, когда его поместили в одиночное заключение: выносить это ему, семнадцатилетнему, было не под силу. Он подает ходатайство об изменении меры пресечения, и, как ни странно, его освобождают из тюрьмы, запретив проживание в Москве. Следуют месяцы скитаний: вначале Илья уезжает по месту своего рождения, в Киев, затем следует запрет на жительство в Киеве и Киевской губернии. Он находится под гласным надзором полиции, которая всюду следует за ним по пятам. Эренбург отправляется вначале на юг, в Полтаву — чужой город, где у него не было ни крова, ни друзей, а затем нелегально возвращается в Москву. В конце концов, отчаявшийся и обессиленный, Илья сдался. Он явился в отделение и попросил вернуть его в тюрьму: тюремное заключение кажется ему предпочтительнее, чем «свобода под надзором». Однако развязка оказалась неожиданной: его драматическое решение вызвало у жандармов снисходительную улыбку: оказывается, отец добился для него разрешения выехать за границу «в связи с состоянием здоровья». После десяти месяцев страха и скитаний, вконец измученный, Эренбург наконец согласился уехать. Родители предлагали ему продолжить образование в Германии. Но он предпочел поехать в Париж.

Глава II
ЭРЕНБУРГ В ПАРИЖЕ МЕЖДУ ЛЕНИНЫМ, БОГОМ И БОГЕМОЙ

После обращения в католичество Макс Жакоб написал синим мелком на стене своей мрачной комнаты на улице Равиньян такую заповедь для самого себя: «Никогда не бывать на Монпарнасе».

Андре Сальмон. «Монпарнас»

Вместе с Лениным

Почему же Эренбург все-таки выбрал Париж? Чем привлек его этот город, какие образы, легенды и грезы были с ним связаны? Германия ему казалась страной, где учатся в университетах, ведут серьезный, размеренный образ жизни — жизни как раз такой, от которой он уже отказался в Москве. Далекий Париж был для него городом приключений и революции. Позже Эренбург, конечно, скажет, что им владела одна-единственная мысль — присоединиться к Ленину и продолжать партийную работу.

Ленин, правда, только что переехал из Женевы в Париж, где пересекались пути русских, покинувших страну после подавления революции. Состав этой волны эмиграции был весьма пестрым. Среди политических беженцев были большевики и меньшевики, эсеры и анархисты, было много евреев, рабочих и ремесленников. Газеты писали о «русской общине», тогда как в реальности русская эмиграция представляла собой мозаику, состоявшую из евреев, поляков, русских, прибалтийцев и кавказцев. Несмотря на значительные социальные, национальные и политические различия, русская колония демонстрировала поразительную солидарность: организовались столовые, кассы взаимопомощи, биржи труда и, самое главное, учебные заведения — курсы, лекции, народный университет, две библиотеки. В Сорбонне русские составляли самый большой контингент иностранных студентов. Обучение производилось в двух направлениях. Интеллигенция, как полагается, несла просвещение в народ: лекции, читавшиеся в зале Алькасара и на авеню Шуази, затрагивали самые актуальные темы — от женской эмансипации до политики Столыпина. Вместе с тем те же самые интеллигенты не в состоянии были приспособиться к быту и найти себе заработок; для них открылись профессиональные курсы Рашель, где можно было выучиться на электрика или механика[24]. Культурная жизнь была богатой и разнообразной: литературные вечера, спектакли, маскарады. Но все это не могло победить в эмигрантах чувства деклассированности. Еженедельник «Le Messager de Paris» в каждом номере сообщал об очередном самоубийстве: среди пожелавших свести счеты с жизнью были рабочие и служащие, врачи и предприниматели, преследуемые долгами, а чаще всего молодые люди лет восемнадцати — двадцати. В то время получить вид на жительство было нетрудно: сорок лет спустя Эренбург поразит советских читателей рассказом о том, как он жил в Париже не только без паспорта, но и без удостоверения личности. Однако устроиться на работу было

нелегко, да и заработки были мизерные. В этих трудных условиях болезнь часто приводила к смертельному исходу, а беременность воспринималась как катастрофа.

Впрочем, нищенство Илье не угрожало: отец каждый месяц посылал ему пятьдесят рублей, что равнялось тремстам франков. Этого было вполне достаточно, чтобы прожить: обед в русском кафе стоил 60 сантимов, входной билет на поэтический вечер в «Клозери де Лила» — 75 сантимов. Небольшая двухкомнатная меблированная квартирка обходилась в 500 франков в год. Эренбург поселился в маленькой гостинице возле площади Данфер-Рошеро; разложив там свои книги, он отправился бродить по улицам. Город увлек его, очаровал, окутал своей особой атмосферой; однако молодой человек ни на минуту не забывал о своей главной цели — отыскать здесь товарищей по борьбе.

В этом отношении он поселился очень удачно: четырнадцатый квартал Парижа в это время был чем-то вроде главного штаба большевиков. Ленин и Крупская жили на улице Мари-Роз, 4; подруга Ленина Инесса Арманд — неподалеку от них. Типография, где печаталась большевистская газета «Пролетарий», находилась на авеню д'Орлеан, 110, а в близлежащих кафе проходили партийные собрания.

Эренбург быстро разыскал своих товарищей: он посещает их сходки, участвует в дискуссиях, и его скоро замечают. Его приглашает к себе Ленин и долго расспрашивает о положении в России. У Ильи есть все возможности осуществить свою мечту об участии в партийной работе. Его ценят за полемический дар, у него есть опыт подобной работы и в пролетарской среде, и в печати. Почему же он, тем не менее, спустя год покинет большевиков и никогда больше не станет членом партии? Надо сказать, что в эти годы парижские соратники Ленина представляли собой малопривлекательное сообщество. Несколько десятков революционеров полностью погрязли в спорах, конфликтах и интригах. Ленин ополчился как против левого, так и правого уклона, яростно громил всех, кто не разделял его тактических компромиссов, и тех, кто отступал от марксистских догм.

В 1906 году обе социал-демократические фракции — большевики и меньшевики — извлекают урок из разгрома вооруженного восстания и решают восстановить партийное единство. В 1908-м юный Эренбург даже опубликовал в нелегальной газете статью «Два года объединенной партии». Однако Ленин, убежденный в том, что объединение с меньшевиками — это путь к политическому самоубийству, сохранил тайную структуру большевистской организации и

продолжил ожесточенную полемику, вызывая своей нетерпимостью недовольство даже внутри своей группы. Слева Ленина критикует его собственный секретарь, философ Александр Богданов. Глава группы так называемых «отзовистов», он не согласен с участием социал-демократов в Думе. Ленин переносит спор с Богдановым в область идеологии, выбрав объектом своей критики труд Богданова «Эмпириокритицизм», где тот предпринял ревизию марксизма в свете идей австрийских философов Маха и Авенариуса. Ополчась против «махистов», Ленин усердно работает в библиотеке Британского музея и в мае 1909-го дописывает свой ответ: «Материализм и эмпириокритицизм». Пока он громил эмпириокритицизм, двое других товарищей — Анатолий Луначарский и писатель Максим Горький, гордость партии, — приготовили ему неприятный сюрприз, присоединяясь к богдановской группе «Вперед». Два сподвижника Ленина публикуют ряд статей, в которых объявляют себя «богостроителями», толкуют социализм как новую религию масс, где «человек человеку бог». Почувствовав себя окруженным со всех сторон, Ленин, разъяренный, негодующий, решается резать по живому. В июне 1909 он созывает расширенное заседание редакции газеты «Пролетарий», где и предлагает объявить отзовизм, махизм и богостроительство несовместимыми с принадлежностью к фракции большевиков и требует тут же исключить Богданова и Луначарского из большевистских рядов.

Эренбург не принадлежал ни к одной из этих ересей. Однако ему становится все неуютнее в этом сектантском мире с его нетерпимостью, отлучениями, расколами и распрями. Вопрос о Боге его как раз очень волнует (ниже об этом еще пойдет речь), но при этом он толкует его совсем по-другому, чем товарищи по партии.

Ко всем интригам и чисткам в большевистской группе добавляется и громкий финансовый скандал: в России полиция раскрыла громкое дело об ограблении Государственного банка в Тифлисе в 1907 году и нашла заказчиков преступления. Заказчиком оказалась тайная боевая организация большевиков, которой руководили Ленин и Богданов. Российская пресса ликует, европейские социалисты в смятении.

«В партии началась настоящая буря, — рассказывал один из сподвижников Ленина. — Против большевиков и, в особенности, против Ленина были выдвинуты громкие обвинения. Некоторые требовали исключить из РСДРП большевиков. Специальное заседание ЦК, созванное в связи с этим инцидентом, под давлением меньшевиков приняло решение сжечь оставшиеся пятисотенные купюры. <…> Квартиру на авеню д’Орлеан

называли „осиным гнездом“, „штабом ленинистов“ или просто „бандитским штабом“[25]».

В своих мемуарах «Люди, годы, жизнь» Эренбург, разумеется, ни словом не коснется всех этих превратностей судьбы, обрушившихся на ленинскую группу. Он расскажет о собраниях, проходивших на авеню д’Орлеан, о демонстрации у Стены Коммунаров, о митинге французских социалистов с участием Жана Жореса. Один эпизод все-таки выделяется среди этих туманных воспоминаний: в 1909 году по заданию партии он отправляется в Вену, где ему предстоит работать с «видным социал-демократом Х.». Эренбург надеялся, что ему удастся из Вены нелегально пробраться в Россию. Имя этого «видного социал-демократа» он сохранил в тайне. И неудивительно, ведь речь идет о Льве Давыдовиче Троцком. Встреча оказалась трудной и неудачной. Начинающий поэт, каким являлся тогда Эренбург, испытал тяжелое потрясение, когда услышал высказывания Троцкого о литературе и искусстве. В своих воспоминаниях Эренбург напишет: «Это были не мнения, с которыми можно было поспорить, а безапелляционные приговоры. Такие же вердикты я услышал четверть века спустя в некоторых выступлениях на Первом съезде писателей»[26]. Неслучайно Эренбург сравнит высказывания Троцкого с речами, произнесенными на съезде 1934 года, том самом съезде, где была установлена власть Сталина в области культуры. Троцкий пользовался в партии репутацией человека в высшей степени авторитарного; ему не хватало «того личного обаяния», которое исходило от Ленина и которое, вероятно, подействовало на молодого Эренбурга[27]. В Вене Троцкий поддерживает тесные связи со сторонниками психоанализа, стены его венской квартиры увешаны произведениями современной живописи. Колкие обвинения Эренбурга звучат странно; впрочем, можно предположить, что в данном случае Троцкий сыграл роль «козла отпущения», который понадобился Эренбургу для объяснения причины собственного разрыва с большевиками.

Разрыв с революционерами

Каковы бы ни были реальные основания для сведения счетов с Троцким, Эренбург в результате отказывается от замысла нелегально перебраться в Россию и возвращается обратно в Париж. По дороге он заезжает в Германию, чтобы повидаться с матерью и сестрами. С фотографии, сделанной во время этой встречи, смотрит юноша с серьезным, немного отсутствующим взглядом, с удлиненным овалом лица — именно таким его впоследствии изобразит Пикассо; рядом с ним четыре женщины. Тщательно причесанные волосы, аккуратный костюм — перед нами в последний раз предстает «молодой человек из хорошей семьи». Вернувшись в Париж, он тут же переезжает из квартала большевиков, чтобы поселиться на Монпарнасе, а заодно и резко меняет образ жизни.

Прощание с ленинской группой произошло без сожалений. На большевистских собраниях Илья познакомился с молодой петербурженкой Елизаветой Полонской. Лиза была страстной поклонницей поэзии, сама писала стихи, и под ее влиянием Илья смелее погружается в поэтические упражнения. Ее острый, ироничный склад ума позволяет посмотреть по-другому на товарищей. Благодаря Лизе он снова мог с юмором взглянуть на свое окружение и на партийную работу. Используя Лизины знакомства в типографии, молодые люди изготовили два журнальчика: «Бывшие люди» и «Тихое семейство», этот последний снабжен эпиграфом «Любовь к людям не дает нам покоя»[28]. Там собраны все: руководители эсеров, отец русского марксизма Георгий Плеханов, Троцкий, выступавший с пламенным призывом жертвовать средства на его венскую «Правду», и, наконец, сам Ленин — на пьедестале, в фартуке, с метлой в руке и с надписью «Старший дворник». Следовало объявление на книгу «Ленин. Руководство, как в семь месяцев стать философом».

Товарищи смеялись над карикатурами, но Ленину было не до смеха. Один из его соратников вспоминает: «Мне хорошо запомнилось выражения отвращения на лице Ленина, когда на одном из собраний он впервые увидел этот журнал. „Тухлятина“, — сказал он. Однажды в разговоре о молодых „стилягах“ Ленин так отозвался о них: „В каждой революции есть грязная накипь. С чего бы нам быть исключением?“»

Большевики-ленинцы испытывали к перебежчикам величайшее презрение: «Литературная и артистическая богема… это особая среда. Это молодые люди, едва понюхавшие пороху в

революционном 1905-м и в ужасе бежавшие за границу при первых признаках наступающей реакции. Опустошенные, озлобленные против всех и вся, потерявшие надежду, они принялись оплевывать то, во что прежде горячо верили»[29].

Развлечения и шутки ненадолго спасали от одиночества и ощущения тупика. После отказа от революционной деятельности дни Ильи оказались долгими и пустыми. Он к тому же забросил учебу в Высшей школе социальных наук, куда записался, надеясь завершить свое образование, прерванное в пятнадцать лет. Жизнь в Париже утратила свою новизну, теперь этот город его угнетает. Эренбург по-прежнему увлечен поэзией, но его собственные стихи являются лишь источником огорчений: они кажутся ему неуклюжими, нескладными. Ранимому и чувствительному юноше было нелегко выносить беспощадную иронию Лизы. Эренбург знакомится со студенткой-медичкой Екатериной Шмидт — и вот он снова влюблен. Катя происходила из петербургской немецкой католической семьи и сама была верующей. Илья с Катей отправляются в Бельгию, а по возвращении поселяются вместе, но не регистрируют брак. Через год на свет появляется дочь Эренбурга Ирина. Отцу ее в это время двадцать лет, по профессии он был поэт.

На фотографии 1910 года запечатлен юный Эренбург: длинные волосы, причесанные на пробор, небрежно повязанный галстук, меланхолический взгляд — одним словом, типичный представитель богемы. Русская художница Мария Воробьева (Горький придумал ей имя «Маревна»), живущая в Париже с 1912 года, подруга мексиканского художника Диего Риверы, вспоминает: «Я много общалась также с Ильей Эренбургом и его женой Катей <…>. Вид у Эренбурга в то время был весьма неряшливый — прямо портрет нигилиста из романа. Карманы его пиджаков и пальто оттопыривались от множества газет и бумаг. Небольшие, хрупкие на вид, красивой формы руки были обезображены пожелтевшими от табака ногтями. <…> Чувственный рот, который слегка скашивался на одну сторону при разговоре, портили несколько сломанных зубов — память о студенческих годах в Киеве, когда он, возможно, по политическим мотивам был арестован и избит полицией. Он боялся дантистов и никогда не лечил зубы, к тому же ему было наплевать на их вид, он и чистил их довольно редко. Но все забывалось под взглядом его пленительных глаз, глубоко посаженных, сияющих, огромных, под взглядом, который мог быть и кротким (хотя я не очень верила в эту кротость), и мудрым, и порой слегка ироничным»[30]. Трубка, которую Эренбург имел обыкновение «вытряхивать где попало», и шляпа с широкими полями дополняли его портрет.

Катя быстро устала от неустойчивой семейной жизни. В 1913 году она ушла от Эренбурга и вышла замуж за их общего приятеля Тихона Сорокина. Илья тяжело переживал разрыв, страдал, много пил, но остался очень привязан к этой супружеской паре. Во время войны они даже некоторое время жили все вместе на юге Франции. Эти дружеские отношения сохранятся на всю жизнь.

Его холостяцкая жизнь сделалась совсем убогой. Он понемногу подрабатывает: то нанимается гидом по Парижу и предместьям, то по ночам разгружает вагоны на вокзале Монпарнас. Друзья знакомят его с банкиром Михаилом Цетлиным, меценатом и поэтом, который на свои средства содержит столовую для русских эмигрантов. Эренбург постоянно появлялся в салоне мадам Цетлиной. Маревна вспоминает: «Было странно видеть здесь Эренбурга с длинными волосами, в нечищеных туфлях, выбивающего свою трубку в любом месте, где придется. Он заметил мой взгляд и спросил громко: „Ну, Маревна-царевна, что ты смотришь на меня? Не правда ли, я хорош на фоне кресла с красной обивкой?“»[31] В 1916 году он опубликует на средства Цетлина сборник своих поэтических переводов, но вместо благодарности будет забавляться сочинением сатирических стихов, высмеивая снобизм своих благодетелей.

Другим его прибежищем стало кафе «Ротонда», расположенное на углу бульваров Распай и Монпарнас. «Ротонда» закрывалась в два ночи, чтобы вновь открыться уже через час. Посетители всегда могли получить бесплатно чашку кофе со сливками и чистый лист бумаги, а хозяин, мясник Виктор Либион, недавно купивший это кафе, «отпускал художникам в кредит кофе и бутерброды. Иногда он давал кому-нибудь из нас пять франков, говоря: „Смотри, пропей их у меня!..“»[32] Несмотря на бедность богема вела отнюдь не спартанский образ жизни. Много пили, много курили; на Монпарнасе вошел в моду гашиш. Русская колония устраивала балы «в пользу нуждающихся художников» в зале Бюйе или в Мулен де ла Гапетт. Вскоре эти балы прибрели известность в Париже, хотя, конечно, и не шли ни в какое сравнение с балами учеников Академии художеств, когда «по улицам шествовали голые студенты и натурщицы: на самых стыдливых были трусики»[33].

Искусство, поэзия и религиозный кризис

Голод, нужда, алкоголь и беспорядочные связи не мешали Илье посвящать долгие часы искусству. Он много работает. С 1910-го по 1914-й выходят в свет пять его поэтических сборников и подборка переводов Франсиса Жамма, подготовленная им вместе с Катей Шмидт. «Годы и годы я ходил по улицам Парижа, оборванный, голодный, с южной окраины на северную; шел и шевелил губами: сочинял стихи»[34]. Пройти «с южной окраины на северную» означало пройти с Монмартра на Монпарнас, от Бато Лавуар до павильона Ля Рюш («Улей»). Можно и так бороться с одиночеством.

В павильоне Ля Рюш, построенном для колониальной выставки 1900 года неподалеку от скотобоен на улице Вожирар, в его сырых и темных помещениях ютились два десятка художников. В ноябре 1911 года, вблизи павильона, по адресу: авеню Мэн, 54, художница Мария Васильева открыла Русскую академию живописи и скульптуры. Мария Васильева была ученицей Матисса, и ее Академия ставила перед собой задачу предоставить художникам абсолютную свободу: здесь никто не пытался их учить или руководить ими[35].

Академия быстро приобрела известность: вступительный взнос был весьма скромным, и очень скоро здесь сложилось новое братство художников. Эренбург, активный участник русского литературного кружка, собиравшегося в «Клозери де Лила», был избран секретарем. По субботам Васильева организовывала у себя лекции по искусству. В апреле 1913 года здесь выступил Луначарский с докладом о кубизме. Один из присутствующих на лекции художников вспоминает, что эта «модная» тема вызвала жаркий спор; «поэт Эренбург взял слово и долго говорил, но так и не сказал, поддерживает ли он новое направление или же, напротив, солидарен с лектором, который бранил кубизм, называя его „безобразием, граничащим с шарлатанством“»[36].

В Ла Рюш и в Академии, как и в прочих художественных мастерских Парижа, часто слышалась русская речь. В десятые годы для русских художников, желавших причаститься современному искусству, Париж был необходимым этапом. Среди них было немало евреев, вырвавшихся из черты оседлости, приехавших из Киева, Одессы, Витебска или Минска. Некоторые из них — Сутин, Шагал, Альтман, Цадкин — обосновались в Париже; другие постоянно наезжали сюда, как, например, Бенедикт Лифшиц, Давид Бурлюк, Александра Экстер. Они составляли окружение Эренбурга; кроме того, он подружился с

Модильяни, Пикассо и мексиканским художником Диего Риверой. Он с ними пьянствует, участвует в их спорах и разговорах, но думает о другом. Кубизм ему непонятен, он его прямо пугает и отталкивает. Оценит его по достоинству он только в годы войны. Его волнуют совсем другие вопросы, в свою очередь он погрузился в религиозный кризис. Он ищет Бога и открывает для себя католицизм.

Почему так произошло? Повлияла ли на него встреча с верующей католичкой Катей? Устал ли он от похождений молодых лет, от вечных скитаний? Уехав на чужбину, покинув родину, семью, друзей, почувствовал тягу пристать к какому-нибудь берегу, ощутить твердую почву под ногами? А может, напротив, ему хотелось забыть прошлое, попытаться начать все заново, с чистого листа? «В Париже я потерял чувство времени… прошлое казалось настоящим»[37]. Вместе с Катей он отправляется в Голландию, в Италию; эти путешествия усиливают его восхищение европейской культурой. Не являлась ли религия ключом к ее сокровищам? Шпили соборов, алтари деревенских церквей, картины фламандцев и итальянский Ренессанс — за всем этим ему видится один источник вдохновения — католическая вера.

В ранних стихотворениях Эренбург воображает себя то средневековым рыцарем, то «героем Возрождения»[38], но в любом обличье он возносит хвалу «изгнанному царю Иерусалима», «отроку Христу»[39], говорит о вере. Эта вера отнюдь не отличается строгостью: с ней легко уживаются поклонение аполлонической красоте, дионисийские восторги и даже своеобразное иконоборчество еврея, с упоением рисующего портрет Бога:

Тебе смиренно я пою,
Тебя я вижу в безднах ночи:
Седую бороду Твою
И ясно-голубые очи.

(«Богу»)[40]

Мы уже говорили о волне религиозного ренессанса, буквально захлестнувшего Россию в начале XX века. Мощной реакцией на народнический позитивизм стало возвращение к таким абсолютным ценностям, как личность, духовность. Это течение было столь мощным, что захватило как тех, кто отошел от революции, ушел в идеализм и «богоискательство» — Блока, Мережковского, Бердяева, — так и революционный лагерь, где

Горький и Луначарский пытались соединить «богостроительство» с марксизмом. И те и другие привлекали внимание Эренбурга, но его «поиски Бога» шли иным путем, его ад был не похож на другие, и искал он другого рая.

Эренбург черпает религиозное вдохновение в творчестве Франсиса Жамма, автора «Христианских георгик», в этих чувственных и наивных стихах, где автор молится, «уподобившись безграмотным крестьянам»[41]. Эренбург обнаруживает сочетание христианской веры с дионисийским восторгом, ощущает страстное стремление причаститься вселенской гармонии. После всех этих бесприютных лет, проведенных в скитаниях, сомнениях, поэзия Жамма дарит ему чувство мира, покоя и надежды.

Должно быть, Эренбург чувствовал себя очень одиноким и остро ощущал потребность в духовном руководстве. Он отправляется к Франсису Жамму, жившему в далекой деревушке, затерявшейся в Пиренеях. Поездка эта походит на настоящее паломничество. В поэтическом сборнике «Детское», посвященном Жамму, возникают милые сердцу видения: маленькая станция, «березки хилой тонкие сережки», мамина комната… Россия мерещится ему как потерянный рай, как место на земле, где река его жизни могла бы течь по своему естественному руслу:

Я бы мог прожить совсем иначе,
И душа когда-то создана была
Для какой-нибудь московской дачи,
Где со стенок капает смола.

(«Я бы мог прожить совсем иначе…»)[42]

Но изгнание разрывает узы, связывавшие его с родиной:

Ты прости меня, Россия, на чужбине
Больше я не в силах жить твоей святыней.

(«России»)[43]

Под влиянием Франсиса Жамма формируются эстетические взгляды Эренбурга. В статье «Заметки о русской поэзии», опубликованной в журнале «Гелиос», издававшемся при Академии Васильевой, он приветствует новое поколение поэтов, которые движутся «к искренности и к простоте, к наблюдению над окружающей их жизнью. <…> Стихи, исходя от земли, подымаются к небу <…>. Это не „реализм“ старых поэтов, но

это и не внежизненная поэзия „символистов“, это нечто новое, чему еще пока не найдено истинного и глубокого определения»[44]. Интересно, что из этой новой поэтической волны он исключает футуризм, который в России у всех на слуху. Он обрушивается на «муть искусства, собрание молодых людей, совершенно лишенных каких бы то ни было человеческих чувств, мыслей и переживаний». Все это очень далеко от авангарда.

В течение трех лет, с 1911-го по 1914-й, поэзия Франсиса Жамма вела его дорогой искупления: «Если моя душа в Париже не погибла, спасибо вам за это, Жамм! Спасибо! Еще кружат надо мной метели темными стаями, еще душа не смеет назвать Того, к Кому обращается. Но вы, нашедший для своей молитвы восторг непересохшего ручья, молясь за всех, немного помолитесь за то, чтоб мог молиться я!»[45]

Что же за «темные стаи» кружат над ним? Какие искушения подстерегают его, какое наваждение лишает его мира и покоя? Прежде всего это жгучая память о своих корнях, от которых он отрекся. Прежде чем погрузиться в тоску по России, ему надо свести счеты с еврейским народом. В сборнике «Я живу», этом поэтическом манифесте любви и радости жизни, выделяется стихотворение «Еврейскому народу». Пока еврейский народ жил и трудился на своей земле, пишет Эренбург, он был «мощный и большой». С тех пор когда он покинул свою колыбель, началась для него пора упадка и рабства:

В своей лавчонке, боязливый,
Ты ныне жалкий торговец. <…>
Лишенный нив, средь душных сводов,
Стеною крепкой обнесен,
Рождая немощных уродов
От вырождающихся жен,
Еврей, ты раб у всех народов,
Ты парий между всех племен!

Теперь это народ, которого «боятся, точно мора», «сторонятся, как чумы». Поэт заклинает его покинуть чужие края и отправиться умирать на родину:

Ты здесь не нужен: пришлый и гонимый,
Сбери своих расслабленных детей,
Уйди к родным полям Иерусалима,
Где счастье знал ты в юности своей.

(«Еврейскому народу»)[46]

В этом стихотворении можно было бы усмотреть воздействие сионистского движения, набиравшее силу после еврейских погромов 1905 года, если бы не тот факт, что столь выразительное описание вырождения еврейского народа не оставляет никакой надежды на лучшее будущее. Поражает, что «вырождение» еврейского племени одновременно и смакуется поэтом, и вызывает у него отвращение, вплоть до отречения.

Однако, когда год спустя в Киеве грянуло «дело Бейлиса», выясняется, что отвернуться от гонимого народа невозможно. Бейлис, напомним, еврейский рабочий, обвинялся в убийстве православного мальчика и использовании крови жертвы для приготовления мацы. Эренбург вновь обращается к своему народу:

Евреи, с вами жить не в силах,
Чуждаясь, ненавидя вас,
В скитаньях долгих и унылых
Я прихожу к вам всякий раз.
<…>
Отравлен я еврейской кровью,
И где-то в сумрачной глуши
Моей блуждающей души
Я к вам таю любовь сыновью,
И в час уныний, в час скорбей
Я чувствую, что я еврей!

(«Евреи, с вами жить не в силах…»)[47]

«Часы уныний, часы скорбей» случаются все чаще и чаще. В 1913 году в промежутке между публикацией двух сборников, созданных под влиянием Франсиса Жамма, выходят «Будни». В России издание запрещено цензурой: сборник сочли «непристойным». Несмотря на страстное стремление обрести веру, достичь спокойствия духа, чувство беспочвенности и страх вырождения не покидают его. Он боится собственного взгляда, который искривлен, замечает лишь одно отвратительное и пугающее:

Но я знаю, что где-то во мне
Есть вонючая, грязная свалка
Но я знаю, что где-то во мне
Есть вонючая, грязная свалка

И под сором, под жижей, на дне,
Меж отбросов и кучи навоза,
Окруженная роем червей,
Погибает такая же роза,
И мне тягостно думать о ней.

(«Первая любовь»)[48]

В Париже его больше не привлекают следы Средневековья; тепёрь перед ним возникают безотрадные картины нищеты, разврата и одиночества.

Париж, обжора, ешь и чавкай,
Набей получше свой живот
И растворі в вонючей Сене
Наследье полдня — блуд и лень,
Остатки грязных испражнений
И все, что ты вобрал за день!

(«Полдень»)[49]

Как раз в это время литературная критика в России отмечает, что в стихах Эренбурга обнаруживается «отвращение к своей немощной душе», «геморройная раздражительность», «детский испуг», «гниющий пессимизм»[50]. Иначе говоря, описывая характерные черты склада ума Эренбурга, критик прибегает к тому же семантическому набору, к которому обратился поэт, рисуя портрет своего народа. Можно ли считать это случайным совпадением?

«Всего более привлекают внимание И. Эренбурга гнойники верхов современной культуры. Выследить все позорное и низменное, что таится под блеском современной европейской утонченности, — вот задача, которую (сознательно или бессознательно) ставит себе молодой поэт»[51], напишет о нем мэтр символизма Валерий Брюсов. Идиллическая набожность Франсиса Жамма оказалась слишком простодушна, чтобы дать ответ на мучительные вопросы, терзавшие русского ученика, мечущегося между раем и адом, благородством и низостью, обличающего «скандал существования» (Кьеркегор) и позорную власть денег. Эренбург читает католического поэта Шарля Пеги, чья суровая вера полна яростного неприятия капитализма, а также католического мыслителя Леона Блуа. Сложные, противоречивые идеи автора «Спасения от иудеев» («Le salut par

les juifs») оказали сильное воздействие на Раису Маритен (урожденную Умансову), супругу известного католического философа, автора религиозных размышлений, которая происходила из семьи русских евреев и во Франции приняла католичество. Завороженный идеей о еврейских корнях христианской веры, Леон Блуа высказывал при этом безграничное презрение к евреям: «Если Господь терпит их существование, стоит задаться вопросом <…> не скрывается ли за беспримерным позором народа-изгнанника высшая тайна, дивный замысел Творца?» Эсхатологическое видение евреев как носителей абсолютного зла оборачивается, однако, у Блуа, своей противоположностью: те же евреи являются заодно и воплощением высшего Блага, ибо в современном мире, где царят равнодушие и сытый буржуазный конформизм, один лишь еврейский народ по-прежнему обречен нести свой крест по примеру Иисуса Христа. Свирепость, с которой Блуа пишет картину буржуазной мерзости, сила его очищающей ненависти, оставляют неизгладимый след в душе Эренбурга.

Война

На Европу надвигалась Первая мировая война, но Эренбургу, раздираемому религиозным кризисом, задавленному нуждой, поглощенному эстетическими спорами на Монпарнасе, было не до международной политики. В августе 1914 года он отправился в путешествие по Голландии, там война и застала его врасплох.

Он поспешно возвращается во Францию, в последний раз пересекая границу без визы. Что же делать? Как быть? Он набрасывается на газеты: в них море информации и дезинформации. Эренбургу надо разобраться в происходящем во Франции и в России. Часть русских эмигрантов намерена присоединиться к царской армии, превыше всего ставя долг защиты Отечества. Другие, напротив, записываются волонтерами во французскую армию, полагая, что победа республиканской Франции над кайзеровской Германией приведет к свержению самодержавия в России. Эренбург колеблется, не зная как поступить; в конце концов он решает последовать примеру своего друга Тихона Сорокина и отправляется на призывной пункт. Там его забраковали: армейский врач счел, что у этого двадцатитрехлетнего юноши сердце сильно изношено. Но это невезение обернулось большой удачей: через несколько месяцев русских волонтеров вопреки их желанию присоединят к Иностранному легиону. Они пытались протестовать, но бунт был подавлен, девятерых из них расстреляли. Несчастные умирали с возгласом «Vive la France!» на устах.

Однако бесславно отсиживаться в Париже было немыслимо для человека, который в юности грезил о баррикадах. Аполлинер, Блез Сандрар, Кислинг, Леже, Глез, друзья по парижской богеме и русской эмиграции ушли на фронт. Париж обезлюдел. Но вскоре на улицах стали появляться раненые и искалеченные. Как обычно в тылу, атмосферу отравляли всеобщий страх и коррупция, но при всем том «никогда Париж не был так прекрасен, как в эти годы войны. Чужеземец, теперь увидевший впервые Париж, удивится, сколь легка и сладка здесь жизнь. Но я знаю, что значит эта тишина, черные ночи и яркие розы на кладбищах. Только здесь, под небом Франции, возможна эта светлая печаль»[52].

Эренбург сближается с Диего Риверой и русским поэтом Максом Волошиным. Эти трое стали неразлучны. Маревна вспоминает: «Когда они вместе шествовали вниз по улице де ля Гетэ, одной из наиболее людных на Монпарнасе, где прохожие и дети шутили, играли и шумели, кто-нибудь, посмотрев на них, говорил: „Эй, взгляни-ка на этих двух больших обезьян!“ А если с

ними был еще Диего Ривера и я сама, то можно было услышать от уличных мальчишек: „Эй, парни! Да тут цирк появился! Две обезьяны, толстый слон и девица из 'Трех мушкетеров'!“ Ибо Диего Ривера был настоящим колоссом»[53]. Был и четвертый мушкетер, Борис Савинков, легендарный эсер, террорист, тот самый, который убил великого князя Михаила Александровича. Всегда изящно одетый, серьезный, он заметно отличался от богемной компании. С Эренбургом они всегда жарко обсуждали политические вопросы, ссорились, но уважали друг друга.

Нередко к этой компании присоединялись и другие: Цадкин, Модильяни, Пикассо, скульптор Поль Корне. Вместе с Маревной они отправлялись навестить Макса Жакоба или Модильяни. Маревна описывает типичную вечеринку у Модильяни, когда «известные люди вели себя как безумцы или истеричные школьники»: «В этом хаосе, среди физических страданий, мы постоянно подстегивали рассудок алкоголем и наркотиками. Эренбург, Катя и я пели русские песни (вернее сказать, орали, потому что ни у кого из нас не было голоса)[54]. Однажды ночью Эренбурга на улице арестовали полицейские и отправили в Шарантон — психиатрическую лечебницу. Его тут же отпустили, но перед этим наголо обрили. Когда на следующий день он опять появляется в кругу друзей, его нельзя было узнать без вечно растрепанных косм, в беспорядке ниспадавших на плечи: „Скажи мне честно, Жанна, и ты, Маревна, тоже, — умолял он нас, — я действительно схожу с ума или нет?“»[55] Он много пьет, толстеет. Ночью он работает на вокзале Монпарнас, таская ящики. Иногда он исчезал на несколько дней, отправляясь на фронт с «Красным Крестом» или для того, чтобы «пополнить запасы». «Утром, серый, изможденный, он возвращался в Ротонду и снова приступал к работе. У него появились легкие странности. В кафе, на улице, у Жанны он издавал пронзительные крики. Мы никогда не были уверены, шутит ли он или это признаки delirium tremens — белой горячки»[56].

Эренбург жадно читает газеты, страдает от бездеятельности, сочиняет стихи. В стихах он говорит о разрушении Арраса и Реймса, о смерти Шарля Пеги, убитом на фронте, о погромах, которые устраивали русские солдаты над польскими евреями, обвиняя их в сотрудничестве с немцами.

Приехавший с фронта в отпуск художник Фернан Леже показал Эренбургу свои наброски, сделанные в окопах. Кубистические рисунки произвели на Илью глубокое впечатление: «…передо мной — лицо войны. В его рисунках нет ничего личного <…> Нет красок: и пушки, и лица солдат на войне теряют цвет. Прямые линии, плоскости, рисунки, похожие

на чертежи, отсутствие произвольного, увлекательно неправильного. На войне нет места мечте. Хорошо оборудованный завод для уничтожения человечества»[57]. В 1916 году, вдохновленный, надо полагать, примером совместного издания Блеза Сандрара и Сони Делоне «Проза транссибирского экспресса и маленькой Жанны французской», Эренбург издает литографским способом свою поэму «Повесть о жизни некой Наденьки и о вещих знамениях, явленных ей», где эротика и мистицизм переплетаются с кубистскими иллюстрациями Диего Риверы.

Наблюдая с ужасом эпоху, в которой ему выпало жить, Эренбург погружается в Достоевского и Леона Блуа и обнаруживает у них пророческое акценты, которые созвучны его собственным мистическим поискам. Ему уже недостаточно читать и перечитывать Евангелие: он начинает изучать апокрифы. Он, не получивший даже среднего образования, берется за перевод испанских мистиков и средневековой французской поэзии — Вийона, Жоашена дю Белле, рисует акварели на ветхозаветные и евангельские сюжеты. Шанталь, молодая художница, происходившая из рабочей семьи и не принадлежавшая к монпарнасской богеме, приносит ему некоторое успокоение. Эренбург относится к ней с глубокой нежностью, но когда у него появится возможность вернуться в Россию, он оставит ее как часть парижской декорации.

Устав от бездействия, Эренбург завязывает знакомства с русскими социалистами, объединившимися вокруг парижского журнала «Наше слово», редактором которого был Лев Троцкий, прибывший в Париж в самом начале войны. Журнал стоял на антивоенной платформе «интернационализма», принятой европейскими социалистами на Циммервальдской конференции в 1915 году. Эренбург не разделяет их взглядов и потому всегда использует фигуры умолчания и последовательно избегает упоминания Троцкого: «Война вызывает во мне отвращение; я ненавижу шахтовладельцев, Пуанкаре и дам, одаряющих солдат амулетами, словом, лицемерие и трусость отсиживающихся в тылу; я готов произнести вслед за Шарлем Пеги: „Счастливы те, что умерли за четыре клочка земли“»[58] Что же такое эти «четыре клочка земли», которые отделяют его от интернационалистов из «Нашего слова»? Это, конечно, как всегда, Россия.

Военный корреспондент

В 1916 году с помощью Макса Волошина Эренбург стал публиковать статьи в петроградских «Биржевых ведомостях». В этой газете либерального толка печатались многие знаменитые авторы, в том числе Бердяев, Струве, Блок, Ахматова, Замятин, Брюсов. Эренбург становится одним из трех французских корреспондентов «Биржевых ведомостей». Он много колесит по стране: Нормандия, Эльзас, Ницца, Марсель… Приехав на юг Франции, он несколько месяцев живет у Тихона и Кати, которая растит дочку Ирину. Друзья изрядно пьют, делятся своими переживаниями, но при этом много работают.

Статьи Эренбурга, которые обычно выходят под общим заглавием «Тени», написаны в импрессионистической безличной манере. Автор старается передать атмосферу войны при помощи «аутентичных» диалогов, избегая обобщений и анализа. Тон статей заметно оживляется к концу года, после того как Эренбург посещает русские бригады, направленные Николаем Вторым во Францию, на Западный фронт. Встречи с этими простыми мужиками, русскими солдатами, разбередили душу Эренбурга, пробудив воспоминания о Родине. Их отвага восхищала его, а унижения, которым они подвергались (во французских деревнях к ним относились как к дикарям), задевали его собственную гордость. Их тоска по Родине обострила его собственную ностальгию: «За полем простирается великолепная и незнакомая страна. Там, где грохочут пушки, еще дальше, находится моя родина. Там встала передо мой русская душа, сумрачная и светлая, смиренная и безумная, страстная и жестокая. Великая душа»[59]. Эренбург цитирует классические тютчевские строки «… В Россию можно только верить» — и продолжает: «Мне хочется сказать туда, в ночь, где в желтой земле Шампани, где стоят на часах кроткие люди: Верю и верую». Он словно блудный сын, обратившийся к отцу с покаянными словами: «Отче, я согрешил против тебя…»

Эренбург отправляется на фронт, в расположение английских частей в Сом, Амьен, Кале. Из впечатлений от этой поездки получится в 1918 году книга «Лик войны». Эренбург предстает здесь гораздо более зрелым писателем, нежели в статьях и репортажах. Он выработал особый стиль, динамичный и отстраненный, который тем не менее, питаемый взглядом поэта, никогда не грешит сухостью. Композиция книги, основанная на сопоставлениях, позволяет противопоставить контрастные «лики войны» — «Трусость и храбрость», «Война и жизнь», «Жестокость

и милосердие» — и передает немыслимое сосуществование апокалиптических ужасов и бытовой повседневности. Здесь нет ни политической позиции, ни интернационализма, ни патриотизма, ни тем более морализирования, если, конечно, не считать таковым сарказм, направленный против тыловых крыс, против церкви и прекраснодушия. «Во всех рассуждениях о жестокости на войне кроется ложь». На самом деле война открыла Эренбургу глаза и позволила понять суть XX века. Современная война является рационально организованным производством: «Штыковые атаки стали редкостью. В большинстве случаев солдаты даже не видят своего противника и стреляют по определенной цели, а не в человека». Современной армии впервые удалось на поле боя придать убийству вид «мирного труда, который напоминает точные и сосредоточенные движения рабочих на заводе, обслуживающих огромную сложную машину… Интересно, сколько продлилась бы эта война, если бы каждый мог видеть последствия своих действий?»[60]

И по возвращении в Париж его продолжает преследовать запах смерти. Но его отвращение несвободно от некой доли увлечения смертью. «Жизнь? Да, но она только там <…> Только на глазах у смерти, прячась от снарядов, изнывая от грязи, томясь и маясь, не здесь, только там можно узнать всю радость жизни»[61].

В конце февраля 1917 года, сидя в кафе на Монпарнасе, Эренбург узнает об отречении Николая Второго. Жестоко критикуемый либеральными депутатами в Думе, презираемый и ненавидимый собственным народом, покинутый союзниками, царь был вынужден оставить престол после пятидневных демонстраций в Питере, во время которых солдаты присоединились к рабочим. Временное правительство сразу же провозгласило всеобщую амнистию, равенство граждан перед законом и отмену всех форм национальной и религиозной дискриминации.

Эмигрантская колония в Париже торжествовала победу, и даже Эренбург, несмотря на неврастению, которой он заболел в годы войны, не колеблясь принимает решение вернуться на Родину. Бюрократическая волокита длится долго. Франция и Англия выпускали эмигрантов строго отмеренными партиями, и Эренбургу пришлось до июня ждать своей очереди.

Прощание с Парижем проходило в натянутой атмосфере. По мере того как схватка между Временным правительством и Петроградским Советом разрешалась в пользу последнего, французы становились все более враждебны и подозрительны по отношению к выходцам из России.

Петроградский Совет учредил советы рабочих и солдатских депутатов, выдвинул лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Тут же волна неповиновения захлестнула русские бригады во Франции, а затем и французскую армию. В апреле Ленин приезжает в Петроград в пресловутом «пломбированном вагоне», который Германия пропустила по своей территории, и сразу призывает к началу пролетарской революции, к заключению мира «без аннексий и контрибуций» и к разрыву союза с «англо-французским капиталом». Для стран Антанты Россия перестает быть союзником и становится врагом. Случалось, в Париже прохожие прямо на улицах средь бела дня набрасывались на эмигрантов. Несмотря на тяжелую атмосферу порой возникали забавные ситуации. В 1916 году состоялась премьера балета «Парад», поставленного дягилевской труппой. Музыка была написана Эриком Сати, декорации выполнены Пикассо. Несмотря на то что Дягилев был знаком парижанам уже долгие годы, на этот раз раздались свист и выкрики: «Смерть русским! Пикассо — бош! Русские — боши!»

В январе 1917 года Эренбургу исполнилось двадцать шесть. Война сформировала его личность. Цинизм и провокационный дух, которыми он заразился на Монпарнасе, ненависть к капитализму, почерпнутая из сочинений Леона Блуа и Шарля Пеги, на фронте обрели отчетливость, наполнились конкретным, личностным смыслом. Теперь он точно знает, что он отвергает, но знает также, в чем состоит его долг: его зовет Россия.

Глава III
ОКТЯБРЬ, ИЛИ «ПОДЗАБОРНАЯ РОССИЯ»

Белый был — красным стал:
Кровь обагрила.
Красным был — белый стал:
Смерть побелила.

Марина Цветаева.

«Лебединый стан»

Земля обетованная

Эренбург выехал из Парижа в Лондон в июне 1917-го. В его чемодане были паспорт, выданный Временным правительством, курительная трубка, фотография Шанталь и томик стихов Макса Жакоба, который британские таможенники поспешили изъять. В Лондоне он присоединился к группе из нескольких десятков других эмигрантов, также возвращающихся в Россию. В сопровождении британских миноносцев они отправились в путь, через Северное море, миновали Норвегию, Швецию, Финляндию… Несколько часов пути отделяли их от российских берегов, когда пришла поразительная новость — большевики попытались поднять вооруженное восстание в Петрограде. Значит, товарищи по гимназии, с которыми он играл в «профессиональных революционеров», Ленин, которого он высмеивал, называя «старшим дворником», всерьез пытаются взять власть в России.

Однако это была совсем не та Россия, о которой он грезил в Париже. Конечно, он знал ее — знал русскую тоску по истине, доходящую до анархии и беспощадности. Эту Россию он узнал из романов Достоевского, из наблюдений жизни рабочих на заводе, где работал его отец, из собственного юношеского революционного опыта. Но его пугала эта Россия Пугачева и братьев Карамазовых. Та страна, которую он назвал своей на полях Шампани, была в его глазах воплощением силы и смирения, простоты и в то же время гордости своей великой судьбой. И вот прошло всего около двадцати дней с его приезда в Петроград, и он уже с тревогой пишет в «Биржевых ведомостях»: «Россия больна, Россия при смерти. На Западе я понял ее значение и ее духовную мощь. Вот уже со всех сторон льется кровь. Немцы надвигаются. Весь мир смотрит — неужели Россия была лжепророком, неужели дух примирения и любви столь же быстро вылинял, как и красные флажки? А у нас, русских, еще один страшный вопрос: неужели отдадим родину на раздел и поругание? Да не будет! Праздники кончились, всю чашу горечи нам надо нынче испить. Но не погибнет Россия»[62].

Воспоминания о Париже были еще живы. В его записных книжках (к сожалению, крайне неразборчивы) порой встречаются записи на французском языке и выведенное каллиграфическими буквами имя Шанталь. Он хотел ей написать, но понимал, что она не сможет разобраться в хаосе русских событий. К счастью, в Петрограде он отыскал Катю, Тихона и свою дочь Ирину. Впрочем, здесь не все было благополучно: отец Кати, зажиточный

немецкий коммерсант, не выносил Эренбурга: «…ко всем прочим грехам, я был евреем»[63]. Он встречает также знакомого по Монпарнасу, Бориса Савинкова. Бывший террорист, мрачная и загадочная личность, стал помощником министра войны в правительстве Керенского, принимал в Зимнем дворце. Положение в Петрограде быстро ухудшалось. Ходили слухи о народных волнениях, погромах, о заговоре генерала Корнилова против Временного правительства. С августа заговорили о голоде; боясь наступления немецкой армии, государственные учреждения начали готовиться к эвакуации в Москву. В присутствии своего помощника, философа Федора Степуна, Савинков предлагает Эренбургу отправиться на фронт в качестве политического комиссара[64]. Предложение останется без последствий, так как Керенский расстается со своим военным министром. Оказавшись не у дел, Эренбург решается отправиться на юг, где живут мать и две сестры.

«Кажется, никогда в России столько не ездили — расходились, разбушевались воды. Бегут, кто откуда, кто куда, и ни у кого нет надежды, но лишь унылая злоба и страх», — писал он в статье, датированной 15 октября. В этом кратком описании российской жизни совсем нет экзальтированности, ощущавшейся год назад. Еще одна сцена поражает Илью, взволнованного предстоящей встречей с матерью: в поезде, среди утомленной и раздраженной толпы пассажиров, старик еврей надел на себя шелковую накидку, открыл книгу и, раскачиваясь, стал молиться. Двое молоденьких солдат, начавших было произносить в его адрес длинное ругательство, вдруг умолкли. «Все мы глядели вновь на качающегося еврея. Не ведая его сурового бога, не понимая толком слов молитвы, но все — чую! — завидуя, что может он сейчас не только ненавидеть или страдать, но еще верить и молиться»[65].

Московский апокалипсис

Вернувшись в Москву, он узнает о взятии Зимнего, о создании временного большевистского правительства и его первых декретах — «О земле», «О мире». В городе шли жестокие уличные бои. Через два года Эренбург опишет эти роковые события совсем иначе, чем Джон Рид в книге «Десять дней, которые потрясли мир»: «В октябрьские дни, когда над Кремлем еще свистали снаряды, красноармейцы с „дамами“ забрались в Малый театр и нарядились в костюмы из „Саломеи“, играя головой Иоанна Крестителя в футбол. Дешевым маскарадом открывалась социальная революция»[66].

Спустя несколько недель, 3 января 1918 года, отряд большевиков разогнал в Петрограде первое в истории России Учредительное собрание. В воспоминаниях Эренбург не говорит ни слова об этих событиях, ограничиваясь короткой фразой: «…в 1917 году я оказался наблюдателем, и мне понадобилось два года для того, чтобы осознать значение Октябрьской революции»[67]. Когда к нему наконец пришло это осознание, он поспешил бежать из России.

В Москве Эренбург завязал знакомство с молодой поэтессой Верой Меркурьевой. Позже он будет посылать ей взволнованные письма из Киева: «Я очень соскучился по Вас, по комнате, по кофе, разговорам об ассонансах и о Дьяволе, и по стихам. <…> Мало я думал о нашем деле и служении и, кажется, многое осознаю впервые. Так хотелось бы поделиться с Вами <…> Где Вы? Когда увижу Вас?»[68] Почти каждое письмо заканчивается церемонным «Да хранит Вас Господь». В салоне Меркурьевой Эренбург встретил Вячеслава Иванова, знаменитого философа и поэта-символиста, заклятого врага большевиков, которых он считал «социальным воплощением атеизма». В декабре 1917 года Иванов и Константин Бальмонт, к которым присоединяются Иван Бунин, Максимилиан Волошин, Алексей Толстой, Юлий Айхенвальд и Илья Эренбург, выпустили листовку «Слову свобода!» против национализации типографий и бумажных складов: «Да здравствует культурная демократия!», «Нет демократии без свободы слова и прессы!» Эренбург поместил там и свое стихотворение «Божественное Слово». Правда, листовка не очень повлияла на политику большевиков в плане политических свобод…

Пока правительство большевиков находилось в Петрограде, то есть до марта 1918 года, революция в Москве шла в

замедленном темпе. Но и здесь, вдалеке от государственных учреждений и декретов, московские писатели слышали за грохотом выстрелов топот всадников Апокалипсиса: «Московские чайные, извозчичьи трактиры, часовни с ночными богослужениями слышат то, что не звучало с Петровских времен, что, казалось, замерло в скитах и на Керженце», — записывал в своем дневнике в конце 1917 года писатель и будущий издатель Евгений Лундберг. Это — ожидание мировой катастрофы. «Катастрофа мыслится раньше всего как гибель христианства. Потом — как полнота искушений. Потом — как предел физических испытаний и бед». Об этих грядущих испытаниях «много знают московские религиозные кружки, группирующиеся около Н.А. Бердяева и Е.К. Герцык»[69].

Эренбург разделял со своими новыми друзьями эти апокалиптические настроения. Под их влиянием от симпатий к католицизму он совершает поворот к православию. Ярко выраженные славянофильские мотивы в его новом сборнике «Молитва о России» поразили даже москвичей. В двух стихотворениях, помещенных в начале сборника, — «Молитва о России» и «Судный день» — прославляется погибающая Империя: «И только на детской карте (ее не будет больше) / Слово „Россия“ покрывает / Полмира, и „Р“ на Польше, / А „я“ у границ Китая»[70].

Этой России больше нет. Когда-то она была могущественной и богоизбранной страной, и «верили все племена, / Что несет она миру Крест»[71].

Охваченная безумием страна «сбилась на своем таинственном пути»[72] и возжелала свободы. Какой же свободы? Той, которая определена законами, или той, которую человек определяет сам для себя и у которой нет пределов? Именно этот второй путь предпочла Россия — путь своеволия, анархии и хаоса, «подзаборную свободу»: «Господи, пьяна, обнажена / Вся Твоя великая страна! / Захотела с тоски повеселиться, / Загуляла, упала, в грязи и лежит»[73].

В стилизации под народную плясовую слышится топот босых ног и грохот канонады, напоминая о «Двенадцати» Блока (январь 1918 года); затем плясовая сменяется плавной, торжественной интонацией — то ли великой ектеньи, то ли литании в духе Шарля Пеги: «Господи, пожалей!.. / О матерях, что прячут своих детей, / О тех, что в тоске предсмертной молятся, / О всех умученных своими братьями / Миром Господу помолимся»[74].

В своей статье «Поэзия и революция. Александр Блок и Илья Эренбург» Волошин отмечает, что обоим поэтам присущ мощный «мистический реализм», и сближает их творчество с

«политической музой» Агриппы д'Обинье, французского поэта XVI века. Эренбург был посвящен в русские поэты, но, впрочем, посвящение это было весьма двусмысленным: «Все стихи Эренбурга построены вокруг двух идей, еще недавно столь захватанных, испошленных и скомпрометированных, что вся русская интеллигенция сторонилась от них. Это идея родины и идея Церкви. Только теперь в пафосе национальной гибели началось их очищение. И ни у кого из современных поэтов воскресающие слова не сказались с такой исступленной и захватывающей силой, как у Эренбурга. Никто из русских поэтов не почувствовал с такой глубиной гибели родины, как этот Еврей, от рождения лишенный родины, которого старая Россия объявила политическим преступником, когда ему едва минуло 15 лет, который десять лет провел среди морального и духовного распада русской эмиграции; никто из русских поэтов не почувствовал с такой полнотой идеи церкви, как этот Иудей, отошедший от иудейства, много бродивший около католицизма и не связавший себя с православием. <…> „Еврей не имеет права писать такие стихи о России“, — пришлось мне однажды слышать восклицание по поводу этих поэм Эренбурга. И мне оно показалось высшей похвалой его поэзии. Да! — он не имеет никакого права писать такие стихи о России, но он взял себе это право и осуществил его с такой силой, как никто из тех, кто был наделен всей полнотой прав»[75].

Итак, в глазах Волошина, Эренбург — великий поэт, хотя и не русский. Чтобы правильно понять ход рассуждений Волошина, нужно помнить, что русские евреи получили право жить в Москве и Петрограде всего год назад. Александр Блок в это время записывал в дневнике презрительные рассуждения о еврейском «духе иронии и отрицания». В московском «Кафе поэтов» произвела фурор эпиграмма на Эренбурга и поэтессу Веру Инбер, тоже недавно вернувшуюся из Парижа:

> Дико воет Эренбург,
> Одобряет Инбер дичь его,
> Ни Москва, ни Петербург
> Не заменят им Бердичева[76].

Не лучше ли было Эренбургу заявить, что он еврей или, по крайней мере, еврейский поэт, пишущий по-русски, и не выставлять себя на посмешище своими молитвами о распятой России, которые никем не воспринимались всерьез? Когда вышел сборник стихов Эренбурга, Маяковский назвал его «испуганным интеллигентом», а участник петербургского кружка формалистов

Виктор Шкловский — «еврейским имитатором».

Однако Эренбург упорствовал в своем русском патриотизме. Едва ступив на русскую землю, Эренбург осознал, насколько он за эти годы оторвался от родной почвы. Он ощущал это и в писательских кружках и клубах, и среди простого народа, в поездах и на митингах. Всюду его преследовало сознание непохожести и чувство, что его любовь к родине нелепа и никому не нужна. Все, что у него осталось, — это идея России, ностальгия по той мистической связи, что на чужбине соединяла его с родной землей. В упорно афишируемом патриотизме было столько же эпатажа, сколько и истинного чувства, столько же цинизма, сколько и искреннего восторга.

Вопреки злой эпиграмме его непохожесть на окружающих объяснялась вовсе не местечковостью; в Москве Эренбургу не хватало не Бердичева, а Парижа: «Я зашел в кафе на Арбате, начал что-то строчить; подошла девушка, сердито забрала пустой стакан и сказала: „Здесь вам не университет…“ Я отвык от русского быта и часто выглядел смешным»[77]. Впрочем, «Кафе поэтов» и не походило на «Ротонду»: длинная комната с низким потолком, затоптанный пол посыпан опилками, вдоль стен и посередине комнаты стоят большие столы, на них серые скатерти, вместо стульев — маленькие табуретки. Приходили туда личности, мало причастные к поэзии, «в основном, по выражению тех лет, „недорезанные буржуи“». Постепенно Эренбург становится частью этой московской литературной фауны, оказавшись, как и многие, без денег, без семьи, без друзей. Он устраивает поэтические вечера, печатается в газетах и журналах — это позволяло заработать на жизнь. Он бывает и в салонах меценатов — у Кара-Мурзы и Цетлина, только что приехавшего из Парижа. В конце января 1918 года Александр Блок записал в дневник свой разговор с молодым и весьма циничным поэтом-декадентом Валентином Стеничем: «Сначала было три Б (Бальмонт, Брюсов, Блок); показались пресными; Маяковский, и он пресный; — Эренбург (он ярче всех издевается над собой; и потому скоро все мы будем любить только Эренбурга)»[78].

Действительно, ирония стала стилем Эренбурга, но она не имела ничего общего с нигилизмом, в котором Блок обвинял евреев. Напротив, Эренбург считал себя моралистом, а начал он с критики литературных кругов. Свое разочарование, гнев, боль за разоренную Россию он выплеснул на футуристов и на Блока. Блок и Маяковский были в числе тех пяти «мастеров культуры», которые вместе с поэтом Рюриком Ивневым, художником Альтманом и режиссером Мейерхольдом первыми согласились сотрудничать с большевистским правительством. Признавая

талант Маяковского, Эренбург язвительно высмеивает футуристов: они «в общем хаосе уютно устроились, завалили пустые магазины своими книгами <…> и чуть ли не в каждом кафе читают свои произведения». Творчество этих певцов «его величества пролетариата» стало «официальным искусством»[79], и они процветают под крылом наркома просвещения Анатолия Луначарского (с которым Эренбург был знаком с времен парижской эмиграции). Гибель культуры и всех ценностей, в первую очередь веры, — это их дело: «Потащим Христа на Чрезвычайку!» — хвастается придворный большевистской поэт. «Для меня понятие России смердит, как дохлая собака», — заявляет один из чиновников[80].

В 1918 году 1 мая пришлось на Страстную пятницу, и в Петрограде большевики не решились проводить демонстрацию. Зато в Москве, как рассказывает Эренбург, футуристы взяли дело в свои руки: «Возле Иверской часовни толпились молящиеся. Мимо них проезжали грузовики <…> задрапированные беспредметными холстами; актеры на грузовиках изображали различные сцены: „Подвиг Степана Халтурина“ или „Парижскую коммуну“. Одна старушка, глядя на кубистическое полотно с огромным рыбьим глазом, причитала: „Хотят, чтобы дьяволу мы поклонялись…“ Я смеялся, но смех был невеселым»[81].

Парижский опыт выучил его уважать культурную традицию, преемственность культуры. На это-то уважение и опирались его любовь к искусству и его религиозные искания. А здесь, в России, футуристы призывали «по стенке музеев тенькать», Рафаэля, Пушкина да Растрелли вместе с белыми «к стенке», «старье расстреливать». В Париже он смог принять иконоборчество кубистов, но в Москве его возмущали призывы сбросить искусство прошлого «с парохода современности».

Еще более сурово Эренбург высказывался о своем любимом поэте — Александре Блоке. Блок только что опубликовал статью «Интеллигенция и революция», в которой высмеял тех, кто протестовал против разгона Учредительного собрания: они-де не в состоянии расслышать «музыку революции». Как и многие другие писатели, враждебно воспринявшие Октябрьский переворот, Эренбург обвиняет Блока в безответственности: «… Блок в одной из своих статей предлагает нам прислушаться к „музыке революции“. Но запомним среди прочих видений страшного года усталое лицо проклинающего эстетизм эстета, завороженного стоном убиваемых. <…> Потерявшие мать не смогли простить человеку его наслаждение по поводу музыкальности предсмертного хрипа убитой»[82].

В конце лета 1918 года Эренбург узнает, что его мать тяжело заболела. Он едет в Полтаву, где живут его мать и брат. «Я опоздал на два дня и не простился с матерью. В жизни почти каждого человека смерть матери многое внутренне меняет. Я с семнадцати лет жил далеко от родителей и все же почувствовал себя сиротой. <…> Я не знал, что сказать отцу; мы оба молчали. Я пробыл с ним две или три недели; об этом можно было бы многое рассказать, можно и промолчать»[83]. Анна Эренбург скончалась 13 октября, и надпись на ее могиле была выгравирована на двух языках — на иврите и на русском. Свои переживания ее сын выразил в стихотворении «Хвала смерти». В тот приезд Илья в последний раз видел отца: Григорий Эренбург умер в Харькове три года спустя после смерти жены.

Полтава находилась в той части страны, где еще не была установлена власть большевиков. Эренбург решил не возвращаться в Москву и направился в свой родной город.

Киев, переходящий из рук в руки

Переполненный поезд медленно подъезжал к Киеву. Как и прежде, в детстве, когда он ездил сюда на каникулы к дяде, город появился внезапно, и глазам открылось все его великолепие: сияющие купола Лавры, широкий Днепр с островками, на которых зеленели деревья. Он ощутил, как улетучивается чувство бесприютности, которое преследовало его с момента возвращения в Россию, снова услышал напевный говор, слился с шумной толпой. Он вновь восхищался византийским искусством в Софийском соборе, барочными киевскими церквами: «Я люблю барокко Киева; его вычурность смягчена каким-то естественным добродушием; это не гримаса, а улыбка»[84]. Эренбург отыскал в Киеве своего кузена, Александра Лурье, ставшего известным врачом. Лурье предлагает Илье пожить у него. Эренбург чувствует себя счастливым: «…я никогда не мог забыть, что Киев — моя родина»[85].

В октябре 1918 года в Киеве сменилось уже четвертое правительство. По условиям Брест-Литовского мирного договора, подписанного семь месяцев назад, Украина оказалась под властью Германии и гетмана Скоропадского. По Крещатику гуляли немецкие офицеры. Это зрелище потрясло Эренбурга: он видел их на французском фронте, из-за них он бежал из Петрограда. А здесь их не считали врагами: уже распространялись слухи о революции в Германии, и поражение немцев в войне считалось делом решенным. Настоящие враги были не в городе, а за его пределами: в украинской степи и на севере, в захваченной большевиками Москве. Киеву не довелось пережить революции 1917 года, а в январе 1918-го удалось отразить наступление авангарда Красной гвардии. Те, кто считали Киев «матерью русских городов» и «священной землей предков», не принимали ни украинской, ни советской власти — они хотели видеть этот город русским. Трудно было найти более подходящую обстановку, в которой Эренбург мог бы выразить свою боль и веру в Россию.

Через Киев, расположенный на пути к Черному морю, можно было добраться до Турции, а оттуда — до Европы, так что город был заполнен беженцами с севера. Сюда съехались землевладельцы, банкиры, профессора, офицеры, эсеры и меньшевики — все, кто бежал от большевиков и от воцарившейся анархии. Эренбург оказался среди них. Эта разношерстная, богатая и перепуганная толпа нарушила привычный ритм жизни города. Приезжие то пытались сбыть серебро и меха, то

неожиданно начинали избавляться от банкнот. В городе пили, играли, развлекались, лишь бы не думать о лишениях, перенесенных в голодающих столицах, и о будущем, сулившем изгнание и скитания. Рестораны были полны, как грибы вырастали новые кондитерские, открывались театры, игорные заведения, кабаре. Это было время расцвета артистических кафе, религиозных кружков, литературных салонов. В подвалах «Континенталя», главной гостиницы города, расположилось кафе, преобразованное в литературно-артистический клуб «Клак» (при большевиках он стал называться «Хлам»), В ноябре Эренбург выступил в «Клаке» с докладом о современной русской поэзии; на следующий день известный петроградский драматург Николай Евреинов говорил про «Театр и эшафот». В Киеве Эренбург оказался в прекрасном обществе, однако, несколько кокетничая, все-таки жалуется Меркурьевой, оставшейся в Москве: «Я здесь читал доклад <…> но кому?» Впрочем, жаловался он недолго и быстро нашел себе применение.

Александру Экстер, которая руководила в Киеве мастерской живописи, Эренбург знал еще по Парижу, где она работала с Фернаном Леже. Экстер делала эскизы декораций для киевских и московских театров и только что закончила оформление обложки первой русской книги о Пикассо. Ее мастерская была центром притяжения для молодых художников-авангардистов: Александра Тышлера, Шифрина и многих других. Здесь Эренбург встретил свою кузину — Любовь Михайловну Козинцеву, сестру будущего режиссера. Она сразу понравилась Илье. Люба была красива, хотя в этой красоте не было ничего бросающегося в глаза (Цветаева позже скажет, что она была «похожа на раненую птицу»), замкнута, умна и на одиннадцать лет моложе Эренбурга. Ее отец, доктор Козинцев, благосклонно отнесся к их союзу. На этот раз тесть не попрекал Эренбурга еврейским происхождением — он и сам был евреем. В «Клаке», куда они ходили вместе с Любой, Илья курил трубку и эпатировал юных девушек рассказами о парижской жизни. Среди подруг Любы были молодые художницы Евгения Гронфей, будущая жена Бабеля, и Надежда Хазина, ставшая впоследствии Надеждой Мандельштам. В своих мемуарах она вспоминает о знакомстве с Ильей Григорьевичем: «…на „ты“ мы с Эренбургом перешли случайно, шутки ради, встречая вместе девятнадцатый год. Он звал меня Надей, а я его почтительно по имени-отчеству»[86]. Что касается Любы и Ильи, то они всю жизнь обращались друг к другу на «вы». Той же зимой Надя познакомила Эренбурга еще с одним «беженцем с Севера», молодым поэтом Осипом Мандельштамом. Обе пары подружились, как оказалось, на всю жизнь.

В декабре 1918 года, после заключения Брестского мира, немцы покинули Киев. На Украине было сформировано новое правительство — Директория Украинской народной республики. Эту власть поддерживали силы националистов во главе с гетманом Петлюрой. «Софийский тяжелый колокол на главной колокольне гудел, стараясь покрыть всю эту страшную, вопящую кутерьму»[87]. «Всюду национальные флаги, всюду народ. Но как вчера и позавчера, громко никто не говорит, все сосредоточенны и молчаливы. Слышится почти исключительно украинская речь. Бывших офицеров, которых раньше одним взглядом можно было отличить, теперь нет и следа»[88]. Бывшие офицеры, молодые «кадеты», элита русской интеллигенции, ожидавшие прибытия в Киев генерала Деникина и Добровольческой армии, стали первыми жертвами петлюровской армии. В городе начался террор — петлюровцы убивали офицеров за то, что они русские, а русских — за то, что они офицеры. Евреи, жившие в центре города, в страхе ожидали погромов, которые уже начались в пригородах и ближайших местечках. В окрестностях города слышалась канонада. Все надеялись на то, что подоспеет армия Деникина, которая, по слухам, уже двигалась к Киеву, и войска Антанты, готовившиеся к высадке в Одессе. В газетах писали, что у англичан есть специальные подразделения из «дрессированных обезьян», на которых не действует большевистская пропаганда, а у французов имеется новое оружие — «фиолетовые лучи», ослепляющие людей.

Но Киев освободили не белые и не французы. Пятого февраля город был взят большевиками: «Во главе отряда ехали верхом два всадника, разукрашенных красными широкими лентами. В правой руке каждый держал наготове револьвер, в левой бомбу. Сзади три вооруженных всадника. Затем бронированный автомобиль, за которым шел оркестр. На Крещатик вышли они под звуки Интернационала. Публика кричала „ура“, все снимали шапки. Публика — широкий пролетариат»[89]. Большевики удерживали Киев шесть месяцев. Город был окружен пылающим огненным кольцом. «Вокруг Киева рыскали „курени смерти“ и отряды различных атаманов. Горели дома; летел пух из перин. Каждый день рассказывали о новом погроме, об изнасилованных девочках, о стариках с распоротыми животами»[90]. В самом городе свирепствовали новые хозяева. Срочно прибывший в Киев Петерс, правая рука Дзержинского в Чека, насаждает новый порядок, перед которым суждено было побледнеть даже красному террору. Шли аресты украинских националистов, русских либералов, православных священников, евреев-промышленников — по спискам, в алфавитном порядке. За полгода в городе

расстреляли двенадцать тысяч человек. Эренбург наблюдал все это с близкого расстояния — помещение Наркомпроса находилась как раз возле того сада, который окружал здание Чека.

С приходом советской власти и «экспроприацией экспроприаторов» жизненные блага становятся дефицитом. Нужно было поступать на государственную службу, чтобы получать карточки, по которым выдавались продукты питания, топливо и предоставлялось жилье. Эренбург с помощью Мандельштама становится советским служащим. Он был назначен руководителем «секции эстетического воспитания „мофективных (морально дефективных. — *Е.Б.*) детей“ при киевском собесе». Одновременно он работает в секции прикладного искусства и литературной студии. «Кручусь, работаю что ли очень много. Во все это мало верю. Утешает весна и вечность». «А здесь комитеты, союзы, лекции и прочее. Спорю, борюсь, томлюсь. Нужно ли? Кажется, нет. Но иначе сейчас не могу»[91], — пишет он Меркурьевой, и пишет искренне: он действительно питал иллюзии относительно своей работы и хотел видеть в ней какой-то смысл. Он часто посещает еврейскую секцию Союза писателей, знакомится с молодыми поэтами Перецем Маркишем, Давидом Бергельсоном, Лейбом Квитко. Молодые евреи, вчера еще люди второго сорта, презираемые русскими и подавленные еврейской общиной, теперь взбунтовались не только против царя, но и против своей религии. Октябрьский переворот они встретили с энтузиазмом: коммунизм открывал перед ними новые горизонты, предлагая забыть о вековых устоях и создать новую, оригинальную культуру на идише — языке еврейских рабочих масс. «Мы переживали период романа наших хозяев с левым искусством, — вспоминает Надежда Мандельштам, — а мой маленький табунок был левее левого. Мальчишки обожали „Левый марш“ Маяковского, и никто не сомневался, что вместо сердца у него барабан. Мы орали, а не говорили»[92].

Таковы были друзья Эренбурга. Сам он так и не «покраснел» — не смог забыть пережитого им ужаса при виде России, раздираемой гражданской войной. «Он на все смотрел как бы со стороны, — пишет Надежда Мандельштам, — что ему оставалось делать после „Молитвы о России“? — и прятался в ироническое всепонимание. Он уже успел сообразить, что ирония — единственное оружие беззащитных»[93]. В какой-то момент она и сама оказалась подвержена тому, что назвала «антропофагской психикой, которая распространялась, как зараза»[94]. От этой болезни ее исцелил Эренбург. «В Киеве в мастерской Экстер какой-то заезжий гость прочел частушки Маяковского о том, как

топят в Мойке офицеров. Бодрые стишки подействовали, и я рассмеялась. За это на меня неистово набросился Эренбург. Он так честил меня, что я до сих пор чту его за этот разнос, а себя за то, что я, вздорная тогда девчонка, сумела смиренно выслушать его и на всю жизнь запомнить урок»[95].

В этот киевский период Эренбург закончил книгу «Лик войны» (она будет опубликована только в 1920 году в Софии) и издал сборник стихов «Огонь». Эпиграфом к нему стали слова Христа: «Огонь пришел Я низвести на землю…» (Лк. 12:49).

Войны, голод, бунт, погибель края —
Разверзлось небо, пустое досель,
Ныне наша земля погружается
В огневую страдную купель.

(«Над миром дождь, горючий дождь…»)[96]

Здесь разыгрывается теллурическая «священная оргия» — среди нового потопа, среди «черных волн огромной мирской души» из «хляби вод» рождается «темная новь, первородная плоть земли». «Антихристы в пиджаках», «саранча с человечьими ужимками»[97], словно буря, сметают все на своем пути:

Палить, рубить, стрелять.
На штык посадят родную мать <…>
И что им вечная мудрость,
Наша седая земля? <…>
Что им книги? Они мир крестить будут сызнова.
«Эй стреляй! смотри не промахнись!»

(«В звездах»)[98]

Среди моря крови, раздавленный безумием всеобщего распада, поэт пытается отыскать что-то жизнеутверждающее в «темном хаосе»: «Я все более, может, даже против воли, иду к примирению и спокойствию. Даже ритм становится широким и прямым. Это опасно, может быть, это смерть? <…> Мое „святое нет“ слабеет»[99], — пишет он Меркурьевой. На развалинах он славит Творца — Бога и человека. Наконец он чувствует себя хозяином на этой несчастной земле, он хочет возделывать ее, трудиться на ней, оплодотворяя ее своей любовью, своими стихами:

Слава, слава труду! <…>
Будем строить, сеять и петь, —
Человек не может умереть!
Всколосись, любовь, на пожарищах злобы!

(«Слава труду»)[100]

Вирус большевизма

В конце августа 1919 года армия генерала Деникина окружила Киев. Отступая, большевики производят массовые расстрелы заложников. Одиннадцатого сентября в газете «Киевская жизнь» появляется первая статья Эренбурга. До своего отъезда из Киева в середине ноября он успел опубликовать еще несколько статей в газетах, выходивших в Ростове-на-Дону, где находилась ставка Деникина. В них он с необычайной силой обличает «Совдепию» и ее хозяев, большевиков. Впоследствии они исчезнут со страниц истории, как и многое другое. Между тем это был важный момент в биографии Эренбурга: никогда его проклятия и обеты не достигали такой силы и убедительности. Только через двадцать лет, когда немецкая армия вступит на советскую землю, он сумеет отыскать столь же гневные и проникновенные слова.

Первая статья в «Киевской жизни» носит заглавие «Без бенгальского огня». При виде Киева, разоренного большевиками, автор задается вопросом: «Зачем все это? Зачем они это сделали? Разрушающие былые святыни, что несут они миру?»[101] До того как взять власть, коммунисты шли вперед, вооруженные идеей свободы, — и мы, опьяненные, верили, что наступил «великий перелом». Почему же восторг и упоение быстро сменились «невыразимой скукой»? И отвечает: потому, что после победы идея свободы оказалась просто-напросто «зияющей пустотой», «вольной волей», сплошным проклятием и разрушением. «Да, конечно, мы не коммунисты! — заверяет Эренбург. — Мы воспитаны великим духом бунта. Он исходил из уст неистового Бакунина и Герцена. Мы все с младенчества дышали им, отвергая по очереди идеи божества, отчизны, добра и красоты»[102]. Пока Иван Карамазов размышлял и страдал, мучился проклятыми вопросами свободы личности и границ морали без Бога, его незаконнорожденный брат лакей Смердяков, будучи не столь щепетильным, принялся действовать и поднял руку на отца. Это и есть русский большевизм. Его корни исходят не из западного марксизма, но из этого «бунтарского русского духа»: «Наше национальное бедствие, — пишет Эренбург в другой статье, — сочетание крайних рассудочных доктрин Запада с родным „жги“»[103].

Грань, отделяющая истину от лжи, свободу от насилия, всегда была «нестойкой и дрожащей в душе России. Она хранилась не по убеждению, а по традиции. Наша этика держалась не на вере, но на устоях быта. Вот почему с такой легкостью переступала

тяжелая русская нога границу дозволенного. <…> Большевизм въелся в нашу душу. Я говорю не о большевистских идеях, но о средствах, об освобождении от всех нравственных пут, о культуре смердяковского „все дозволено“»[104].

Под прикрытием «грандиозной цели» и «великих идей» большевизм сеет презрение к «малым делам», которые проповедовал Чехов, презрение к повседневному труду, быту — словом, ко всему, что и составляет саму жизнь. Все оказалось подчинено бесплодной утопической мечте о будущем счастье. «Мы все заражены большевизмом. <…> Взгляните на обывателя — в его душе медовая передовица и крохотная „чека“. Он не просто алчен, труслив, кровожаден, нет, все свои делания, вплоть до укрывания ненужной ему шубы в особой кладовой он объясняет великими идеями». Новая «скептическая» мораль жаждет «будничных дел, мелких средств»[105].

Разногласия с большевизмом превращаются в ненависть: как некогда в Париже в период религиозного кризиса, а потом на полях Первой мировой, его преследует «запах разложения»: «Большевики не преобразуют жизнь, даже не переворачивают ее вверх дном, они просто ее останавливают. Разложением, гниением они заражают всех и все. Разложили армии, свои и чужие. <…> Разложили меньшевиков и эсеров, как только наивные „политики“ стали беседовать с ними помимо тюрем и чрезвычаек. Разложили интеллигенцию, превратив ее в какое-то жуткое племя „советских служащих“. Кажется, запах гниения донесся наконец до изысканных аллей Версальского парка. Не капитализм или коммунизм, но „жизнь или смерь“. Пусть Европа выбирает»[106].

Единственное средство спасения от большевизма, от разложения общества, от запаха смерти и необузданности русской души — это работа: «Мы, кажется, уже поняли и переболели. К водке был подмешан яд. <…> Сейчас не праздник, не воскресенье. <…> Мы должны умыться, прибрать наш дом и работать, работать. Свят и прекрасен будничный труд, заря жизни, угрюмое утро первого дня понедельника»[107].

Киевляне возлагали надежды на союзников, однако Эренбург с ужасом видит, что большевикам удалось обмануть французов, которые сочли их обычной политической партией. После того как 1 октября 1919 года большевики захватили город, Эренбург вспомнил взятие Амьена — событие, которому он был свидетелем три года назад, и паническое бегство горожан от «бошей»: «Да, большевики не политические враги, но насильники и завоеватели. Первое октября не смена режима, но разбойничий набег, исход граждан и пленение тех, кто уйти не смог»[108].

Как добры и наивны французы! Они позабыли, что палачи любят рядиться в эстетов, притворяться чувствительными и сентиментальными. Они так восхищаются меценатством большевиков, словно опять наступила эпоха Лоренцо Медичи — «…музыка, сытые поэты, бесплатные театры». Совдепия представляется им детской коммуной в духе Песталоцци. Как они были бы удивлены, узнав, что по соседству с Наркомпросом, по заданию которого Эренбург разрабатывал проект «опытно-показательной колонии» для малолетних правонарушителей, находится Чека, где расстреливают неугодных и подозрительных. Иностранцы не понимают, что «современные палачи, отвергнув религию, украсили свое чело пламенами искусства. Сзади для работы Петерс, а для гостей Луначарский, который пьесы даже пишет. Театр на площади… плакаты… памятники… университеты в деревне… детское питание. Французы потрясены. Мы ведь привыкли, что государство взимает налоги, набирает солдат, строит тюрьмы. А это заботливая нянька, просвещенный меценат, Геба, расточающая нектар. И французы недоумевают, почему русские варвары не резвятся в том обретенном Эдеме, а ищут лазейку, чтобы сбежать из него»[109].

Конечно, бывает, что большевикам служат люди, которые делают полезное дело. Но это никак не меняет сути: «Я проклинаю этот дом, ибо в его подземельях — средневековые пытки. Я не хочу смотреть на фасад, расписанный ультрасовременными художниками. Я не хочу слушать ни стихов, ни романсов, ибо я слышу предсмертный хрип. Все искусство в Совдепии — это культурно-просветительная комиссия при Чека. В эти годы мы потеряли сознание добра и зла, все мы темны и грешны. Грех каждого — общий грех. И если можно смертными слезами покаяния замолить грех слепой толпы, растерзавшей Духонина, то чем искупить благородного Луначарского, который строит музеи, насаждает театры и гладит надушенной рукой детские головки?»[110]

Погромы

Несчастьям Киева не было конца. Первого октября 1919 года город снова оказался в руках у большевиков, правда, всего на три дня. Эренбург, как многие солдаты и горожане, успел скрыться. А уже 4 ноября, когда Киев был отбит Деникиным, виновные были найдены. В городе начались погромы.

Как по улицам Киева-Вия
Ищет мужа не знаю чья жинка.
И на щеки ее восковые
Ни одна не скатилась слезинка.

Женщина с восковым лицом в этом стихотворении Мандельштама, одного из последних, написанных им в 1937 году, — это Люба Козинцева, которая после наступления комендантского часа мечется по улицам Киева в поисках Ильи[111].

Козлов отпущения искали недолго. Киевская «желтая» газета «Вечерние огни» так освещала текущие события: те, кто не присоединился к исходу и остался в городе для того, чтобы стрелять по деникинским добровольцам и дожидаться возвращения красных, — это в основном «еврейская молодежь, на три четверти состоящая из коммунистов»[112]. Далее приводился список фамилий и адресов еврейских изменников. Началась охота на людей. По городу катилась волна погромов. «…Разъяренная толпа после прихода белых ловила рыжих женщин и буквально разрывала их на части с криками, что это чекистка Роза. На наших глазах уничтожили нескольких женщин. <…> Жители охраняли дома и при появлении солдат били в медные тазы и вопили. Вой стоял по всем улицам. На улицах валялись трупы. Это было озверение гражданской войны»[113], — рассказывает Надежда Мандельштам. Еврейские вопли и крик запали в память свидетелей. В 1928 году Эренбург напишет в рассказе о еврейском погроме «Старый скорняк»: «А люди?.. Люди кричат. Зачем?.. Что пользы в крике?.. Об этом они не думают. Они кричат просто и непоправимо. Крик одного подхватывается всеми, он заражает квартиру, этаж, и вот уже не человек кричит, кричит дом, высокий черный корпус, каменная коробка среди темноты и топота»[114].

Возмущение погромами было так велико, что затронуло даже ближайшее окружение генерала Деникина. Василий Шульгин,

редактор газеты «Киевлянин», бывший депутат Государственной Думы, монархист, в 1911 году выступавший в Думе с резкой критикой действий правительства в связи с фальсифицированным антисемитским «делом Бейлиса», был потрясен средневековым призраком, вернувшимся на улицы Киева. Вслушиваясь в еврейские вопли, называя погромы «пыткой страхом», Шульгин ставит вопрос: сумеют ли евреи извлечь урок из этого опыта, понять в конце концов, что означает натравливать один класс на другой, проповедовать учение Карла Маркса? Евреи спровоцировали «женственную натуру» русского народа, им надо покаяться, публично отречься от большевизма[115].

Смогут ли евреи понять это? Эренбург откликается на вопрос Шульгина в статье под названием «О чем думает жид?»: «Я не потерял веры, я не разлюбил. Я только понял, что любовь тяжела и мучительна, что надо научиться любить. <…> Любить, любить во что бы то ни стало! <…> Кто любит мать свою за то, что она умна или богата, добра или образованна? Любить не „за то“, а „несмотря на то“, любить потому, что она мать.<…> Я благословляю Россию, порой жестокую и темную, нищую и неприютную. Благословляю ее некормящие груди, плетку в руке… В эти ночи „пытка страхом“ была шире и страшнее, чем думает Шульгин. Не только страх за тех, кого громили, но и за тех, кто громил. Не только за часть, евреев, но и за целое, Россию… Этот маленький трехцветный флажок перед моими окнами говорит о том, что вновь открыт для жаждущих источник русской культуры, питавший все племена нашей родины… И теперь я хочу обратиться к тем евреям, у которых, как у меня, нет другой родины, кроме России, которые все плохое и хорошее получили от нее, с призывом провести сквозь эти ночи светильники любви»[116].

Бесконечное бегство

Жизнь шла своим чередом: первая волна погромов прошла, однако в любой момент расправы могли возобновиться. Красная армия готовилась перейти в наступление. Эренбург и Люба при первой же возможности покинули Киев и отправились в Крым, в Коктебель к Максимилиану Волошину. Путешествие было опасным, но оставаться в городе было еще страшнее: «Мы ехали неделю до Харькова. На станциях в вагоны врывались офицеры или казаки: „Жиды, коммунисты, комиссары, выходи!..“ <…> Мы ехали добрый (нет, недобрый) месяц, зарывались в темные углы теплушек, валялись в трюме пароходов, среди больных сыпняком, которые бредили и умирали, лежали, густо обсыпанные вшами. Снова и снова раздавался монотонный крик: „А кто здесь пархатый?..“ Вши и кровь, кровь и вши…»[117] И все же им повезло. На барже, шедшей из Мариуполя в Феодосию, Эренбурга спас белый офицер, вырвав его из рук казака, намеревавшегося «окрестить» еврея в ледяной воде.

Они сделали остановку в Ростове-на-Дону, куда стекались все беженцы из Киева. Там царили антибольшевистские и антисемитские настроения — эти два слова уже стали синонимами. Нередко Эренбург задается вопросом о том, насколько честны спасители России. Его статьи с библейскими названиями — «На пути в Дамаск» и «Тридцать сребреников» — прозвучали как набат. «Вирус большевизма» уже заразил всю нацию, ибо белогвардейцы, грабящие евреев с именем Христовым на устах, — это победа материализма и нравственного релятивизма, которые проповедуют коммунисты. Одни ли большевики виноваты в этом? И Эренбург отвечает: «Только чудо преображения русского народа на краю смерти может спасти родину»[118].

В ожидании великого чуда преображения русского народа Илье и Любе необходимо было совершить несколько мелких чудес, чтобы выкарабкаться из бесконечных злоключений. Когда они наконец добрались до Коктебеля, у них из всего имущества остались только Любины украшения да стихи Ильи. В этом благословенном приюте им довелось пережить жуткую зиму. Весной Эренбург открыл детский сад для местных крестьянских ребят. Родители время от времени приносили ему продукты — сыр, яйца; однако, увидев рисунки и фигурки, вылепленные детьми, осудили воспитателя: «Это жид и большевик, он хочет перегнать детей в дьявольскую веру»[119]. Потом случилось самое страшное: Люба заболела тифом. Денег на лечение не было, да и

лекарств нельзя было достать. Александр Мандельштам, брат Осипа, поехал верхом в Феодосию за шприцем. Понадобился спирт, но крестьяне отказывались его продавать: «Хочешь пить, садись, нальем, а на вынос нет»[120]. Проведя несколько недель между жизнью и смертью, Люба выздоровела, но тут же случилась новая беда: солдаты генерала Врангеля, занявшего Крым, арестовали Осипа Мандельштама как большевистского шпиона. Его удалось освободить в последнюю минуту благодаря вмешательству Волошина.

Илья проводил долгие часы вынужденного безделья у изголовья Любы. Загнанные на край земли, одинаково чуждые белым и красным, Эренбург и Мандельштам вели длинные споры про «сумерки свободы». Впоследствии Эренбург напишет: «Поэты встретили революцию бурными вскриками, кликушескими слезами, плачем, восторженным беснованием, проклятьями. Мандельштам один понял пафос событий<…> постигнув масштаб происходящего, величие истории творимой, после Баха и готики прославил безумье современности»[121].

Эренбург постепенно проникается этой мудростью. В стихотворениях, объединенных в поэтический цикл «Раздумья», он клянется, что отрекся от старого мира:

Смердишь, распухла с голоду, сочится кровь и гной
из ран отверстых,
Вопя и корчась, к матери-земле припала ты.
Россия, твой родильный бред они сочли за смертный,
Гнушаются тобой, разумны, сыты и чисты. <…>
Суровы роды, час высок и страшен.
Не в пене моря, не в небесной синеве,
На темном гноище, омытый кровью нашей,
Рождается иной, великий век.

(«Россиш»)[122]

Эренбург видит, что наступает новый век, но не признает его своим. Словно римлянин эпохи упадка империи, он слышит тщетные пророчества, видит, как «родные могилы весело топчут буйные табуны», и глядит «на зарю, едва розовеющую, моего посмертного дня»[123]. Он пишет: «Отрекаюсь, трижды отрекаюсь / От всего, чем жил вчера / <…> Принимаю твой крест, безверье…»[124].

Между тем Красная армия неуклонно наступает. На западе разбит Деникин, и Киев в третий и последний раз занят большевиками. Только в Крыму армия Врангеля еще оказывает

сопротивление. Однако к концу лета 1920 года ее судьба была предрешена — гражданская война уже подходила к концу. Больше не надеялись на высадку англичан, белые офицеры и беженцы в панике толпились в порту, чтобы бежать от красных. Эренбург и Мандельштам могли бы бежать вместе с ними, но выбрали другой путь — тот, который вел в советскую Россию.

Путь этот шел через независимую республику Грузию, меньшевистское правительство которой поддерживало дипломатические отношения с Москвой. Эренбург и Люба пережили очередную порцию приключений; в шаланде контрабандистов они добрались до грузинского берега, а затем добрались до Тбилиси, где встретились с братьями Мандельштам. Две недели, проведенные в Грузии, показались им «лирическим отступлением» в ходе их долгой одиссеи. Здесь царили мир, изобилие и цивилизованные нравы. В Тбилиси их «с роскошью средневековых князей»[125] принимали два замечательных поэта, Паоло Яшвили и Тициан Табидзе. Вкусив всех прелестей этого европейского Востока, Мандельштам и Эренбург отправились к российскому послу. И здесь произошло очередное чудо. Несмотря на то что они прибыли из местности, занятой врангелевцами, и что они отнюдь не являлись пламенными революционерами, им были выданы визы. Более того, им была доверена диппочта, что значительно повысило их статус и, соответственно, увеличило шансы благополучно добраться до места назначения.

Москва и Чека

Когда Эренбурги приехали в Москву, их встретил пустой, голодный и холодный город; шел четвертый год гражданской войны и третий год военного коммунизма. Как «дипкурьеров» Эренбургов поселили в гостинице «Княжий двор», где когда-то Илья останавливался со своим отцом, а сейчас располагалось «Третье общежитие Наркоминдела». Встреча с советской действительностью не заставила себя ждать: первый поэтический вечер Эренбурга окончился тем, что он был арестован и препровожден на Лубянку, в здание, принадлежавшее раньше страховому обществу «Россия», где с 1918 помещалась Чека. «Взяли дом. Обыкновенный. <…> Взяли и сделали такую жуть, что пешеход, подрагивая даже в летний зной, старательно обходит — сторонкой. <…> Взяли дом, и он стал мифом. Лестницы, как будто их придумал Пиранезе: тридцать три заледеневшие ступеньки, дуло, вверху — решетка, внизу подвал. Там духота, темнота, икота. <…> Войти и выйти — легче умереть. Чем дальше, тем страшнее. Одна ступенька — и забудь, что на Лубянской площади оттепель»[126].

Следователь, как оказалось, встречал Эренбурга в «Ротонде»; после воспоминаний о Париже он попросил подробнее разъяснить, каким образом ему удалось получить визу, то есть признаться, что он — агент Врангеля. Эренбург прекрасно понимал, что одних его статей, напечатанных в Киеве и Ростове, достаточно для того, чтобы с ним покончили пулей в затылок. И снова происходит чудо: на выручку пришел его старый друг Бухарин, ставший главным редактором «Правды», большевистским наркомом и третьим лицом в государстве после Ленина и Троцкого.

О чем Илья передумал за эти пять дней, проведенных в заключении? Быть может, вспоминал здание Чека в Киеве, находившееся прямо рядом с конторой Наркомпроса? Или обо всех пинках и тычках, которыми Россия щедро награждала своего блудного сына? На этот раз он, кажется, не воспринимал свой арест как испытание его любви к Родине.

Когда его отпустили с Лубянки, он «вернулся в потерянный рай»: комендант общежития, «прочитав записку заместителя наркома Л. Карахана <…> „Эренбург остается жить“»[127], вернул им комнату. Однако непонятно было, как и на что им предстоит жить. «Быт был страшен: пша или вобла, лопнувшие трубы канализации, холод, эпидемии»[128]. Бумага стала дефицитом, литература оказалась на грани исчезновения: нельзя

было отыскать и клочка, пригодного для письма. Писатель Зайцев заговорил про «уничтожение Гутенберга». Все выдавалось по карточкам, а чтобы получить карточки, надо было поступить на службу. Плакать об «исчезновении интеллигенции» было некогда: Эренбург снова становится советским служащим. Он идет работать в театральный отдел Наркомпроса, которым руководил Всеволод Мейерхольд, один из тех художников, которых Эренбург обозвал «певцами его величества пролетариата». Он предложил Эренбургу заведовать всеми детскими театрами России. Выбора не было — пришлось согласиться. Люба возобновила занятия живописью во Вхутемасе, которым руководил А.М. Родченко, так что Илье приходилось обеспечивать семью карточками. Отношения в театральном отделе складывались нелегко: Мейерхольд в тот период был пламенным революционером и, узнав однажды, что Эренбург отклонил пьесу «с революционным содержанием», вызвал коменданта: «Арестуйте Эренбурга за саботаж!»[129] И все же воинствующий авангардизм Мейерхольда, его талант и страсть пленили Илью. Между тем «идиллия» большевиков и левого искусства подходила к концу. Ленину не понравились последние стихи Маяковского, а Крупской — постановки Мейерхольда. Первого декабря 1920 года в «Правде» появилась резолюция ЦК «О пролеткульте», где разоблачались «интеллигентские группки», которые «под видом пролетарской культуры» навязывают передовым рабочим «свои собственные полубуржуазные системы и выдумки»[130]. В феврале 1921 года Мейерхольд вынужден был покинуть театральный отдел Наркомпроса. Без него руководство детскими театрами потеряло для Эренбурга всякий смысл.

Два года спустя, в Берлине, в конструктивистском манифесте «А все-таки она вертится!» Эренбург напишет: «В Московской Школе живописи обучают учащихся „политической грамоте“, но, увы, никто не додумался до курсов „художественной грамоты“ для членов Совнаркома. А, пожалуй, это нужнее. Прослушав свой курс, художник продолжает писать картины и декретов не пишет. Член же Совнаркома, даже не прослушав курса, декретирует борьбу с „кознями футуристов“»[131].

Литературным отделом Наркомпроса, то есть фактически, всей советской литературой, заведовал старый знакомый Эренбурга поэт Валерий Брюсов. Придя к нему, Эренбург содрогнулся: на стене висела «странная схема»: квадраты, круги, ромбы. Они представляли собою литературу — поэзию, роман и трагедию. Подобно Евгению Замятину, который только что окончил роман «Мы», Эренбург предчувствовал, какое страшное общество должно возникнуть на основе рационалистической

утопии и принудительного коллективизма:

Провижу грозный город-улей —
Стекло и сталь безликих сот,
И умудренный труд, и карнавал средь гулких улиц,
Похожий на военный смотр.

(«Провижу грозный город-улей…»)[132]

В Москве были не только геометрические фигуры Брюсова и революционные толпы Мейерхольда. В их теплую, натопленную комнату часто приходил Борис Пастернак: в то время он уже вынашивал замысел романа «в духе Бальзака» о любви, где главным персонажем будет женщина. Эренбурга покорил поэтический дар Пастернака: «ритм Пастернака — это ритм наших дней, он неистов и дик в своей быстроте»[133]. Близким другом была и «примечательная Марина Цветаева с языческой бурной радостью бытия»[134]. Они познакомились в Коктебеле, где Цветаева писала стихотворный цикл «Лебединый стан», воспевая «русскую Вандею». Дочь Цветаевой, Ариадна Эфрон, которой было тогда восемь лет, оставит записи «Золотое сердце Эренбурга», в память о рисунке, нарисованном Ильей Григорьевичем для маленькой Али, — «Божья Матерь золотое сердце». Ариадна с матерью часто навещали Эренбургов в «Княжьем дворе»: «Стучим. — „Войдите“. Боже мой, Илья Григорьевич и столько людей! Целых восемь человек! Эренбург в очень веселом настроении и дает мне целую груду нарисованных им картинок. Я стою на коленях перед стулом и любуюсь. „Рай и Ад“. На границе Рая и Ада большой золотой престол. На нем сидит Бог. Перед ним ходят мужчины, женщины, дети и собаки. А в Аду в тазах с кипящей смолой сидят грешники. Черти с красными усами и зелеными глазами бегают с головешками. <…> Посмотрев, я начала наблюдать людей. <…> Вот жена Эренбурга — она в „модном дамском платье“. У нее короткие черные волосы и тонкие сквозные пальцы с блестящими стеклянными ногтями…»[135]

Бывал у Эренбургов и удивительный человек, дрессировщик Владимир Дуров. Они вместе придумали номер с зайцами, озаглавленный «Зайцы всех стран, соединяйтесь!». Цирковая секция Наркомпроса находилась рядом с театральным отделом, и Дуров часто заходил, точнее, заезжал за Эренбургом на санках, которые вез верблюд (трамваи в Москве не ходили). Этот верблюд был увековечен в московском анекдоте тех времен: «Двое пьяниц стоят в коридоре здания на Лубянке, видят, как из дверей

кабинета выходит верблюд, и возмущаются: „Видал, что большевики сделали с этой лошадью?“»

Тогдашний быт чем-то напоминал цирковую эксцентрику. Когда Эренбурги и Мандельштам уезжали из Крыма, у них была только легкая одежда. Между тем, по словам Эренбурга, «Москва зимой не Бразилия…» Мандельштаму в Петрограде удалось «выбить» свитер у Максима Горького, ответственного за снабжение писателей. Однако насчет брюк договориться не получилось. «И без них обойдется», — был вердикт Горького. У Эренбурга было только пальто, купленное еще в Париже и превратившееся в «дырявый капот», и совершенно расползшиеся брюки. Ему снова пришел на помощь Бухарин. С первого взгляда оценив масштабы катастрофы, он снабдил Илью письмом к «лорд-мэру» Москвы Льву Каменеву, еще одному «старому парижскому знакомому». Каменев, более щедрый, чем Горький, подписал приказ, открывавший необозримые возможности: «Одеть т. Эренбурга».

Но ни эти нечаянные радости, ни победы, одержанные в борьбе за существование, не смогли смягчить враждебности Эренбурга к «новой действительности». Он наконец понял глубокий смысл «безумия нашего времени», то есть отказался от бессмысленного сопротивления и научился скрывать свое несогласие. Но мысль о Париже становилась все более и более навязчивой: ему надоело бороться за пару брюк, ждать следующего ареста. Раньше мысль об эмиграции была невыносимой. Он помнил, как билось его сердце, когда он покидал Францию на пароходе, с каким презрением в Крыму слушал разговоры белогвардейцев о победах англичан. И в Киеве, и в Крыму у него были возможности бежать за границу, но он ими не воспользовался. Сейчас покинуть Россию легальным путем оказалось практически невозможно. Отказали даже тяжело больному Блоку, который пытался выехать на лечение в Финляндию (Блок умрет тем же летом 1921 года в возрасте сорока лет). Однако у Эренбурга был в запасе более убедительный аргумент: он хотел написать книгу о послевоенной Европе. Он рассказал о своем проекте Бухарину, который загорелся этой идеей: «Посмотрите, что там теперь делается, а потом опишите, только позлее»[136].

Оставалась последняя формальность: беседа с начальником Особого отдела Чека Вячеславом Менжинским. Это был культурный человек с прекрасными манерами, бывший литератор, который любил поговорить о литературе и искусстве. Менжинский расспросил Эренбурга о его творческих планах и, судя по всему, одобрил их, так как распорядился выдать паспорта

и ему, и Любови Михайловне.

Эренбург пытался убедить себя, что это просто проявляет слабость, что он идет на поводу у собственной прихоти, используя представившуюся возможность, а на самом деле остается верным и самому себе, и новой России. Однако он ошибался относительно природы своей «слабости»: она заключалась не столько в желании уехать, сколько в желании не подчиниться железному закону революции, который гласил: «Кто не с нами, тот против нас», — в отказе от выбора. Итак, вместо эмиграции он придумал спасительную лазейку — «творческую командировку». Так было положено начало двойной жизни, которую отныне будет вести Илья Эренбург.

Глава IV
КРАСНЫЙ ПАСПОРТ

Persona non grata в Париже

Получить паспорт в эпоху военного коммунизма было делом неслыханным. «Природа щедро одарила Эренбурга — у него есть паспорт. Живет он с этим паспортом за границей. И тысячи виз»[137], — пошутил Виктор Шкловский, который сам был беженцем в Берлине и паспорта не имел. Получив разрешение выехать, Эренбург совсем не был уверен, что ему удастся куда-нибудь въехать. Единственной страной, разрешавшей въезд гражданам большевистской России, была соседняя Латвия. Первым этапом путешествия должна была стать Рига. Эренбурги с тяжелым сердцем пересекали границу: позади оставалась голодная, разоренная страна, где хозяйничали чекисты. Этой весной малыши там рождались с прозрачной кожей, а в Поволжье несчастные голодающие поедали собственных детей. «Ах, скажите знакомым — здесь дети, / Будто в книгах, еще улыбаются»[138], — это были первые стихи, которые написал Эренбург, покинув Россию. Илья и Люба надеялись, что в Риге они проведут от силы несколько дней, но французский посол с презрением вернул им их «краснокожие паспортины» и потребовал рекомендательные письма из Парижа. Ожидание было долгим и унизительным; когда наконец прибыли требуемые рекомендации, послу пришлось уступить. Однако он упрямо не желал ставить в советские паспорта французские визы и проштамповал их на отдельных листках. Немцы вообще отказали Эренбургам в разрешении следовать через Германию. Илье с Любой пришлось выбрать сложный кружной маршрут через вольный город Данциг, Данию и Англию. Только через шесть недель Илья оказался вновь в своем любимом Париже, о котором он так часто грезил в годы революционной бури в России:

> Что ж ты, сердце, тщишься вызвать к жизни
> Юные года в миру
> Средь огней Парижа голубых и сизых
> Запах ландыша и пламень смуглых рук…

(«Московские раздумья»)[139]

Первым делом Илья направляется на набережную Сены, а затем на Монпарнас. Ему не терпится рассказать о революции, о том невероятном, что происходит в русском искусстве и литературе, — словом, он хочет как можно скорее расстаться с

ролью беженца и выступить в качестве вестника, прибывшего с поля брани. Но его никто не слушает. «Ротонда» приняла блудного сына с полным равнодушием: кафе оккупировали богатые американцы, сменившие вечно голодных восточноевропейских эмигрантов. Разочарованный, Эренбург пытается сблизиться с русской колонией: в Париже в это время находятся Алексей Толстой и Иван Бунин, с которыми он познакомился в Москве. Но эти эмигранты первой волны отворачиваются от него, узнав, что он выехал по советскому паспорту. Эренбург уязвлен и раздосадован. В своей первой парижской статье он пишет: «В течение семи лет мы выносили духовную блокаду. Трудно вообразить всю степень нашей изоляции в России»[140]. Неужели он приехал в Париж, чтобы и здесь чувствовать себя в изоляции? К счастью, у Эренбурга остались друзья среди художников-кубистов, вечных бунтарей: они-то жадно слушают рассказы о его приключениях в России. Макс Жакоб привел Эренбурга в редакцию философско-художественного журнала «Action», где сотрудничали Луи Арагон, Андре Мальро, Блез Сандрар, Андре Сальмон, Франсис Карко и многие другие. Там публикуется его стихотворение «Москва», примыкающее к славянофильским стихам периода гражданской войны и подписанное, как и раньше, Элий Эренбург. Пабло Пикассо, Фернану Леже, Диего Ривере не терпится узнать побольше о революционном искусстве. Эренбургу не нужно повторять дважды: он знает, как удовлетворить всех. Он был поэтом-традиционалистом — почему бы теперь не стать глашатаем русского авангарда? Уже через несколько дней статьи об изобразительном искусстве и театре большевистской России готовы. Одну из них печатает журнал «L'Amour de l'art». В ней больше всего говорится о конструктивизме, самый яркий пример которого — башня Татлина, «Памятник Третьему Интернационалу», провозглашается кредо машинизма: «Ориентация на промышленность и на рабочих как на единомышленников проистекают отнюдь не из политического оппортунизма. Современное искусство состоит в культе объекта, а между тем всем известно, что рабочий, который всю жизнь производит какую-либо автомобильную деталь, любит и ценит красоту этой машины гораздо больше, чем ее хозяин». Именно революция, а не «реакционные аппаратчики» вроде Луначарского дала импульс новому русскому искусству. Друзья Эренбурга готовы заявить в один голос, по примеру Пикассо, что «их место там, в России».

Наконец у Эренбурга появляются слушатели. Но здесь, как назло, он лишается вида на жительство. Кто-то из русских

эмигрантов (Нина Берберова предполагает, что это был Алексей Толстой) донес на Эренбурга в полицию. Три года спустя чиновник префектуры, ответственный за его досье, признал, что в этом случае власти переусердствовали: единственным доказательством «виновности» Эренбурга были его статьи. Но как бы горячо их автор ни восхвалял революционное искусство, они никак не могли послужить основанием для его высылки из страны. Тем не менее против него выдвинуто обвинение в «пропаганде большевизма» и предписано в двадцать четыре часа покинуть Францию[141]. Так всего через десять недель после отъезда из Москвы Эренбург оказывается в третьей по счету европейской столице — Брюсселе. Здесь он находит поэта Франца Элленса, женатого на русской. С помощью Элленса административные формальности удалось уладить, и в конце концов, после томительного ожидания Эренбург получает вид на жительство. Он сразу приступает к работе. Вместе с Любой он отправляется на побережье и снимает комнату в гостинице. Там он начинает писать «Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников». Роман давно сложился у него в голове: еще в Киеве, сидя в кафе «Клак», он рассказывал, эпизод за эпизодом, задуманную книгу Любе и ее друзьям; долгими одинокими ночами в Коктебеле он читал сам себе вслух еще не написанные страницы; в камере Лубянки развлекал своих товарищей по несчастью, сочиняя на ходу куски будущего романа. Эренбург-поэт столько раз изливал в слове свою тоску и ненависть, что теперь его перо само летало по бумаге. Написанный за один месяц, «Хулио Хуренито» станет самым удачным, самым оригинальным из его романов.

Автор и ученик Хулио Хуренито

Этот плутовской роман, полный горьких и циничных размышлений о современном миропорядке, часто сравнивали с «Кандидом» Вольтера и «Швейком» Ярослава Гашека[142]. Кто же такой Хулио Хуренито? Якобы уроженец Мексики (дань дружбе с Диего Риверой), он однажды появляется в парижской «Ротонде», чтобы завербовать себе учеников, из которых самым блестящим оказывается поэт Илья Эренбург. Хотя из-под пальто Хулио Хуренито и выглядывает длинный хвост, он, тем не менее, не дьявол (ведь существование дьявола подразумевает и существование Бога), а Великий Провокатор. Хулио Хуренито — человек без убеждений, задавшийся целью подорвать все представления, на которых зиждется буржуазное общество. Этот Учитель ничего не проповедует, его дело — извратить, обратить против нее же самой все принципы ненавистной ему цивилизации: «…после длительных раздумий он решил <…> что культура — это зло. Надо не нападать на нее, но всячески холить язвы, расползающиеся и готовые пожрать ее полусгнившее тело»[143]. Великий Провокатор доказывает, что за священными европейскими ценностями, такими как любовь, религия, труд, искусство, скрывается лишь всемогущая власть денег. Однако общая тональность «Хулио Хуренито» далека от обличительного пафоса прежних сочинений Эренбурга: конечно, Учитель погружен в глубокое отчаянье, но тирады в духе Леона Блуа в романе отсутствуют. Неужели опыт двух войн, недавно пережитых Эренбургом, смирил его анархистский пыл? Так или иначе, после своих испытаний он пришел к убеждению, что не он один питает желание «уничтожить дом», взорвать этот негодный мир, где ему приходится жить (именно в этом желании признается в разговоре с Хулио Хуренито автобиографический персонаж романа по имени Илья Эренбург), и что лучше всех с этой задачей справятся те, кто носит военную форму: «Провокатор — это великая повитуха истории. Если вы не примете меня, провокатора с мирной улыбкой и с вечной ручкой в кармане, придет другой для кесарева сечения, и худо будет на земле»[144].

Заметим, что европейский опыт Эренбурга (который в те времена не был чем-то исключительным), отнюдь не сделал его гуманистом и космополитом: напротив, современный мир представляется ему непрерывной борьбой, абсурдным и жестоким противоборством как отдельных личностей, так и целых народов. И вот вокруг Хулио Хуренито собираются семь учеников, готовых

следовать за Учителем: все они родом из разных стран и воплощают самые трафаретные стереотипы: итальянец ленив, американец презирает культуру и думает лишь о деньгах, француз — гурман и гедонист, немец привержен к порядку и дисциплине, сенегалец, любимый ученик Хуренито, — добрый и наивный «благородный дикарь», русский — восторженный интеллигент, неспособный к действию, и, наконец, седьмой — еврей, Илья Эренбург, просто умный человек. Разумеется, для нас интересен именно этот последний персонаж: это alter ego автора, его автопортрет или, точнее, зеркальное отражение.

Однажды Хулио Хуренито, он же Великий Провокатор, представляет своим ученикам грандиозный план, поистине в масштабе «проектов» XX века: он намеревается устроить в различных крупных городах мира «торжественные сеансы уничтожения еврейского племени»: «В программу войдут, кроме излюбленных уважаемой публикой традиционных погромов, реставрированные в духе эпохи: сожжения евреев, закапывание их живьем в землю, опрыскивание полей еврейской кровью, а также новые приемы „эвакуации“, „очистки от подозрительных элементов“ и пр., пр.»[145]. Предвидеть такие зрелища в 1921 году — это уже немало! Ученики всполошились. Алексей Спиридонович Тишин, русский, шокирован: «Это немыслимо! Двадцатый век, и такая гнусность! <…> Разве евреи не такие же люди, как и мы?»[146] На что Учитель решительно возражает: «Разве мяч футбола и бомба одно и то же? Или, по-твоему, могут быть братьями дерево и топор? Евреев можно любить или ненавидеть, взирать на них с ужасом, как на поджигателей, или с надеждой, как на спасителей, но их кровь не твоя, и дело их не твое!»[147] И он предлагает ученикам провести небольшой опыт — сделать выбор между словами «да» и «нет». Все выбирают «да», кроме Ильи Эренбурга: он единственный предпочитает «нет». Пока он обосновывает свой выбор, друзья, сидевшие с ним рядом, пересаживаются подальше, в другой угол. Опыт оказывается убедительным: именно отрицание и скепсис составляют квинтэссенцию еврейского ума, обрекая его на неизбывное одиночество и вечные поиски. Судьба еврейского народа не вмещается в рамки государственных режимов и общественных организаций: «Можно уничтожить все гетто, стереть все черты оседлости, срыть все границы, но ничем не заполнить этих пяти аршин, отделяющих вас от него»[148], — заключает Великий Провокатор. Дважды евреи приносили человечеству весть о всемирной справедливости и всеобщем братстве: вначале они дали миру христианство, затем идею пролетарского интернационализма. И оба раза прекрасная мечта была

извращена и растоптана. Еврейские погромы — это не только симптом зла, разъедающего цивилизацию, но и доказательство искупительной миссии еврейства.

Учитель и ученики отправляются в путешествие по миру и в конце концов прибывают в революционную Россию. Здесь Эренбург собрал все свои впечатления от гражданской войны, когда он поочередно примыкал то к белым, то к красным, и в ироническом ключе переосмыслил собственные статьи киевского периода. Чтобы привести в порядок смятенные мысли, Илья Эренбург и Хулио Хуренито отправляются с визитом к вождю революции. Эта глава носит название «Великий Инквизитор вне легенды»: она отсылает читателя к Достоевскому и «Легенде о Великом Инквизиторе», рассказанной Иваном Карамазовым, в которой ставится проблема выбора между счастьем и свободой. В послевоенных советских изданиях «Хулио Хуренито» эта глава будет полностью снята цензурой (в это время в СССР Достоевский был объявлен реакционным писателем). Между тем она гораздо менее уязвима, нежели другие страницы романа, посвященные Советской России. В ней изображается человек «с умными и насмешливыми глазами», спокойный и терпимый, который теряет душевное равновесие, только когда Учитель упоминает опубликованный в «Известиях» список расстрелянных, и тогда читателю вдруг открывается вся глубина его мук. Он признается, что хотел бы, чтобы кто-нибудь другой взял на себя бремя революционного долга. Ведь если революцией не руководить, она захлебнется в анархии: «Здесь — тяжесть, здесь — мука! Конечно, исторический процесс, неизбежность и прочее. Но кто-нибудь должен был познать, начать, стать во главе. Два года тому назад ходили с кольями, ревмя ревели, рвали на клочки генералов… Море мутилось, буйствовало. <…> Пришли! Кто? Я, десятки, тысячи, организация, партия, власть <…> Я под образами валяться не стану, замаливать грехи, руки отмывать не стану. Просто говорю: — тяжело. Но так надо, слышите, иначе нельзя!»[149] Покидая Кремль, Хулио Хуренито запечатлевает на лбу вождя ритуальный поцелуй по примеру героя Достоевского.

Встреча с работниками ВЧК дает Хулио Хуренито возможность высказать свои взгляды на революционное искусство. Он намерен поздравить их с тем, что они сумели полностью уничтожить вместе с прочими буржуазными ценностями само понятие свободы. Он заклинает их не сворачивать с этого пути, не сдаваться: «Умоляю вас, не украшайте палки фиалочками! Велика и сложна ваша миссия приучить человека настолько к колодкам, чтобы они казались ему нежными объятиями матери. Нет, нужно создать новый пафос для

нового рабства. <…> Оставьте же свободу сифилитикам из монмартрских кабаков и делайте без нее все, что вы, собственно говоря, и так делаете!»[150] Однако эти призывы воспринимаются как провокация. Революционная Россия разочаровала Учителя: «Государство как государство»[151], — пессимистически заключает он и, охваченный смертельной скукой, решает добровольно уйти из жизни.

Хулио Хуренито позволяет убить себя бандитам, прельстившимся его сапогами. Эренбург даже указывает точную дату преступления — 12 марта 1921 года: именно в этот день они с Любой пересекли границу Советской России. Учитель погибает, и вместе с ним гибнет идея революции как безграничной свободы, однако его ученик продолжает жить. Бельгия для него только случайный приют, он не хочет задерживаться там надолго. Разумеется, он мечтает вернуться в Париж, но статья о революционной поэзии, опубликованная во франкоязычном бельгийском журнале, дает французским властям новый повод для отказа ему в визе. Эренбург рассержен: неужели французы всерьез полагают, что «поэт Эренбург» покинул свою страну, чтобы «воспевать аперитивы и автомобили Форда»? Перенесенное унижение вынуждает его выступить с ответной репликой. Он не позволит, чтобы к нему относились так же, как к прочим экспатриантам, чтобы его принимали за человека без родины. В новом стихотворном цикле «Зарубежные раздумья», написанном в Бельгии, не без комедиантства он восклицает:

О горе, горе, убежавшим с каторги!
Их манят вновь отринутые льды.
И кто, средь равноденствия экватора,
Не помянет священной баланды?[152]

Он воспевает прометеев порыв своей Родины, которая, голодная и разутая, тем не менее грезит о волшебной фее Электричества, готовой вот-вот спуститься на ее землю:

Был лес и хлеб, табак и хлопок,
Но смыла материк вода.
И вот, отчалив, пол-Европы
Плывет неведомо куда.
Не ты ли захотела с неба
Свести обещанный огонь,
Чтоб после за краюхой хлеба
Тянуть дрожащую ладонь? <…>

Там в кабинетах, схем гигантских,
Кругов и ромбов торжество,
И на гниющих полустанках
Тупое, робкое «чаво?».
Потешных электрификаций
Святого Эльма огоньки.
О, кто посмеет посмеяться
Над слепотой такой тоски?[153]

В сытой Европе «проспекты тридцати столиц» «смеются над юродством» нищей мечтательницы России. Но поэт не продается насмешникам, он остается верен своему «первородству». Такое внезапное ожесточение против Запада, такая патетическая присяга на верность России противоречат избранному им пути беглеца, покинувшего «ледяную каторгу». «Эренбург — это интересный и редкий случай обвинителя, который обожает то, против чего он выступает», — написал о нем один из его друзей.

По крайней мере, он взял маленький реванш и отомстил за высылку из Франции. За время своего краткого пребывания в Париже он успел прочесть новое сочинение Блеза Сандрара «Конец света, рассказанный ангелом Нотр-Дам», «сатиру, под видом киносценария рисующую конец капиталистического мира». Издание было великолепно иллюстрировано Фернаном Леже. После четырех лет культурной изоляции знакомство с этим произведением заново открывает Эренбургу современное искусство. Книга Сандрара станет для него настоящим кладезем идей, из которого он скоро будет беззастенчиво черпать, отбросив всякую щепетильность. Два года спустя появится «кинематографический роман» «Трест Д.Е. История гибели Европы» Эренбурга. В соответствии с греческим мифом прекрасную, но слабую Европу похищает чудовищный Минотавр — Соединенные Штаты Америки; эту тему и прием мы найдем и в его книге «Единый фронт» 1929 года.

Итак, Эренбург обижен и раздосадован. Поскольку путь во Францию закрыт, он вынужден отправиться в Германию. Но если в Париже он как дома и чувствует себя настоящим парижанином, то в Берлине он ничем не выделяется среди русской колонии: такой же эмигрант, как и другие. Это ему претит. Он-то понимает, какая пропасть разделяет тех, кто сегодня отвергает и новую власть, и возникшее в стране новое общество, от тех, кто, не будучи коммунистом, тем не менее считает себя участником возрождения России. Эренбург предчувствует, что в Берлине не обойдется без недоразумений. Едва приехав в столицу Германии,

он пишет своему другу Марии Шкапской в Россию: «Возможно, что к апрелю будем дома. Все же жизнь у вас, а не здесь»[154]. Странные планы для эмигранта, не правда ли?

Берлин: над схваткой

Берлин, «мачеха русских городов», как иронически окрестил его поэт Ходасевич, на время превратился в политический и интеллектуальный центр русской эмиграции. Постепенно здесь стали собираться изгнанники, рассеявшиеся по разным городам, съезжались эмигранты из Стамбула, Варшавы, Праги, Парижа. Всего в Германии насчитывалось до 200 000 русских, из них 100 000 проживали в Берлине. Среди них — монархисты, меньшевики, поэты-декаденты и даже сам Максим Горький. Все они ждали конца большевизма и старались спасти то, что осталось от русской культуры, сохранить свидетельства ужасов гражданской войны. Писателей, оставшихся в России и участвующих там в общественной жизни, клеймили позором. Из всех берлинских литературных изданий только журнал «Русская книга» был склонен поддерживать культурные связи с новой Россией. Сразу после приезда Эренбург обращается к основателю и главному редактору «Русской книги» Александру Ященко и сообщает ему: «Я помню, с какой радостью в Москве мы передавали друг другу первый номер „Книги“ <…>. Ваш скромный библиографический журнал является ныне единственным обслуживающим русскую литературу как таковую, вне гражданской войны»[155]. В условиях голода, страха и массовой миграции, когда все питались слухами и каждая новость моментально превращалась в легенду, «обслуживать русскую литературу как таковую» и для Эренбурга, и для Ященко означало прежде всего оставаться вне политической борьбы и публиковать достоверную информацию. И очень скоро «Русская книга» печатает 76 заметок, написанных Эренбургом и содержащих сведения, полученные «из первых рук», о судьбе писателей, поэтов и критиков, оставшихся в России.

Этим Эренбург не ограничивается. В следующих номерах журнала появляются две его статьи с провокационными заголовками: «Над схваткой» и «О некоторых признаках расцвета российской поэзии»[156]. Их мишенью стали эмигрантские критики. Главное обвинение заключалось в том, что, не принимая в расчет тяжелейшие условия, в которых русская литература борется за выживание, не выказывая ни малейшего интереса к ее поразительным достижениям, они бессовестно чернят тех писателей, «которые не смогли или не захотели покинуть Россию»[157], но, кроме того, возможности возразить. Среди них Блок, Белый, Сологуб, Есенин, Маяковский, Мандельштам, Пастернак, которых эмигрантская пресса быстро записала в

«красные» (Есенина, например, называли «большевистским Распутиным»[158]). Нет, утверждает Эренбург, настоящая, живая русская литература создается в России, а не в Берлине и не в Париже; она — плод творчества писателей, которые по-разному отнеслись к большевизму, но так или иначе приняли вызов, брошенный им революцией. Это факт, и эмиграция не может его игнорировать.

Выступая в роли защитника литературного авангарда, Эренбург тем самым отрекается от собственных суждений, высказанных в годы гражданской войны. Не зря Виктор Шкловский назвал Эренбурга «Павлом Савловичем» и уподобил его Павлу Тарсянину, который, несмотря на свое обращение по пути в Дамаск, все же не отрекся и от своего прежнего иудейского имени: «Прежде я сердился на Эренбурга за то, что он, обратившись из еврейского католика или славянофила в европейского конструктивиста, не забыл прошлого. Из Савла он не стал Павлом. Он Павел Савлович и издает „Звериное тепло“»[159]. Эренбург оценил иронию и смирился с прозвищем.

Статьи Эренбурга 1921 года были актом мужества и верности. И когда наконец, в ноябре того же года, он прибыл в Берлин, благодаря, между прочим, А. Ященко, он уже стяжал себе скандальную славу и обеспечил неприязнь эмигрантской колонии. Были у него в Берлине и личные враги. Новый год русские традиционно отмечали в ресторане «Вилли». Бокалы были полны, поднимались тосты за литературу, за мудрость, за свободу. «Против насилия!» — возгласил философ Лев Шестов, автор сочинения «Что такое русский большевизм?». Пояснений не требовалось: разумеется, речь шла о большевиках. Среди присутствующих наступило взволнованное молчание, все торжественно осушили бокалы. Эренбург был одним из тех немногих, кто остался в стороне и не участвовал в праздновании[160].

Дискуссия о том, где развивается настоящая русская литература и каковы возможности ее объединения, предвосхищала сближение, начавшееся в период нэпа[161]. После того как на X съезде партии в марте 1921 года большевики провозгласили переход к Новой экономической политике, коммунистическая Россия стала постепенно открываться для остального мира, в том числе для «капиталистического окружения». Возрождаются частные издательства, налаживаются связи с русскими издателями за границей, принимаются их книги для распространения в России. Открытие границ наряду с советским бумажным дефицитом играет на руку издателям-эмигрантам. В 1922 году в Берлине работают семнадцать русских

издательств, выходят три ежедневные русскоязычные газеты и пять еженедельников, а русских книг печатается больше, чем немецких. Все чаще писатели Москвы и Петрограда приезжают в Берлин; Есенин прилетает туда на самолете! Вместе с Айседорой Дункан! По инициативе Ященко в берлинском кафе открывается литературный клуб «Дом искусств» (по примеру петроградского): за его столиками собираются сторонники единства русскоязычной литературы, которые радостно принимают гостей «оттуда», т. е. из советской России. Можно подумать, что Эренбург выиграл сражение. Однако вскоре оказалось, что партия только отложена.

Эренбург прибыл в Берлин с тремя рукописями: уже упомянутым романом «Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников», книга эссе по искусству «А все-таки она вертится», сборником рассказов «Неправдоподобные истории». Для придания себе большего веса прихватил и две антологии: «Портреты русских поэтов» и «Антология поэзии революционной Москвы». Первые две книги были настоящими литературными манифестами. Будут ли они поняты?

«А все-таки она вертится» — книга, в которой Эренбург развивает тему своей первой статьи о конструктивизме и снабжает ее новым тезисом: русский авангард составляет часть современного европейского искусства, это мост, который революционная Россия перебрасывает в будущее, в XX век. Одержимый этой идеей, Эренбург вместе с супрематистом, учеником Малевича Эль Лисицким приступает к изданию в Берлине журнала «Вещь». Журнал задуман в международном масштабе, на трех языках: русском, немецком и французском (Вещь-Objet-Gegenstand), и участвуют в нем французские и немецкие дадаисты и конструктивисты (в их числе Ле Корбюзье, Глез, Архипенко, Леже). Проект метит высоко, и заранее можно было догадаться, что он будет восприниматься эмигрантами как «большевистская вылазка». Что же касается книги «А все-таки она вертится», то Иван Пуни, один из вождей русского авангарда, разнес ее в пух и прах, без труда доказав, что в голове у Эренбурга царит сумбур, а в вопросах искусства он проявляет полное невежество. Приговор Пуни категоричен: «Вообще серьезно говорить об этой книге не приходится»[162].

Наконец в мае 1922 года выходит в свет «Хулио Хуренито». Эренбург счастлив, он гордится своим детищем. Он пишет Марии Шкапской: «Хуренито мне дорог потому, что никто (даже я сам) не знает, где кончается его улыбка и начинается пафос. Об этом пишут, спорят и пр. Одни — сатира, другие — философия etc.

<…> Популярность неважна (хотя и мне было приятно узнать, что при всей остроте и актуальности он очень понравился и Ленину, и Гессену). Занимательность — находка. Это европейская проза»[163].

Но разочарование не заставляет себя ждать. Уже через несколько дней он пишет той же Шкапской: «Мне обидно, что здесь бойкотируют „Хуренито“, всячески замалчивают»[164].

Русский еврей или европеец?

Что же случилось? Отчего такая неудача? Эренбург не только спровоцировал вражду белоэмигрантских литературных кругов, но и настроил против себя «розовых». Речь идет о движении Смена вех. Сменовеховцы признавали законность нового строя и большевистского правительства. Они полагали, что, сумев отстоять территориальную целостность России, большевики доказали, что они и есть сильная власть, а переходя же к Новой экономической политике, они отказались и от коммунистических догм. «Эмигрантам пора возвращаться домой», — призывает Алексей Толстой, главный редактор литературного приложения к журналу «Накануне» (накануне возвращения на родину), трибуны сменовеховцев. Кремль одобряет эти благие намерения: «Накануне» получает из Москвы финансовую поддержку, а самым «народным» и патриотически настроенным писателям внутри России предоставляется свобода высказываний. Корней Чуковский, из Петрограда, заверяет Алексея Толстого, что при коммунистах возрождается «мужицкая Россия»; ему вторят Есенин и Пильняк. Их приезд в Берлин в феврале 1922 года кладет начало частым поездкам советских писателей в Берлин.

Эренбург уже давно перестал оплакивать «Христову Россию». После того что он увидел во время революции, он готов признать большевиков единственной силой, способной обуздать анархию, справиться с разрушительной мощью темных народных масс и объединить бескрайние российские земли. Однако в основе его убеждений и доверия к большевикам лежала надежда на то, что они сумеют спасти великую страну, «сбившуюся с пути», преодолеть пропасть, разверзшуюся между Россией, «покрывающей полмира», и Европой. «Возвращение к истокам», о котором говорили его собратья по литературе, все эти «мужики» и «тараканы», символы кондовой России, внушают ему глубокое отвращение. Эренбург спорит в печати с Алексеем Толстым по поводу «крестьянской» поэзии Есенина; его раздражает Борис Пильняк: «…он мне очень не понравился. Вел себя во всех отношениях неблагородно, каялся и пр. Напоминал сильно Алексея Спиридоновича»[165], этого «настоящего русского» из «Хулио Хуренито». Среди современных писателей наиболее близки Эренбургу новаторы из петроградского объединения «Серапионовы братья»: «Я их всех заглазно очень люблю, в особенности тех, которые не живописуют истинно русскую деревню и не знаются с Пильняком»[166]. «Серапионово братство» возникло в Петрограде в 1921 году. Все участники этой группы

были поразительно талантливы и в большинстве своем моложе Эренбурга. Они провозглашали отказ от идеологии и политики, заявляя, что единственная их цель — порвать со скучной дидактичностью русской прозы и отразить дух новой эпохи методом «нереалистического реализма» и захватывающей интриги. Творчество некоторых из них, Всеволода Иванова или Михаила Зощенко, было глубоко укоренено в русской действительности, отражало современный быт и нравы. Другие — Лев Лунц, Евгений Замятин, Виктор Шкловский — ориентировались на западную литературу и смело ставили рядом Александра Дюма и Льва Толстого, Э.Т.А. Гофмана и Достоевского. Эренбург искренне восхищался Евгением Замятиным, «учителем» «Серапионов»: «…я его ценю как прозаика (лучше Пильняка много. Единственный европеец!)»[167]. К созданию истинно «европейской прозы» стремится и сам Эренбург, понимая, что вряд ли на этом пути у него отыщется много единомышленников. В письмах в Москву к Марии Шкапской он жалуется на окружающую его в Берлине враждебность. Конечно, он понимает, что здесь играют роль и политические разногласия, и кружковые предрассудки, но только ли это? «Официально отношения хорошие. Внутри, с их стороны, неприязнь. Причины? Первая и главная та же, что у Дома Литераторов. Далее отмеченное Вами мое умение резкостью отчуждать. Еще „Хуренито“, „А все-таки“, „Вещь“ и пр. чужое, непонятное. Думаю, что считают лицемером и подлецом. Я к ним отношусь хорошо (никогда не строю моего отношения на отношении ко мне). Но от злобы устал — старость»[168].

И все-таки он еще не знал, что такое настоящая злоба.

Неприязнь, которую он возбуждал повсюду, носила прямо-таки утробный характер. Вызов этот Эренбург принимает, и его автобиография, написанная в 1922 году для «Русской книги», начинается так: «Родился в 1891. Иудей»[169]. Он сознательно употребляет именно библейское «иудей» вместо обычного «еврей». В чем же этот вызов? По словам Соколова-Микитова, проживающего в берлинской эмиграции, «западническое» направление, давно устарело: «И не случайно, что все „западники“ — исключительно евреи»[170]. Мы уже упоминали статью Волошина, в которой поэт отказывал евреям в праве писать о России, — это был залп по стихам Эренбурга. Но разница культур проявляет себя даже на уровне стиля. Лев Лунц, приехавший в Берлин в 1922 году, рассказывал Максиму Горькому: «Мне говорят: „Не может еврей быть русским писателем…“ Говорят вот по какому поводу… Я не хочу писать так же, как пишут девять десятых русских беллетристов… Я не

хочу густого, областного языка, мелочного быта, нудной игры словами, пусть цветочной, пусть красивой. Я люблю большую идею и большой, *увлекающий* сюжет… Но кругом говорят, что я не русский… что я люблю сюжет, пот. что я не русский»[171]. На него нападают, считает Лунц, потому, что он «западник и романтик» В том же духе, даже более откровенно, говорит Шкловский и об Эренбурге: «У Эренбурга есть своя ирония, рассказы и романы его не для елизаветинского шрифта»[172]. Европейская проза, построенная на «занимательности», на «интриге» (два любимых термина формалистов), западничество, отказ от «русского» («Почему же ты не присылаешь мне своих новых стихов? Я люблю в них свое, то, чего нет в русских стихах, где „славянских дев как сукровица кровь“»[173]) — все это, очевидно, ассоциировалось с еврейской иронией, «отстранением», скепсисом. «Мы евреи. Мы глотнули парижского неба. Мы поэты. Мы умеем насмехаться»[174]. Но если на роль выразителя «еврейского духа» Эренбург был согласен, то он совершенно не собирался мириться с попытками некоторых соотечественников отлучить его от русской культуры. Неисправимый провокатор, он предпосылает своей новой книге «Шесть повестей о легких концах» эпиграф из Овидия: «Haec est in poenam terra reperta meam» («Это земля, которую я открыл страданием моим»).

Эренбург — к психиатру!

Только этой животной ненавистью можно, вероятно, объяснить скандал, разразившийся вокруг Эренбурга осенью 1922 года. Все началось с публикации в литературном приложении к журналу «Накануне» статьи известного в эмиграции критика, киевлянина Ильи Василевского, писавшего под псевдонимом «Не-Буква». Статья была озаглавлена «Тартарен из Таганрога. О двенадцати новых книгах Ильи Эренбурга». Не-Буква выставлял Эренбурга идеологом из кафе и антисемитом, обвинял его в саморекламе, мании величия, порнографии и плагиате, а под конец и просто-напросто в психическом заболевании: «Что если здесь срочно нужен психиатр, а вовсе не литературный обозреватель? Что если здесь, между нами, на Kurfurstendamm бродит душевнобольной, и гримасничает, и хихикает, и забрасывает нас этими своими разнокалиберными, разноликими книгами?»[175] Берлинская эмиграция возмутилась, подобные приемы литературной борьбы были доныне ей чужды. Собравшийся в «Доме искусств» «суд чести» решил исключить из товарищества Василевского-Не-Букву и литературного редактора «Накануне» Алексея Толстого. Честь Эренбурга была спасена, но душа страдала. Он пишет Полонской: «Еще меня все здесь ужасно обижают. Скажи, почему множество людей меня так ненавидит? А я ко всему стал внешне очень мягким и даже вежливым (честное слово!). Самое интересное — это ненависть Толстого. В „Накануне“ была статья Василевского <…> — предлагает бить „такого Илюшу“ костью от окорока. Белый и Ходасевич тоже злятся. <…> Меня здесь страшно травят (такая полоса) со всех сторон <…> Т. к. я устал и нервничал вообще, то как-то реагирую внутренне на это. Знаю — не нужно»[176].

И словно ему мало этих неприятностей, Александр Ященко отводит творчеству Эренбурга длинный пассаж в своем обзоре пяти последних лет русской литературы. Начинается как будто во здравие: «Эренбург — писатель первого ранга», современный, оригинальный, интересный и т. п. Однако похвала быстро сменяется хулой: поэтические кумиры Эренбурга (Маяковский, Цветаева, Пастернак), его эстетические вкусы, симпатия к авангардизму и, наконец, его «пессимистическое и ядовитое отношение к жизни», «отрицание ради отрицания», «нигилизм», столь явные в «Хулио Хуренито», — все это нездоровые настроения, противоречащие духу, которым должна вдохновляться русская литература[177]. Нельзя было яснее выразить суть разногласий двух сотрудников. Эренбург подавлен,

он на грани депрессии: «Откровенно говоря, я сильно одинок. Т. е. ни „соратников“, ни друзей, ни прочих, смягчающих вину (жизни) обстоятельств. Мне бы надо было б одно из двух: или иметь много (по-иудейски весь стол) детей, сыновей, или быть коммивояжером в Африке. Получилось третье и худшее. Прости, что жалуюсь. Я сильно устал»[178].

«Третье и худшее» — превратиться в эмигранта, стать, как все прочие.

«Эрзац» как образ жизни

Эренбургу только что перевалило за тридцать, у него больное сердце, он — развалина. Время от времени он возобновляет попытки прорваться во Францию, но ему неизменно отказывают в виде на жительство. Он мечтает уехать куда-нибудь на юг, хоть ненадолго, например в Италию. Нельзя сказать, что он ненавидит Берлин. Он знает толк в городах, умеет разгадать их душу, выпытать секреты, войти с ними в тайный сговор. Так было даже с Берлином — с городом, который Эренбург считал на редкость безобразным, но который напоминал ему собственную судьбу и судьбу всех тех, кому не удалось вырваться из водоворота войны и революции, осесть на одном месте, вернуться в нормальный быт. Париж и нэпмановская Москва благополучно позабыли о войне, жизнь там наладилась, вошла в мирное русло. Но не в Берлине. «В Берлине все эрзац»[179]. Берлин походил на огромную перевалочную станцию, где толклись беженцы со всей Европы, не зная, как и зачем они здесь оказались. «В Европе только один современный город — это Берлин»[180]. Эренбург и все его поколение, для которого главным стал «пафос потери»[181], живут в ритме этого города. Вот каким увидел его Виктор Шкловский: «Илья Эренбург ходит по улицам Берлина, как ходил по Парижу и прочим городам, где есть эмигранты, согнувшись, как будто ищет на земле то, что потерял.

Впрочем, это неверное сравнение — не согнуто тело в пояснице, а только нагнута голова и скруглена спина. Серое пальто, кожаное кепи. Голова совсем молодая. У него три профессии: 1) курить трубку, 2) быть скептиком, сидеть в кафе и издавать „Вещь“, 3) писать „Хулио Хуренито“.

Последнее по времени „Хулио Хуренито“ называется „Трест Д.Е.“»[182]

Едва распаковав вещи, Эренбург отправляется в город блуждать по улицам, чтобы отыскать кафе, где можно было бы проводить день и писать. К его обычной трубке (кстати, он только что опубликовал сборник рассказов «Тринадцать трубок») добавляется еще один атрибут: пишущая машинка, вещь совершенно необходимая, так как почерк у него необычайно скверный. Он неоригинален — выбирает кафе «Прагердиле», место сбора всей русской колонии. Марина Цветаева вспоминает: «Стол Эренбурга, обрастающий знакомыми и незнакомыми. Оживление издателей, окрыление писателей. Обмен гонорарами и рукописями. (Страх, что и то, и другое скоро падет в цене.)»[183]. В кафе его гонит не холод, как в Париже, а жажда

общения, движения, новых неожиданных знакомств… впрочем, особых надежд на появление «Хулио Хуренито» Эренбург не питает. Может быть, его пугает однообразие и монотонность семейной жизни, страх, который преследует его с юных лет. Люба изо всех сил старается наладить быт: приглашает в их номер друзей-художников, терпеливо сносит его капризы и измены, даже, чтобы не остаться в долгу, подражает ему. Когда Эренбург увлекся женой своего издателя Верой Вишняк, Люба тут же завела роман с Абрамом Вишняком. Это приключение длится недолго и заканчивается благополучно воссоединением обеих пар. «Наша собачья правда не предавать. Поэтому от почему там, где могло быть сто путей, один путь»[184], — пишет он Марине Цветаевой в ответ на ее собственную исповедь. Дружба с Вишняками и с Лидиными (Владимир Лидин — московский писатель и издатель) выдержала испытание временем. Позже Вишняки переедут в Париж, и в 1940 году, в начале немецкой оккупации, их дом станет одним из немногих, где Эренбурги смогут найти приют. Были и другие дружбы, патетические и невозможные — с Пастернаком, с Цветаевой. С обоими Эренбург был знаком уже давно, они были свидетелями его метаний и его ненависти к большевикам. Но их мир так и останется чуждым Эренбургу. Для него Пастернак «не виртуоз, но вдохновенный слепец, даже не сознающий, что он делает. Может быть, я особенно люблю его мир, как противостоящий мне и явно недоступный»[185]. Но пока он сочиняет стихи, значит, до 1924 года, он считает себя «робким учеником»[186] Пастернака.

С Мариной Цветаевой отношения были более земными и человечными. Когда в 1921 году Эренбург уезжал из советской России, Цветаева попросила, чтобы он разыскал за границей ее мужа, Сергея Эфрона, бывшего белого офицера, покинувшего страну вместе с Добровольческой армией. Эренбург выполнил эту очень непростую миссию. Перед отъездом из России Цветаева написала цикл из 11 стихотворений «Сугробы», прощание с Москвой, посвятив его Эренбургу. В мае 1922 года Цветаева с дочерью Ариадной приехала из Москвы в Берлин. Прямо с вокзала они отправились в пансион «Прагердиле». Эренбурги уступили им одну комнату в своем номере, помогли осмотреться в незнакомом городе. Эренбург познакомил Цветаеву с Абрамом Вишняком (хозяином издательства «Геликон»), Романом Гулем, Ремизовым, заботился о ее публикациях, обеспечивал переводами. Ариадна, которой было тогда десять лет, так писала о нем в своих детских дневниках: «Эренбург похож на ежа. А из верхнего и нижнего кармана по любимой черной гладкой трубке. А Любовь Михайловна полная противоположность. Чистая,

стройная, с совершенно белым цветом кожи, в белом платье с косыночкой. Похожа на луну по белизне. А Илья Григорьевич как серый тучистый день. Но такие глаза, как у собаки. Эренбург, как царь, курит из своих двух любимых трубок. Мама и Любовь Михайловна курят папиросы»[187].

Эренбурга и Цветаеву связывало общее для обоих «священное нет», в эмигрантской среде оба чувствовали себя изгоями, оба держались в стороне от литературных группировок. Он и сам мог бы сказать о себе словами Марины: «В эмиграции меня сначала (сгоряча!) печатают, потом, опомнившись, изымают из обращения, почуяв не свое: тамошнее. Содержание как будто „наше“, а голос — „ихний“»[188]. Эренбург не мог не гордиться надписью, которую она сделала на подаренной ему книге стихов «Разлука» (книга вышла в издательстве «Геликон» благодаря стараниям Эренбурга как раз накануне ее приезда в Берлин): «Вам, чья дружба мне дороже любой вражды, и чья вражда мне дороже любой дружбы»[189]. Однако через некоторое время наступает охлаждение. Цветаева, по ее словам, «раздружилась» с Эренбургом, хотя и сохранила к нему благодарность. Причиной послужили отношения, сложившиеся внутри любовного треугольника, вернее, «четырехугольника», в июле 1922 года. У Эренбурга начинается бурный роман с женой Абрама Вишняка Верой, он уезжает с ней на побережье. Цветаева, сама безответно влюбленная в Геликона, вынуждена выслушивать бесконечные жалобы обманутого мужа на «обидчика». От Вишняка она узнает, что Эренбург предлагает тому издать свой цикл стихов «Звериное тепло», написанный по следам романа с Верой. Тут уж Эренбургу достается! «…Продавать книгу стихов, написанных к чужой жене — ее мужу, который тебя и которого ты ненавидишь — низость!»[190] Скоро любовные бури утряслись, чувство благодарности победило, и, уезжая на родину в 1939 году, Цветаева заботливо переписала в тетрадь, которую назвала «Письма друзей», теплые «опекунские» письма Илья Григорьевича к ней. Да и ее дочь, не знавшая обо всех этих перипетиях, до самой его смерти поддерживала с Эренбургом дружеские отношения. Цветаева была одним из тех немногих людей, кому удалось пробиться сквозь воздвигнутую им самим вокруг себя броню и высвободить мощную энергию человеческого тепла, которое он сам назвал «звериным». Другим таким человеком была его дочь Ирина, живущая в Москве с матерью и отчимом Тихоном Сорокиным. Семья едва сводила концы с концами, и Эренбург позаботился о том, чтобы они получали авторские гонорары с российских изданий его книг. В письмах к Марии Шкапской он справляется о здоровье Ирины, о ее настроении, просит навестить

семью, передать подарки. Ирина Ильинична прочтет эти письма только после смерти отца, и только тогда ей откроется вся сила его любви, о которой она и не подозревала.

В 1922 году Эренбург закончил две книги — «Тринадцать трубок» и «Жизнь и гибель Николая Курбова», а также подготовил поэтический сборник «Опустошающая любовь». В следующем году он заканчивает «Трест Д.Е. История гибели Европы» и книгу стихов «Звериное тепло». Он работает все время, не давая себе передышки — в кафе, дома, на отдыхе. Он собирает обильные дивиденды с успеха, которые принес ему «Хулио Хуренито»: роман только что вышел в Москве с предисловием Бухарина, Ленину понравилось, как он изображен, нарком просвещения Луначарский выделил Эренбурга среди других писателей-эмигрантов: «Его последние книги, появляющиеся за границей <…> стоят выше всей русской эмигрантской литературы и занимают важное место в русской литературе наших дней», и посоветовал ему попробовать себя в драматургии[191]. В конце концов Эренбург добился признания и у тех, чье мнение было для него самым важным, — у «Серапионовых братьев». Оценка, которую дал роману Замятин, превзошла все ожидания: «Эренбург, быть может, самый современный из всех русских писателей и здешних, и тамошних: он так живо ощущает пришествие Интернационала, что уже сделал себя не русским, а всеевропейским писателем, писателем-эсперантистом»[192].

И все же тот бешеный темп, который он себе навязал, не всегда благотворен. Критики и друзья все чаще упрекают его в халтуре. Конечно, он мог бы утешиться комплиментом «формалиста» Шкловского: «В нем (Эренбурге) хорошо то, что он не продолжает традиций великой русской литературы и предпочитает писать „плохие вещи“»[193]. Но такой комплимент слабоват. Ведь каждый раз, приступая к новой книге, он надеется создать нечто великое. Так было и с романом «Жизнь и гибель Николая Курбова»: «Я завидаю перед трудностью работы романа. Ответств<енность> темы, сложность сюжета, ритм меня доконают. Это самое трудное из всего, что я делал в моей жизни… Замысел отважен: гибель неотвратимая, т. е. трагедия сильного „конструктивного“ человека. Вот эту книгу я писал с великим трудом. Правда, я почти заболел от нее»[194].

Стоит ли оплакивать чекистов?

Итак, работа над романом о Курбове проходит под знаком «ответственности». Николай Курбов — один из первых чекистов в русской литературе[195]. Он родился еще до революции и люто ненавидит царский режим, при котором вырос. Он мечтает о новом идеальном обществе (схема этой «мечты» заимствована у Брюсова, который, став в 1920 году «ответственным за литературу» в Наркомпросе, изображал эту последнюю в виде геометрических фигур — треугольников, ромбов, квадратов). Сразу же после революции Курбов соглашается занять крупный пост в ВЧК. На этом посту ему, человеку «кристально честному», но не забывшему прошлых унижений, приходится подписывать, вместе с двумя своими коллегами-садистами, расстрельные списки. В это время коварный шпион, засланный Антантой (его прототипом стал старинный знакомый автора по Монпарнасу Борис Савинков собственной персоной, мрачный и загадочный), завербовывает молоденькую девушку (круглую сироту!), которая хочет отомстить за жертвы красного террора и за поруганного Христа и соглашается убить Курбова. Однако достаточно того, чтобы они встретились, Он и Она, и обоюдная ненависть превращается в мистическую любовь. Но, увы, не только Любовь поймала в свои сети Курбова: еще более страшную западню ему расставила История. Роковым вечером он узнает, что Партия перешла с позиций военного коммунизма к новой экономической политике. Для Курбова это возврат к старому, крах его идеалов…

Несгибаемый фанатик, неспособный ни на компромисс, ни на сострадание, Курбов воплощает мечту Хулио Хуренито, предрекшего скорое появление людей, которые «не станут украшать палки фиалочками». Впрочем, тут есть существенное отличие: вместо вечного стило, которым вооружен Великий Провокатор, Курбов вынимает из кобуры самый настоящий пистолет и кончает с собой. До сих пор Эренбург, в отличие от Максима Горького или Алексея Толстого, считался писателем аполитичным, чуждавшимся идеологической пропаганды. С «Николаем Курбовым» он переступает эту черту.

В этой гротескной книге есть еще одна загадка. Почему Эренбург вдруг вспомнил о Борисе Савинкове? После падения Временного правительства в 1917 году Савинков, легендарный террорист и эсер, остался на какое-то время в России, где создал Союз защиты родины и свободы. Эта подпольная организация, получавшая финансирование из Парижа, ставила себе целью поднять восстание против большевиков. Проводя операцию

против московской ячейки Союза в 1918 году, ЧК пустила в ход полный набор своих излюбленных приемов: вереница переодетых белых офицеров, сестры милосердия, чекисты… неудивительно, что Эренбург включил этот фантастический маскарад в свой роман. Савинков — человек не только загадочный, но и опасный; в Париже он будет утверждать, что планировал покушение на Ленина. Пока он метался между Польшей и Парижем, чекисты не выпускали его из поля зрения, и в конце концов, в 1924 году, его удалось заманить в ловушку. Операцию «Трест» против Савинкова возглавлял заместитель начальника ЧК Вячеслав Менжинский, с которым мы уже познакомились — в 1921 году, когда он беседовал с Эренбургом о литературе и о монпарнасской богеме… Кто знает, не всплыло ли в том разговоре и имя их общего знакомого Бориса Савинкова? Если это так, «заграничная командировка» Эренбурга, подписанная Менжинским, нашла бы свое объяснение.

Сделав двух кровавых палачей и кристально честного Курбова крупными чекистами, Эренбург совершенно смешал карты. Он, разумеется, ожидал, что эмигрантская критика запишет его в апологеты красного террора; но то, что и в Москве роман будет принят в штыки (в Москве его опубликовали только в журнальном варианте), привело его в полное смятение. Он пишет Марии Шкапской: «Судьба Курбова мне непонятна. Я никак этого не ждал. Очевидно, отвык от климатических условий. Напишите мне, пожалуйста, подробно, что говорят о нем как в литературных, так и в нелитературных кругах»[196].

Очевидно, у Эренбурга были причины ожидать, наоборот, что его книга будет в Москве одобрена. В конце концов важно не то, плох или хорош Курбов: каждый волен судить его по-своему. Существенно другое: людям такого склада, как он, правдолюбцам, карающих врагов суровым «пролетарским мечом», в новом русском нормальном обществе больше места нет. Конец Курбова — не простое самоубийство: вместе с ним кончается эпоха революционного пролетарского правосудия. Это и произошло 6 февраля 1922 года. ВЧК была упразднена и ей на смену пришло ГПУ — Государственное политическое управление. Советское государство, говоря словами Хулио Хуренито, начинает все больше походить на прочие страны — «государство как государство». Большевики не против того, чтобы представить новое Управление в лучшем свете, тем более, что первое крупное предприятие — арест и суд эсеров — вызвало у западных социалистов взрыв негодования. В апреле 1922 года, значит, до того, как Эренбург стал писать свой роман, Бухарин приехал в Берлин на встречу представителей трех Интернационалов; в его

задачи входило, кроме всего прочего, успокоить западных товарищей, озабоченных судьбой арестованных эсеров. Можно не сомневаться, что Бухарин нашел время для встречи со своим старым другом Эренбургом и что в своих беседах они касались самых злободневных тем. И разве не мог Бухарин, вспоминая шумный успех романа «Хулио Хуренито» как в Москве, так и среди эмигрантов, попросить Эренбурга помочь в важном деле — дать новый образ карательных органов? Вот откуда и «ответственность темы»! Так, задолго до того как Сталин сделал литераторов особой кастой на службе у государства, Эренбург осознал, что он, будучи писателем, может стать творцом новой истории, точно как и его старые друзья по революционному подполью, ныне стоящие у власти. Не случайно в его романе появляется троица — Ленин, Бухарин, Троцкий (в виде «геометрических фигур»). Неважно, нравились они ему или нет (наиболее симпатичен ему был Бухарин, наименее — Троцкий); главным было другое — сесть с ними за воображаемый рабочий стол и обсуждать будущее России. Стало быть, именно здесь в жизни Эренбурга происходит решительный поворот, определивший весь его дальнейший путь. Романом «Жизнь и гибель Николая Курбова» он сделал свой выбор, и это оказалось намного важнее всех метаний и сомнений, всех его пресловутых поворотов, которых у него было немало в прошлом, да и в будущем их будет предостаточно.

«И все-таки Эренбург вертится»[197]

В 1923 году разразился в Германии экономический кризис — резко упала марка. «Русский Берлин» доживает последние дни. «Спасайте!» — пишет Эренбург в Москву своему другу Владимиру Лидину, умоляя найти издателя. «Положение здесь отчаянное. Все издательства здесь закрылись. Живу в долг, но и эта возможность кончается… обед у Ферстера стоит 35 миллионов, и с непривычки мы здесь все потеряли голову»[198]. Выжить теперь он может только благодаря поступлениям из России. Однако трудности все накапливаются. Советские издатели, не связанные международными соглашениями об авторском праве, не прочь печатать книги без разрешения и отказываются выплачивать гонорары. Другие, напротив, отличаются излишней осторожностью, можно сказать, бдительностью. В Петрограде запрещен «Хулио Хуренито». «Шесть повестей о легких концах» постигла та же участь. В апреле 1923 года издатель Александр Воронский, печатавший «попутчиков», отклоняет «Трест Д.Е.» «по политическим причинам»[199].

Кризис и политические страсти набирают силу, «русский Берлин» пустеет. Некоторые писатели, в их числе Алексей Толстой и Борис Пастернак, возвращаются в Россию. Другие разъезжаются кто куда: во Францию, Италию, Чехословакию. Но для Эренбурга Париж по-прежнему закрыт. И тут как раз советское Общество Красного Креста предлагает ему турне с лекциями в обеих столицах — Петрограде и Москве, а также по некоторым городам Украины. Люба, как обычно, едет с ним. Второй раз Эренбурги возвращаются из эмиграции.

«Нас всех подстерегает случай», писал Александр Блок. Приезд Эренбурга в Москву был случайным, но он роковым образом совпал с трагическим числом: 21 января умер Ленин. «Я не мог оставаться дома. <…> Я пошел к Николаю Ивановичу, моему другу по нелегальной школьной организации»[200]. Бухарин сидел на кровати и плакал. Нельзя было немедленно не отозваться. Буквально за несколько часов Эренбург пишет статью для специального выпуска, озаглавленного просто «Ленин» — единственный номер газеты должен был выйти в день похорон. Из писателей, живших за границей, кроме Эренбурга, только один участвует в этом предприятии — Максим Горький, старинный друг Ильича.

«Он знал. Мы не знали» — таков лейтмотив этой статьи. «Мы» — парижская эмиграция, перебежчики, покинувшие партию. «Он» — Владимир Ильич Ленин. В то время как они («мы»)

посмеивались над его прямолинейностью и аскетизмом, им («нам») было невдомек, что «вне его работы нет нам ни роста, ни жизни. Пусть дом не отстроен. Пусть в нем очень трудно и очень холодно. Но ведь стены его растут. А там, где целы все дома <…> в городе сизых домов? Там нам нет места. Маленькая буря в стакане воды кончилась. <…> Отчаяние великой европейской ночи — он знал и это. Он был однодумом, он думал об одном для того, чтобы другие, счастливые, могли думать о многом…»[201] Монолог, стоящий гамлетовского. «Быть!» — решает Эренбург: быть отныне и навсегда — пусть это решение и запоздало — на стороне Ленина. Имеющий уши да слышит: три месяца спустя Иосиф Сталин, генеральный секретарь Политбюро, борющийся с Троцким и Бухариным за «ленинское наследие», процитирует Эренбурга в подтверждение своих тезисов. В курсе лекций «Вопросы ленинизма», прочитанном в Университете красной профессуры имени Свердлова, который скоро станет настольной книгой каждого коммуниста, он упоминает рассказ Эренбурга «Ускомчел» («Усовершенствованный коммунистический человек») [202], в свое время запрещенный цензурой. Сталин использует этот рассказ, чтобы высмеять мнимых «большевиков», пытавшихся сделать из советской России бюрократическую утопию, и чтобы противопоставить им настоящих ленинцев, которые никогда не отрывались от реальной жизни.

В Петрограде, после смерти Ильича переименованном в Ленинград, Эренбургу предстояло испытать совсем другие волнения. Если и было место в России, где могли по достоинству оценить его «европеизм», то это был Дом искусств, где собирались «Серапионовы братья» и их друзья — теоретики формализма. В 1924 году писатели-Серапионы в расцвете своего таланта. Ставка велика. Первый авторский вечер Эренбурга с чтением фрагментов «Хулио Хуренито» проходит с успехом. На следующем вечере он представляет свой новый роман «Любовь Жанны Ней». «Народу было невероятно много: Ахматова, Пунин, Шкловский, Каверин, Федин, Тихонов, Слонимский, А. Смирнов, Форш, все обычно бывающее, студенты и так далее. Эренбурга обстреливали, но он очень умно отвечал»[203], — отмечал Борис Эйхенбаум. Однако первые восторги быстро улеглись: оценка, данная его книгам в самом престижном петроградском литературном журнале «Русский современник» (кстати, в том же году власти его закроют), была просто убийственной. Она сводилась к тому, что Эренбург, строящий из себя настоящего парижанина и авантюриста, безнадежно банален и провинциален[204]. Самый молодой из «Серапионов», Вениамин Каверин прозвал Эренбурга «Вербицкая в брюках» (Вербицкая —

писательница начала века, сочинявшая чувствительные романы для девиц). После отъезда Эренбурга Юрий Тынянов в письме Льву Лунцу съязвит: «Вы были человеком культуры и Запада — два запрещенных у нас после Ильи Эренбурга слова»[205].

Но Петроград — это еще не вся Россия. Две недели он колесит по стране, выступая перед жадными до впечатлений людьми. Киев, Харьков, Одесса… Он увидел то, чего никогда не узнает эмигрант. Его буквально захлестнул бурный поток эмоций — ничего подобного он не встречал нигде в Европе. Он отбрасывает всякий рационализм, который на Западе защищал его от этой стихии. Что же такое Россия нэпа — встреча социализма с капитализмом, старого с новым? И что же такое это «новое»? Новые — молоденькие студенты, невежественные и нахальные, всемогущие паразиты-бюрократы, запуганные профессора, побирушки-беспризорники, изречения «из Маркса» в вокзальных буфетах: «Кто не трудится, тот пусть и не ест»[206]. Нет, «новое» — это свобода, точнее, анархия, взрыв которой потряс страну и предвещает невиданные прежде формы общественного устройства; «новое» — в жажде жизни, почти невероятной после стольких лет голода и войны. Эренбурга захватила эта новая Россия, с разбойничьей улыбкой, смекалистая, строптивая, расторопная. Да, он любит эту Россию, хотя понимает, что она не замедлит его безжалостно растоптать, если вдруг по неосторожности он лишится своего статуса «гостя», приезжего из-за границы. У него нет предвзятых оценок, он наблюдает, спорит, отвечает на любые, самые нелепые вопросы аудитории, благодушно реагирует на промахи и неудачи местных чиновников, в нем берет верх то оглядка, то жадное любопытство.

Плодом этой поездки по России стал роман «Рвач», столь же запутанный, бессвязный, хаотичный, как и его впечатления. В нем перемешались энтузиазм по отношению к «племени младому, незнакомому» — студенческой молодежи из рабочих университетов, невежественной, но рвущейся к знаниям, поднявшейся из низов и вознамерившейся покорить мир, и отвращение, которое ему внушает «новый человек», рвач, раб низменных инстинктов, типичный обитатель «подзаборной России». «Гримасы НЭПа», как тогда говорилось, шокируют Эренбурга, вынуждают отказаться от идеализма; но, как всегда, его завораживает атмосфера разложения. «Подобно мясу, в душный предгрозовой день разлагается, судя по отчетам газет, живой человек, сначала утрачивая идейность, потом различные гражданские признаки, наконец, начальную человеческую честность, эту третьесортную добродетель…»[207]. «В каждой революции есть грязная накипь», — сказал Ленин о богеме в 1910

году. Михаил Лыков, главный герой «Рвача», — та самая «накипь», что осталась после бури 1917 года. Эренбург признавался: «Я заканчиваю „Рвача“. Это глупый роман. Я люблю героя, хоть он пакостник, сволочь, наклонная к романтике, патетический спекулянтик. Вероятно, патологическая любовь»[208]. Эренбург любит Лыкова, потому что тот — бунтарь, к тому же преисполненный уверенности в себе; он любит его потому, что тот презирает «положительных героев», дисциплину и единодушие коллектива, ищет свою правду и готов идти наперекор всем и вся. Совершенно ясно: «Рвач» — это новый автобиографический роман, но более примитивный и истеричный, чем «Хулио Хуренито». Незрелый, неспособный к самоутверждению, Лыков живет импульсивно: он то жертвенен, то жесток, то великодушен, то мелочно сомнителен. В этом немало достоевщины («трактирного Достоевского», по выражению Е.Г. Лундберга), вот только вместо затхлой провинции «Бесов» вокруг мелкого индивидуалиста Лыкова взрастает «племя младое, незнакомое» нравственно здоровых людей, и будущее, конечно, за ними. Не в силах найти смысл в собственной жизни, Лыков в конце концов признает превосходство комсомольцев. «У меня всегда было чувство, что он все честное в себе считает слабостью, которую любит и себе прощает»[209], — как-то сказала Марина Цветаева.

В конце марта турне Эренбурга по России подошло к концу. Супруги возвращаются в Германию. Стоит ли задаваться вопросом, почему они не остались в России? Жестокая партийная борьба, начавшаяся после смерти Ленина, полностью поглощала его друга Бухарина. Рапповцы, «пролетарские» писатели и критики, органом которых стал журнал «На посту», самая агрессивная и влиятельная группировка, объявляют каждую новую книгу Эренбурга очередным продуктом гнилой буржуазной идеологии и эмигрантщины. Его выступление у «Серапионовых братьев» никак нельзя было счесть триумфом. Однако и отъезд за границу отнюдь не сулил райскую жизнь. Едва вернувшись в Берлин, Эренбург пишет: «Надеюсь, что вскоре удастся куда-либо уехать отсюда — в Италию или в Бельгию (о Париже и не мечтаю). Словом, нахожусь в чисто европейском состоянии — жду виз»[210]. Никаких перемен к лучшему, за вычетом того, что рубль стал твердой валютой, и, судя по всему, надолго. Итак, ему не остается ничего другого, как снова приняться за работу: записать свои впечатления о поездке на Родину и опубликовать все это в России. Но это будет делом нелегким: в новый каталог «по изъятию всех видов литературы из библиотек, читален и книжного рынка», составленный под руководством Надежды

Крупской и заведующего Главлитом П. Лебедева-Полянского, входит не менее шести публикаций Эренбурга[211].

Более чем когда-нибудь он полон решимости оставить Берлин, но для этого нужно или терпеливо ждать, или иметь знакомства. Меж тем он, судя по всему, решил последовать совету Луначарского и взялся за сочинение драмы «Нефть и Любовь», которая не была поставлена. Кроме того, он готовит новый сборник рассказов «Бубновый валет и К°».

В конце концов Эренбурги получают вид на жительство в Италии. Не исключено, что они надеялись остаться там надолго, но фашистские митинги не возбуждают доверия. Возобновляются их попытки добиться французской визы. Наконец победа левого блока на выборах весной 1924 года во Франции делает это возможным — въездные визы у них на руках. Но получить вид на жительство помогают им отнюдь не товарищи из французской компартии, а друзья из масонской ложи «Великого Востока».

Глава V
КЛЕЙМО ЭМИГРАЦИИ

Александр Гельфанд (Парвус):

— Сегодня национализм лишен всякого смысла. Мое пальто — лучшее доказательство интернационального духа нашей эпохи: шерсть взята от ангорских баранов, пряли ее в Англии, ткали в Лодзи. Пуговицы немецкие, нитки австрийские…

Нахман Сыркин:

— А дыра у вас на рукаве от киевских погромов!

Обмен репликами на конференции русско-еврейского научного общества в Берлине, около 1890 г.[212]

Очаровательное небытие

«О чем Вам рассказать? В Париже чудные туалеты? Сами знаете. Моя трубка лишена общего интереса. Жизнь, кажется, тоже. Я старею и сдаю. Это в порядке вещей», — пишет Эренбург в своих первых письмах из Парижа в Россию. «Здесь все то же — то есть фантомы, etrennes (подарки), каштаны и очаровательное небытие»[213].

Неужели это тот самый писатель, который в 1921 году во всеуслышание заявлял, что никогда не унизится до того, чтобы воспевать «щедрое благополучье», «трюфели» и «форды»? Прошло три года, бунтарский дух повыветрился, и если теперь предел его мечтаний — отдыхать в тени каштанов, то это скорее всего потому, что он просто не знает, чем заняться.

Он начинает роман «Рвач», который ему заказал Госиздат. Книга будет закончена в начале 1925 года, но в СССР роман откажутся печатать. Все русские впечатления уже исчерпаны, и писатель занят судорожными поисками темы для новой книги. «История „Ротонды“», «Гид по кафе Европы» («формалисты, — предвидит Эренбург, — за это упрекнут в подражании Полю Морану»[214]), сборник очерков о европейских кафе, единственное прижизненное издание которого выйдет в 1926 году под названием «Условные страдания завсегдатая кафе», роман «Отчаянье Ильи Эренбурга», — целый ворох планов и проектов. Но ни один из них по-настоящему не увлекает и не вдохновляет. В Берлине, где большая русская колония и множество издательств, ему был обеспечен устойчивый доход. В Париже перед ним замаячил призрак нищеты. В феврале 1925 года Эренбурги вынуждены выехать из отеля «Ницца» на Монпарнасе и снять убогую меблирашку на авеню дю Мэн. «Дорогая, сообщаю тебе новый свой адрес: 64, av. du Maine (из старого выгнали, и, как видишь по району, сказывается „запустение Эренбурга“[215], — пишет он Елизавете Полонской. Нет ни темы для книги, ни денег, ни читателей. Не только „слабеет его „святое нет““, но и его „да“, святое или нет, никак не отыщет точку опоры. Выясняется, что во французской литературе царят свои непреложные и непонятные законы успеха и провала, от непонимания которых его охватывает отчаяние и желание бросить все: „Французы пишут хорошую прозу и гадкие стихи. Но кому это нужно? Братья-писатели, зачем мы стараемся? Гонорар… Да, конечно. И нечего мудрить. Все делают красивые плевательницы, потеют люди, чтобы другим было приятно плевать. Велика премудрость господня!“»[216] Теперь Эренбург

вспоминает о Берлине с ностальгией. Это неудивительно: здесь, во Франции, он стал настоящим эмигрантом, вся его жизнь — это семья, эмигрантский круг и новости из советской России. И это при том, что русская колония в Париже, сложившаяся еще в довоенные времена и пополнившаяся за счет прибывших из Германии, многочисленна, образованна, преисполнена сознанием своей исторической миссии: в Париже немало разнообразных просветительских учреждений, издательств, выходят газеты и журналы[217].

Но круг Эренбурга — это молодые поэты и художники, «бездомные, талантливые и растерянные», среди которых Борис Поплавский и Валентин Парнах; поколение «настоящих» эмигрантов принимает их неохотно. Михаил Осоргин пишет: «Непризнанный здесь и отвергнутый там, Эренбург имеет все права считать себя гонимым писателем»[218]. Даже Марина Цветаева, переехавшая в 1925 году в Париж, не торопится возобновить прежнюю дружбу, хотя и ни в чем его не упрекает: «Он чист. У каждого из нас была своя трагедия со старым миром»[219]. Впрочем, своим недоброжелателям Эренбург платит той же монетой: «Шлецер — типичный эмигрант, и я с ним не встречаюсь»[220], — это написано о Борисе Федоровиче Шлецере, талантливом и активном переводчике, литературном критике, авторе книг о Скрябине и Шестове, с 1921 года жившем в Париже. Однако «приспешником Советов» Эренбург был только в глазах эмигрантов — советские писатели и ответственные товарищи вовсе не считают его «своим».

В конце 1924 года Франция официально признала Советский Союз. Первые советские послы в Париже Леонид Красин и Кристиан Раковский (кстати, последний связан с троцкистской оппозицией) прекрасно понимают, что всплеск увлечения французов Россией во многом обязан их интересу к русскому искусству и литературе. В этом же году под председательством Ольги Каменевой в Москве создается Всесоюзное общество культурных связей с заграницей (ВОКС); предполагается, что общество будет стоять вне политики, а его цель — установить контакты с «сочувствующей» творческой интеллигенцией на Западе[221]. Организуются театральные гастроли, выставки, поездки писателей за границу, в Париж нередко наведывается Анатолий Луначарский. В 1925 году на выставке декоративно-прикладного искусства советский павильон, возведенный по проекту Константина Мельникова, имеет колоссальной успех. Однако Эренбург, бывший некогда первым посланником революционного авангарда на Западе, ощущает себя чужим на этом празднике. Тем не менее он появляется на выставке,

знакомится с Александром Родченко, чтобы потом, «с неизменно присущим ему критическим юмором»[222], высмеять среди французских друзей наивный конструктивизм постройки.

Среди знакомых Эренбурга находится Нино Франк, молодой итальянский журналист родом из Неаполя. В 1929 году он станет основателем интернационального журнала «Бифур», в котором увидят свет произведения чуть ли не всех великих поэтов и художников XX века — Макса Жакоба, Жана Кокто, Модильяни, Пикассо. Франк вспоминал впоследствии, как, устроившись в своем уголке в «Куполе», Эренбург «любил выступать в роли полуофициального интеллектуала и обожал потчевать друзей-журналистов своими рассказами» о России, о ее литературе и истории. «Он подтрунивал над моим энтузиазмом по поводу нового мира, открытого Октябрем, снова и снова повторяя, что эпоха героических свершений уже давно миновала»[223]. Возвращаясь во Францию, Эренбург надеялся, что в здешних литературных кругах у него сохранилось определенное реноме: не говоря уже о знакомствах и о его довоенных переводах французской поэзии, не он ли был среди первых, кто познакомил французов с Октябрьской революцией? В 1923 году в Париже был опубликован на французском языке сборник «Сцены русской революции» (Scênes de la Revolution russe), куда вошли рассказы Эренбурга, Пильняка, Ремизова и Никитина. Только что вышел французский перевод «Хулио Хуренито» с предисловием Мак-Орлана, как нельзя более лестным: «Этот молодой человек [Эренбургу 34 года — sic!], изящный и ироничный, образованный на французский манер, хотя и интернационалист по своему мироощущению, написал роман, который скорее по стилю, чем по содержанию, является данью французской литературе, с присущим ей духом свободы и верностью классическим образцам»[224]. Однако Эренбург жалуется на то, что ошибки переводчика полностью исказили смысл романа; надежды, которые он возлагал на эту публикацию, быстро сменились разочарованием.

Отношения с Родиной также оставляют желать лучшего. В Париже его ожидал неприятный сюрприз: оказывается, «весь литературный Ленинград» в последнее время потешается над его книгами. Эренбург совершенно сбит с толку; он пишет Замятину: «Вы ни разу не собрались написать мне в Париж. А я ведь очень ждал Вашего суждения о „Жанне“. Несмотря на плодовитость, тиражность и прочее, я теперь в достаточной мере растерян. „Жанну“ ругают напропалую все. <…> Действительно ли это настолько плохо? Что же, я и вправду только „Вербицкая в штанах“? „Русский Современник“ видимо, думает именно так

(Тынянов <…> Шкловский, Каверин). Так ли думаете Вы? Чувствуете ли, что ошиблись в давней статье обо мне? Или я пропал, слинял? Напишите мне откровенно! Вашему пониманию я очень верю. От универсальности нападок, повторяю, растерялся. Не сердитесь за надоедливость вопросов»[225]. Насмешки тех, кого он считал своими друзьями, глубоко ранят, да и прочие отклики отнюдь не способны воодушевить. Пролетарские писатели из РАППа, присвоившие себе функции Чека от литературы, громогласно требуют не переводить бумагу на «клеветника» Эренбурга. Отношение к нему «внелитературных» (читай: партийных) кругов остается крайне неопределенным. Тираж романов «Любовь Жанны Ней» и «Жизнь и смерть Николая Курбова» не превышает пяти тысяч — до смешного малая цифра для огромной России; «Рвач» по-прежнему запрещен. Журналы, выражающие позицию «внелитературных кругов», например «Новый мир» Луначарского, также беспощадны: «Индивидуализм, упадочничество, кокетничанье самодовлеющей „красотой“ переживания или литературной формы — все то, что хотело бы оскалить зубы, но, за неимением их, ввиду старческого одряхления, ограничивалось высовыванием языка со страниц Ильи Эренбурга, „Русского современника“, „России“, — все это как будто отошло в прошлое»[226]. Язвительная критика «Нового мира» была тем обидней, что, как известно, у Эренбурга действительно не хватало передних зубов. Но Эренбург не сдается. Он снова — в который раз! — обращается за помощью к Николаю Бухарину: «Дорогой Николай Иванович <…> Я знаю, что я далеко не Пушкин, а Вы — далеко не Николай Павлович (не судите за каламбур!). И все же обстоятельства заставляют меня повторять исторические жесты. Вам ли говорить, что Эренбург не эмигрант, не белый, не „пророк нэпа“ и пр. пр. <…> Местожительство не определяет, надеюсь, убеждений. Я работаю для Советской России, живу с ней, не в ней. <…> Вся моя надежда теперь на Вас»[227]. «Рвач» будет опубликован в 1926 году ленинградским Госиздатом.

Модернизм и «иудейский дух»

Все происходящее безмерно угнетает писателя. В 1916 году он спасался от депрессии при помощи наркотиков. В 1925-м он очертя голову бросается в экстравагантную авантюру: «Я почти влюблен в абсолютнейшую дуру <…> в мулатку „Нанда“. Когда она смеется, это лишено смысла, физиологично, больно ушам: зоологический сад наружи»[228], — откровенничает он в письме к Полонской. Эренбург пытается претворить свое отчаяние в литературный сюжет. «Лето 1925-го» — это книга о нищете и одиночестве в Париже, в которой «социальная фантастика» (выражение Мак-Орлана) сочетается с сентиментальностью, то выспренней, то слезливой, не без доли пошлой эротики.

Парижское «очаровательное небытие» превращается в небытие буквальное. Эренбург рискует смелый шаг. Хотя он никогда не был силен в литературной теории, он решает оставить писательство и заняться разработкой «программы нового романтизма». Сборник статей, который он готовит, будет называться «Белый уголь, или Слезы Вертера»; этой книгой Эренбург рассчитывает включиться в дебаты о модернизме, которые волновали в то время литературный мир Франции. К сожалению, сборник увидит свет только в 1928 году.

Мнение Эренбурга сводится, в общем, к следующему: конструктивисты заблуждаются, считая, что индустриальная цивилизация несет смерть искусству. Напротив, эпоха машин и империализма может стать богатым источником вдохновения: «Борьба за нефть или гуттаперчу, мощь консорциумов и петитный трагизм человеческой жизни захватывает нас больше, нежели все выдуманные романы <…> Наша революция, фашизм, малярия восстаний, могущественные организации враждующих классов <…> фантастика техники делает игрушечной любую мифологию»[229] (Статья «Романтизм наших дней»). Никогда не избегавший апокалипсических видений («Кажется, готовится второй „потоп“ — бешенство машин, крестовый поход манекенов»[230]), Эренбург открывает в индустриализации «фантастику техники», присутствие мифа («Романтизм учит человека летать, летать, как летал Икар, что особенно необходимо в наши дни, когда аэропланы снабжаются бадом и ватерклозетом»)[231] и наряду с этим — одиночество современного человека. Однако более, нежели суть «нового романтизма», Эренбурга занимает его охват: речь идет, пишет он, о «мировом тяготении»[232], именно «мировом», хотя Россия остается в стороне от индустриального апокалипсиса. Тем не

менее советская молодежь, выросшая в революционные годы, отвергает «вульгарный натурализм», и если для «фантастики техники» в России пока нет почвы, то «на перекрестках московских улиц можно встретить теперь <…> самого фантастического, единственного из наших писателей, всецело преодолевшего быт <…> великого Гоголя»[233]. Не слишком заботясь о логике своих построений, Эренбург пытается отстаивать тезис о зарождении единого миропонимания среди художников, живущих в разных концах Европы. Один и тот же «дух современности» вдохновляет Арагона и Бабеля, Чаплина и Мейерхольда, Пикассо и Пастернака: «Есть в переходном времени нечто объединяющее вражеские лагери и придающее общий колер двум зорям. <…> Как бы ни был отличен наш советский быт, он рождает столь же романтическое искусство»[234]. Свою миссию Эренбург видит в том, чтобы стать связующим звеном между разлученными братьями по духу, помочь им отыскать друг друга. Роман, к которому Эренбург приступает, «Гид по кафе Европы», предназначен и для западных европейцев, и для русских. Он должен отразить дух романтизма, «воздух, которым дышит сегодня Европа», и обогатить русскую литературу современным стилем: «Поворот первый — романтизм. Это воздух Европы. <…> Поворот второй — стиль. <…> Мы, „западники“, не достигли сплава языков „литературного“ и „газетного“. Над этим бьюсь»[235].

Уже в который раз, отчаянно устремляясь вперед, верный своей любви к авангарду и провокациям, Эренбург вместе с тем все время оглядывается на прошлое, ища в нем подсказку и опору, как будто прошлое защитит его от пустоты. Конечно, Эренбург за модернизм. Однако, разделяя его на два течения — «механическая бодрость американизма» и «тяга на Восток»[236], он не ассоциирует себя ни с одним из них. Согласно Эренбургу, они могут существовать лишь на фоне третьей составляющей, пришедшей из глубины веков, — «распыления иудейского духа»[237]. Понятие «иудейский дух» подразумевает здесь то же самое, что и в романе «Хулио Хуренито». Бунтарский, скептический, в постоянных поисках истины, дух этот в равной степени противостоит и наивному американскому самодовольству, и русскому фанатизму. «Романтическая ирония», через которую этот дух себя выражает, — это не «школа и не мировоззрение. Это самозащита, это вставные когти. Настоящих когтей давно нет, евреи стерли их, блуждая по всем шоссе мира»[238]. Статья, в которой высказываются эти мысли, носит название «Ложка дегтя в бочке меда»: еврейская ирония и в самом деле горька, как деготь, она мешает колесикам механизма

вращаться плавно, безжалостно разрушая благодушное однообразие, но только она позволяет вполне оценить сладость «меда», т. е. чудеса современного мира. В этом и состоит «прилив еврейской крови в мировую литературу»[239]. Однако этот апофеоз «иудейского духа» сопровождается существенной оговоркой: да, евреи — «соль земли», но слишком высокая концентрация соли делает почву бесплодной. «Ведь без соли человеку и дня не прожить, но соль едка, жестка, ее скопление — солончаки, где нет ни птицы, ни былинки»[240]. А поскольку «скепсис и критицизм» у евреев в крови, это часть их «физиологии», они могут и должны существовать только в рассеянии, среди других народов.

Париж — Москва: новые друзья

Весной 1926 года Эренбурги отправляются в Россию. Программа их пребывания на родине насыщена до отказа: Москва, Киев, Харьков, Одесса, Тифлис и Баку, откуда они планируют вернуться в Париж через Турцию. Цикл репортажей для «Вечерней Москвы» должен покрыть дорожные расходы. Кроме того, Илья рассчитывает пополнить средства за счет показа последних новинок французского кино: он везет с собой фрагменты фильмов Рене Клэра, Абеля Ганса, Жана Ренуара. Кому, как не ему, знакомить Россию с искусством современной Франции!

Прошло уже два года со времени его последнего путешествия по Советской России: за это время нэп, с его «свободной частной инициативой», пусть и под бдительным оком партии и налоговой полиции, оживил экономику, хотя и породил коррупцию. Друг Эренбурга Бухарин вместе со Сталиным стоит у кормила власти: успешно громит левую оппозицию, определяет темп индустриализации, бдительно следит за кулаками и рабочим классом, выступает арбитром в споре литературных группировок, руководит Коминтерном — одним словом, строит социализм. Эренбург, поселившийся у Кати и Тихона, из окна их скромной московской квартирки может видеть, какая нищета, какие жестокие нравы царят в городе. Дочь Ирина больна туберкулезом; Илья сразу же решает увезти ее с собой в Париж, не слишком думая о том, сможет ли он обеспечить ей лечение во Франции. Впечатления от пребывания на родине лягут в основу грустного и сентиментального романа «В Проточном переулке». Позднее, рассказывая об этой книге в своих воспоминаниях, Эренбург процитирует Гоголя: «Много нужно глубины душевной, дабы озарить картину, взятую из презренной жизни, и возвести ее в перл создания»[241]. Роман «В Проточном переулке» будет встречен в штыки «пролетарскими писателями», хотя советский редактор изрядно покорежит его перед выходом в свет: «С „ЗиФ“’ом у меня трагедия: они напечатали мой роман „В Проточном переулке“ в обезображенном виде. В первой книжке „30 дней“ 53 купюры. Это явное надругательство»[242], — негодует возмущенный автор.

Во время этой поездки завязывается дружба с Бабелем. Эренбург всегда восхищался его творчеством; теперь Бабель поражает его как человек. Между ними много общего: происхождение (хотя укорененность в еврейской культуре и чувство принадлежности к еврейству у Бабеля гораздо глубже,

чем у Эренбурга), жадность к жизни, неуемная любознательность, одержимость работой. Но есть и существенное отличие: Бабель всецело и без остатка посвящает себя писательству, Эренбург же гонится за разными зайцами. Он дружит с Мандельштамом, Пастернаком, Цветаевой, Замятиным; теперь возникает еще одна литературная дружба и еще один литературный «наставник». Этой своей разбросанностью Эренбург раздражал Пастернака уже тогда. Поэт пишет Цветаевой: «Это прекрасный человек, удачливый и движущийся, биографически переливчатый, легко думающий, легко живущий и пишущий, легкомысленный. <…> И мне очень бы хотелось, чтобы ты не согласилась со мной и меня осадила: он вовсе не художник. Я желал бы, чтобы ты была другого мнения. Найди в нем то, чего я в нем напрасно ищу, и я стану глядеть твоими глазами»[243].

Возвращение в Париж после долгого российского турне было невеселым. Он вывез из России столько впечатлений, что хватило бы «на десяток томов». Однако в Париже он не знает, чем заполнить дни: убивает время на Монпарнасе в «Куполе», пытается работать. В России все писатели обречены на нужду и неустроенность; в Париже он, как писатель-эмигрант, острее чувствует свою униженность. Но даже в худшие моменты в его облике, в его богемной внешности сохраняется, по воспоминаниям Нино Франка, что-то «неповторимо изысканное»: «Эренбург был не лишен кокетства и вкуса: любил хорошее сукно, носил обувь, как у банкиров, и огромные миллиардерские ручки, бывшие в ходу до кризиса: однако на нем все это теряло свой лоск, превращалось в тряпье — видимо, в силу присущей ему небрежности»[244]. Он стал притчей во языцех благодаря причудливым головным уборам, двум собачкам, которых он постоянно выгуливал на Монпарнасе, и постоянному столику в «Куполе», который, как шутил он, пока еще не под куполом, — однако это была совсем не та слава, о которой он мечтал.

Эренбурги снова меняют квартиру и переезжают на бульвар Сен-Марсель, еще дальше от Монпарнаса. Любе приходится вести хозяйство, раньше она никогда не возилась на кухне; правда, как только появятся деньги, она немедленно бросит это занятие. В Москве Эренбург окунулся в самую гущу литературной жизни — и какой жизни! Здесь же, в Париже, он терзается от одиночества. «На Западе показалось мне как-то скучновато, — пишет он Замятину по возвращении из СССР. — Ведь я литературно чрезвычайно одинок и, говоря откровенно, растерян. Мало кому приходится верить и в похвалах и в хулах»[245]. «С французами Эренбург почти не общался, — пишет Нино Франк. — Он оставался иностранцем, даже на Монпарнасе, в кафе „Куполь“,

хотя и был там завсегдатаем. Он был привязан к Западу, к его миражам, и все-таки был чужаком»[246].

В конечном счете Эренбургу ближе была Германия, обращенная как к Востоку, так и к Америке, сотрясаемая лихорадкой модернизма, — там Мэкки-Нож, персонаж «Трехгрошовой оперы», бравировал своим цинизмом, там открыто выставлялась напоказ грубая эротика Георга Гроша. Книги Эренбурга по-прежнему выходят в берлинском издательстве «Malik», а репортажи публикуются во «Frankfurter Zeitung», оттуда они попадают во французский «Le Monde» Анри Барбюса. Эренбург знакомится с Йозефом Ротом и Эрнстом Толлером, присутствует на съемках фильма по роману «Любовь Жанны Ней» (к его великому возмущению, Голливуд навязал Пабсту, режиссеру фильма, «happy end»), пишет для престижного журнала «Literarische Welt». В 1927 году «Literarische Welt» выпускает особый номер, подготовленный Вальтером Беньямином посвященный советской литературе. Рецензируя этот выпуск журнала, московский критик марксистского толка так пишет об Эренбурге: «Не без оттенка оппозиции чрезвычайно чествуется Эренбург, тот самый, которого в СССР считают „наполовину агентом Чемберлена, на три четверти угнетателем китайского народа“ и о котором польская пресса отзывается в то же время как о „кровавом коммунисте“. Эренбург, беспартийный адогматик, сделан центром русского народа»[247].

Наконец контакты, которые Эренбург завязал в Москве, начинают приносить плоды: «Вечерняя Москва» регулярно заказывает ему репортажи; различные анкеты среди читателей и критиков ставят его на первое место среди самых популярных писателей; издательство «Земля и фабрика» планирует издание его сочинений в семи томах. Намечаются перемены и в его парижской жизни: в апреле 1927 года его приглашают на полуофициальную советско-французскую встречу. Речь идет о создании общества друзей новой России; затея принадлежит группе писателей — «унанимистов» во главе с Жюлем Роменом и Жоржем Дюамелем: «Интеллектуальные и художественные круги Франции и СССР всегда мечтали узнать друг друга лучше, однако этому мешало отсутствие всякой организации»[248]. По счастливому совпадению, в Париж приезжает Ольга Каменева, которая буквально на блюдечке с голубой каемочкой преподносит готовую организацию, «служащую делу культурного сближения». Работу можно начинать хоть завтра. Сюрреалисты, которые также приглашены Жюлем Роменом участвовать в этом «сближении», высокомерно-вежливо посылают мадам Каменеву «ко всем чертям». Но есть и те, кто готов откликнуться на предложение, —

Дюамель, Вильдрак, Дюртен, Жан-Ришар Блок, Альберт Глез и многие другие, включая и почтенную Мари Кюри-Склодовскую. С советской стороны в свиту госпожи президентши вошли Лидия Сейфулина, Владимир Маяковский и Илья Эренбург. Общество не получит большого влияния и скоро распадется, однако недолгое пребывание в нем открывает наконец перед Эренбургом двери парижских литературных салонов. Дальше дело идет как по маслу, и скоро Эренбург считает себя уже достаточно «своим», чтобы рекомендовать издательству «Галлимар» роман «Мы» Евгения Замятина.

1926 год был отмечен во Франции всплеском интереса к стране Октября, и советская литература, изображающая социалистическое общество и нового человека, больше не является монополией французской компартии. ВОКС под руководством Ольги Каменевой постепенно расширяет свои полномочия и начинает организовывать поездки отдельных писателей и художников в СССР. В числе первых, кто пользуется предоставленной свободой и пускается в увлекательную авантюру, оказываются Жорж Дюамель, Люк Дюртен, Панаит Истрати. Эренбург лично хлопочет, чтобы организовать поездку для Мак-Орлана. Рассказы о пребывании в СССР возбуждают в среде парижских интеллектуалов жаркие споры о судьбах Европы и социалистической революции. Может ли Эренбург в то время, когда Дрие Ла Рошель провозглашает, что «отныне каждый внутренний диалог ведется с непременным собеседником — Москвой»[249], довольствоваться ролью монпарнасского философа в «Куполе»? Чувствуя, что обстановка изменилась, он окончательно оставляет свой «Гид по кафе Европы» и бросается сочинять исторический роман «Заговор равных. Жизнь Гракха Бабефа». Книга получилась весьма посредственной: небрежной в стилевом отношении, сырой и непродуманной по содержанию. Тем не менее, ее тут же публикуют и в СССР, и во Франции в издательстве «La Nouvelle Revue Française». Что побудило писателя взяться за сочинение исторического романа? Желание продемонстрировать осведомленность во французской истории? Или стремление провести параллель между французским Термидором и советским нэпом? Так или иначе, Эренбург довольно быстро понимает, что на этом пути ему никогда не вступить в тот «внутренний диалог», о котором писал Дрие Ла Рошель.

Романтическая ирония Лазика Ройтшванеца

И тут происходит нечто странное. Эренбург оставляет исторический жанр, забывает свои притязания на модернистскую прозу и начинает сочинять… еврейский роман. «В Париже я начал сатирический роман „Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца“ и довел его до половины. Здесь надеюсь кончить. <…> Для чего окружал себя хасидами, талмудистами и пр. Это — современность глазами местечкового еврея. Метод осмеяния — чрезмерная логичность»[250], — пишет он Елизавете Полонской в июле 1927-го. Пять месяцев спустя роман был закончен. Лазик — уменьшительное от имени Лазарь; на вопрос, почему героя зовут именно так, автор отвечал каламбуром: «Я сказал себе: „лезь, Лазик“, — и я лезу»[251]. Что же касается фамилии героя, читатели и без объяснений понимают, что речь идет о «красном хвостике».

И все-таки почему «Лазик»? Надо сказать, что свой замысел автор вынашивал в течение долгого времени. Достаточно прочесть его переписку с Лизой Полонской, чтобы понять, до какой степени Эренбург был заворожен «еврейской особостью», неподражаемым миром еврейских местечек уникальным опытом, языком, особой философией и стилем жизни людей, которые, оставаясь в России, сохраняют свою глубокую самобытность. Этого «еврейского духа» в Париже Эренбургу не хватает: здешняя русская колония, в отличие от берлинской, была слишком… русской. Во время своих поездок по СССР, в Москве, а особенно на Украине — в Харькове, Одессе, Киеве, он с радостью убедился, что еврейский дух здесь по-прежнему неистребим. Он упивается им, общаясь с Исааком Бабелем.

Мужской портной Лазик Ройтшванец был родом из Гомеля, белорусского города, где синагог было больше, чем православных церквей, раввинов, больше, чем попов, а евреев — больше, чем русских, белорусов и украинцев. Жил-поживал себе мирно Лазик, занимался своим благородным ремеслом и был безответно влюблен в красавицу Фенечку… «Вся бурная жизнь Лазика началась с неосторожного вздоха»[252]. Дело в том, что он «жалобно, громко, с надрывом» вздохнул перед траурной афишей, сообщавшей о смерти «испытанного вождя гомельского пролетариата»[253]. С этого рокового момента и началось столкновение Лазика с Историей. «Когда гуляет по улицам стопроцентная история, обыкновенному человеку не остается

ничего другого, как только умереть с полным восторгом в глазах». Вооруженный «романтической иронией», Лазик умудряется до поры до времени лавировать среди многочисленных опасностей и ловушек, которые расставляют «бедному еврею» то ли злые люди, то ли слепая сила государственной власти. Судьба забрасывает Лазика в разные края, и всюду он приспосабливается, «держа нос по ветру»: в этом ему помогает мудрость предков, которую он вынес из родного Гомеля. Когда наконец он прибывает на историческую родину, в Палестину, у него только одно желание: возвратиться назад, домой, в СССР: «…там плохо и там трудно. Там нет никакой ровной температуры, а только смертельный сквозняк. Но там люди что-то ищут. Они, наверное, ошибаются. Может быть, они летят даже не вверх, а вниз, но они куда-то летят, а не только зевают на готовых подушках»[254].

«Лазика» часто сопоставляют с «Похождениями бравого солдата Швейка», с рассказами Бабеля и, конечно же, с «Хулио Хуренито». Но прошло шесть лет, и безжалостная язвительность, с которой Учитель судил современный мир, его блестящие провокации сменились смиренной мудростью, всепрощающей добротой нищего еврея, героя хасидских рассказов и Агады. Четкая лаконичная речь Великого Провокатора уступает место безудержному потоку слов, сопровождаемых буйной жестикуляцией. Лазик говорит по-русски, но при этом он все время нарушает правила русского синтаксиса и сочетаемости слов: эта неправильность придает его речи неповторимую интонацию и наделяет слова неожиданным смыслом. Комический эффект усиливается благодаря «чрезмерной логичности», особенно когда Лазик вторгается в область советского «новояза». Вот как Лазик объясняется с представителем группы «Бди» («Бдисты» как две капли воды похожи на «напостовцев» 1927 года):

«— Имя? Год рождения? Состоите на учете? Хорошо. Теперь объясните мне, кто вы, собственно говоря, такой?

— Я? Надстройка.

— Как?

— Очень просто. Если вы база, то я надстройка. Я говорю с вами как закоренелый марксист»[255].

Обладая даром имитатора, Эренбург великолепно воспроизводит язык и строй местечкового мышления, лично для него чуждые, но знакомые с раннего детства. Он погружается в этот мир, воссоздает его на страницах книги, ищет в нем убежища от той враждебности, которая окружает его во Франции — стране, которую привык считать своей. «Лазик Ройтшванец» — последняя книга, до «Оттепели» 1953 года, в которой доброта и милосердие

оказываются главными ценностями; «отбросы Истории» еще не выброшены на свалку, и человеческая жизнь еще важна сама по себе: «Вы думаете, если убить человека и припечатать его вопиющей печатью, как будто это не живой труп, а только дважды два замечательного будущего, кровь перестанет быть кровью?» Эта книга — последняя дань непокорной юности, последнее слово писателя перед тем, как превратиться в «посланца Страны Советов», как он станет себя называть. Понимал ли это сам Эренбург?

Во всяком случае он твердо знает одно: чтобы сбылись честолюбивые планы, с которыми он приехал в Париж в 1921 году, чтобы его признали и в Париже, и в Москве, необходимо заручиться доверием советской столицы. Эренбург не был наивен: за плечами у него были три года, прожитые при большевиках, и долгая игра в прятки с цензурой. Он сознает, что прежде чем получить признание, ему придется представить весомые доказательства преданности новой власти: он должен будет осудить анархистский индивидуализм, высмеять мелкобуржуазную интеллигенцию, заклеймить гнилой Запад, и, разумеется, прежде всего, отчитаться о своем прошлом.

На дворе осень 1927 года. По иронии судьбы, интерес французов к советской литературе пробудился как раз в тот момент, когда она стала терять связь с жизнью. Среди иностранцев, посетивших в этом году страну Советов, был Вальтер Беньямин, который, возвратившись в Берлин из Москвы, напишет: «Независимый писатель практически исчез, так как интеллектуалы превращаются в правящий класс»[256]. Для немецкого писателя это — открытие; для Эренбурга это уже стало очевидностью. Возможно, он полагает, что начавшееся ужесточение литературной политики вызвано только фанатизмом его врагов, «пролетарских писателей» — рапповцев? Он с ними на ножах — в «Лазике Ройтшванеце» он их безжалостно высмеял (и это, скорее всего, определило судьбу книги, которая так и не была опубликована в СССР при жизни автора). Пока еще Эренбург убежден, что партийное руководство не поддерживает лозунги пролетарских писателей и что его друг Бухарин им прямо враждебен. Конечно, он в курсе того, что тираж журнала «Новый мир», где появилась «Повесть непогашенной луны» Бориса Пильняка, пущен под нож, поскольку писатель рискнул предположить, что Сталин уничтожает своих товарищей по партии. Но разве Пильняк не был неисправимым славянофилом? И главное — разве Сталин не остается единомышленником Бухарина? Он знает также, что Александр Воронский, главный редактор журнала «Красная новь», собравшего под свое крыло

«попутчиков», вынужден уйти в отставку; однако этот инцидент вполне мог объясняться дружбой Воронского с Троцким. Тревожные признаки надвигающегося конца эпохи получали разумное объяснение и не слишком тревожили Эренбурга: все это «трудности роста». Ему казалось, что он хорошо понимает логику событий.

Еврей советского исповедания

Действительно, вскоре новый редактор «Красной нови» Федор Раскольников предлагает ему «социальный заказ»: речь идет о серии репортажей из Германии, Чехословакии и Польши. Весь 1927 год проходит у Эренбурга под лозунгом «Лезь, Илья, лезь!», и вот ему предоставляется уникальная возможность «пролезть» в ряды официально признанных советских писателей. Неужели в Москве вспомнили, что имеют дело с талантливым журналистом, автором «Лика войны»? Как бы там ни было, предложение это как нельзя более кстати: измученный долгим бездействием, Эренбург готов к новым приключениям: у него появился шанс стать советским Альбером Лондром и послужить правому делу. Альбер Лондр, французский журналист, один из первых иностранных корреспондентов как раз отправляется в такую же поездку — быть может, это совпадение было неслучайным. В своих репортажах Лондр будет писать об Ostjude — восточноевропейских евреях, «вечных жидах». Эренбург уезжает в командировку в ноябре; в его статьях речь тоже будет идти не только о «великой семье славянских народов», но и о еврейских общинах Центральной Европы. Действительно, совпадений немало. Но какая разница!

Поражает не только стремительность, с которой писатель откликается на полученный заказ. Поражают тон, манера. На рукописи «Лазика Ройтшванеца» еще не высохли чернила, а Эренбург уже отправился писать об «униженных и оскорбленных» евреях с издевкой, с насмешкой, с презрением. «Этот моралист был, как это часто бывает, аморален, — заметит об Эренбурге польский поэт Александр Ват. — Его мир был раздвоен: двойные чувства, двойные слова, двойная вера»[257].

Репортажи из Германии просто великолепны. Конечно, советская критика упрекнет автора в том, что он слишком мало внимания уделяет классовой борьбе, но легкий импрессионистский стиль, ирония, прекрасное знание темы, некое чувство превосходства, льстившее русскому читателю, сразу завоевали симпатию публики. Репортажи из Польши менее блестящи, но они также не проходят незамеченными: «Но вот, например, печатал я польские очерки. Их у нас всячески расхвалили, разумеется, не за литературные достоинства»[258]. В самом деле, «нелитературные», то есть пропагандистские достоинства его публицистики настолько бросались в глаза, что в ходе подготовки отдельного издания Эренбургу пришлось здорово почистить текст. Очерк «В Польше» вошел в книгу «Виза времени», которая была выпущена вначале в Берлине (1930), а

затем в Москве (1931). Позже, уже после войны, когда готовилось к печати собрание сочинений Эренбурга, было решено не включать туда эти статьи.

Читая эти статьи сегодня, в первую очередь поражаешься тону, о котором Эренбург пишет о положении евреев в пограничных Советскому Союзу странах. Автор свято убежден, что он — мессия, призванный обратить их в советскую веру: «Положение евреев в Польше донельзя просто — это голодная смерть осажденных. Ждать помощи со стороны наивно. Только вылазка может спасти население зачумленной крепости. Но для вылазки нужна иная воля»[259]. «Помощь со стороны», которую напрасно ожидают несчастные, — это сионистское движение. «Иная воля», которая является необходимым условием спасения, — это страстное стремление к образованию молодых евреев Варшавы. Им надо помочь вырваться из гетто. Но ни литература на идише, слишком молодая и скудная («Еврейская литература чрезвычайно молода. Молод язык — идиш»[260]), ни тем более «локальная» польская литература с ее «узостью, ее подлинной местечковостью»[261] сделать это не в состоянии. Духовные запросы евреев, которые «доросли до действительного ощущения всечеловеческой культуры», может удовлетворить только русская литература: «Русская литература — это прежде всего литература общечеловеческая. <…> Мечтатели еврейских местечек находят в этой российской широте надежду и опору. Наша литература в библиотеках Белостока, Радома или варшавских Напевок — это клочок лазури арестанту»[262]. Необходимо вырвать еврейскую молодежь из гетто, открыть ей глаза на убожество жизни еврейской общины. Не зря в Москве выбрали для поездки в Польшу именно Эренбурга, автора стихотворения «Еврейскому народу». Ведь ему пришлось всего лишь позаимствовать некоторые идеи из собственного прошлого: разве он с детства не ненавидел дух еврейских гетто? Разве он не отвергал идею сионизма? Разве его Лазик не погиб, преследуемый богатыми палестинскими евреями? Разве его программная статья об «иудейском духе» не была обращена к европеизированным, ассимилированным евреям, которые раз и навсегда отказались от засаленных лапсердаков? Так что Эренбург, можно сказать, никого не предал и остался верен самому себе. Когда-то, в Париже и Берлине, он создал идеальный образ еврея «с элегическими глазами, классическими глазами иудея, съеденными трахомой и фантазией»[263]; в Польше он обнаружил только трахому — и это вызывало у него отвращение. Он в недоумении и ужасе при виде этих «несгибаемых», обрекших себя на нищету и отверженность. Нет, он не с ними! Вместо «соли

земли» перед ним грязные, прожорливые, тупые и жадные существа: «На лицах библейский экстаз. Куда они торопятся? В синагогу? Молиться? Бить себя в грудь? Нет, Лодзь не Стена Плача. Несутся они вот к этому окошку, где вывешены биржевые бюллетени. Глаза, привыкшие справа налево читать высокие слова о добре и пальмах, слева направо читают названия подлых и заманчивых бумаг». Эренбург, цивилизованный, ассимилированный еврей, испытывает жгучий стыд, он глубоко потрясен: в Польше «существуют сотни, якобы „тайных“, хедеров, где еврейские мальчики с утра до ночи изучают Талмуд, где они не изучают вовсе ни польского языка, ни арифметики, ни начальной географии. Я побывал в таких хедерах. Тесная темная комната. Вонь. Духота. Грязный, невежественный рэби (учитель). В его руке недвусмысленная линейка. Ею наводит он румянец на чересчур бледные лица мальчишек. <…> Ни один католический монастырь, где монахини щиплют девочек, не может потягаться с хедером. Хедеры следует показывать туристам наряду со средневековыми темницами или с „музеями пыток“. Приведите в хедер европейца, он негодующе воскликнет: „но ведь евреи самый отсталый народ!“»[264] При подготовке репортажей к отдельному изданию этот пассаж будет исключен из книги.

Прибыв в Варшаву, Эренбург представился евреем «советского исповедания»[265]. В советском паспорте национальная принадлежность стала указываться только с 1936 года, так что формулировка, изобретенная Эренбургом, предвосхищала это нововведение. Конечно, уже не первый год евреи «советского исповедания» клеймят своих братьев по крови, особенно если те упорно продолжают посещать синагогу, советоваться с раввином и изучать Талмуд. Эренбург даже написал на эту тему в 1928 году рассказ «Старый скорняк»: герой рассказа, молодой еврей, комсомолец, объясняет старому дядюшке, почему его «бога» (слово это на революционный манер Эренбург первый раз печатает с маленькой буквы) нужно выбросить на свалку истории. Но дело в том, что сам Эренбург отнюдь не был молодым рьяным коммунистом. С момента, когда он принял решение «пролезть» в советские писатели, и до официального признания его в качестве такового он будет постоянно смывать с себя клеймо своего прошлого. В книгах и статьях, которые в эти годы с поразительной скоростью сыплются из-под его пера, он малюет черной краской прежде всего тех, кого любил, — евреев и Европу. Только Россия остается для него чем-то заветным и неприкосновенным, его святая святых.

Честно говоря, если бы автор этих сочинений не носил фамилию «Эренбург», их смело можно было бы отнести к разряду

антисемитской литературы.[266] «Шоковая терапия» мстит за себя. По возвращении из Германии и Польши Эренбург пишет роман «Единый фронт» (1929) — книгу, преисполненную отвращения к самому себе. Два главных героя романа — капиталисты, которые борются за мировую монополию спичек: швед Свен Ольсон и богатый еврей «Вильям, он же Вульф Вайнштейн», сын старьевщика из Лодзи, ставший тузом американской военной промышленности. Собратья-капиталисты считают Вайнштейна агентом «мирового еврейского заговора», вероломным космополитом, предателем. Он предал свой класс, свой народ и открыто презирает «жидов». Но отвращение, которое внушает читателю Вайнштейн, объясняется не только его социальным положением. Омерзительно все его существо. Он — ходячее воплощение антисемитских стереотипов: рыжий еврей Вайнштейн хитер, и умен, и безумно самоуверен. Он беспрерывно в движении, «его еврейские икры» заставляют его «много ходить, даже бегать»[267]. Он обожает деньги и власть, но ни то ни другое не спасает от смертельной скуки, охватывающей его, как только он останавливается: «Вайнштейн зевает; он зевает громко, надрывно, так зевают только старые еврейки в Витебске, с тоской, право же, тысячелетий, отчаянно, до тошноты, до спазм, до смерти». Именно смерть пожирает его душу: «…воспоминание о рыжем человеке заставляло Карнаухова (советский служащий. — *Е.Б.*) болезненно морщиться. Он как бы чувствовал во рту привкус гнили; безукоризненно чистая комната лондонского отеля наполнялась сладковатым запахом падали; воротничок жал шею». От Вайнштейна исходит «еврейский запах» — стереотип стереотипов самого дремучего антисемитизма, — который символизирует разложение его души, прогнившей от алчности, подлости и… сексуальной извращенности. Вот что говорит он, обращаясь к проститутке: «Как же, женат. Супруга. Благородного происхождения. Каждый день подмывается и Рембрандты. Потом — сыночек. Лео. Сопля. <…> Ненавижу этот семейный уют! Ты вот такая харя, что с души воротит, а я с тобой спать пойду. Инспирация! Нельзя же употреблять жену, как лакрицу, на сон грядущий, чтобы сюда не подступало! <…> Я, может быть, тебя сегодня высеку. Ты не кривись: набавлю сто крон. Какой-нибудь швед скажет: „садист“. Наука! А я, кстати, попросту Вульф. Можем и поменяться: ты меня поколотишь. Я ведь это только со скуки. Не то сдохну. Я когда зеваю, самому страшно: лопнет…»[268]

Его развращенность поистине не знает границ. В конце романа Вайнштейн в обществе двух девиц, раздевшись догола и став на четвереньки, истошно лает под ударами ремня[269].

Заметим, что, по иронии судьбы, Вульфа Вайнштейна постигла та же участь, что и Лазика Ройтшванеца: «Единый фронт», опубликованный в 1930 году в Бердине, так никогда и не будет издан в СССР.

Новая любовь и «производственные романы»

«Ни любви, ни денег», — жаловался Эренбург Лизе Полонской в 1925 году, когда он, без особой, впрочем, охоты, поддался чарам «абсолютнейшей дуры мулатки Нанды». Теперь денег по-прежнему не хватает, но зато появляется любовь. Под силу ли ему это переживание? Его любовью стала Дениз Монробер, французская актриса, жена Бернара Лакаша, председателя Международной лиги по борьбе с антисемитизмом (LICA). «Она напоминала маленькую птичку и очаровала меня своей любезностью и фантазией, — вспоминал Нино Франк, повстречавший ее в „Куполе“. — Ее треугольное болезненное личико оживляла чудесная улыбка, напоминавшая чем-то улыбку Эренбурга, изредка мелькавшую на его нахмуренном лице»[270]. Эренбург был отчаянно влюблен и глубоко несчастен. При той епитимье, что он на себя наложил, он должен был безжалостно душить это запретное чувство: действительно, его перо не оставит нам ни одного свидетельства этой любви. У него как у писателя были в тот момент другие задачи. Позже он напишет в своих воспоминаниях: «Часто мне хотелось писать не о бирже, а о больших человеческих чувствах, но я сердито себя обрывал»[271]. Все его творческие силы направлены на «изучение» мирового капитализма и изображение мира, населенного отвратительными монстрами. Дениз появится на страницах его произведений гораздо позже, в 1940 году, в образе трогательной и хрупкой Мадо в романе «Падение Парижа», когда он окончательно покинет Францию.

За несколько дней до отъезда в эту журналистскую командировку Эренбург поделился с Лидиным новым проектом: «Сейчас собираюсь поступить на автомобильный завод, чтобы написать прозкнигу всурьез, не халтуря»[272]. Подробнее он объясняет свой план в письме к Замятину: «Сейчас я готовлю нечто вроде кинохроники нашего времени: историю автомобиля, т. е., вернее, его создания и человеческих трагедий, которые он при этом сглатывает. Входит сюда нефть, каучук и прочие мировые „этуали“. Вещь документальная, т. е. без сюжета и без „выдуманного“. М.б., это неправильно, но романы мне как таковые надоели»[273].

Замысел Эренбурга не отличается оригинальностью. На Западе такие писатели, как Эптон Синклер, Пьер Амп, Джон Дос

Пассос, уже работали в жанре «документальной прозы», да и в СССР идея литературы факта, «биографии вещи» лефовца Сергея Третьякова уже готовит очередную атаку на «буржуазный психологический роман»[274]. Прием кинематографического монтажа Эренбург позаимствовал, как уже было сказано, у Блеза Сандрара; этот «телеграфный» метафорический стиль был близок Эренбургу-журналисту, он всегда оставался главным козырем в его литературной карьере.

Итак, он заставляет себя изучать «статистику производства, отчеты акционерных обществ, финансовые обзоры; беседовать с экономистами, с дельцами, с различными проходимцами, знавшими подноготную мира денег»[275]. Он отказался от мысли наняться рабочим, но посещал заводы, рабочие кварталы, слушал объяснения о работе сборочных конвейеров, о перегонке нефти. Между 1928 и 1932 годами он создал четыре производственных романа, составивших цикл «Хроника наших дней». Последовательно выходят «10 л.с.» — об автомобильном заводе «Ситроен», уже упомянутый «Единый фронт» — о спичечных королях, «Фабрика снов» — анатомия фото- и киноидустрии, «Хлеб наш насущный» — о массовом уничтожении зерна и кофе во время мирового кризиса. Много шума наделал очерк-памфлет «Король обуви» о чешском предпринимателе Томасе Бате и принес автору неслыханную популярность. Батя подал против Эренбурга иск по обвинению в «диффамации»[276] и потребовал два миллиона марок за моральный ущерб. Эренбурга поддержали рабочие заводов Бати. Процесс, впрочем, так и не начнется: Батя погибнет в авиакатастрофе по дороге в суд. В том же 1932 году настоящий «спичечный король» Ивар Крейгер, единственный, кто появляется у Эренбурга в «Хронике» под другим именем, покончит с собой выстрелом в голову. Секретарь Крейгера сообщит, что накануне самоубийства он видел на столе своего патрона книгу Эренбурга. «После самоубийства Крейгера французские критики сочли Эренбурга настоящим пророком», — напишет Д. Марион, корреспондентка «La Nouvelle Revue Française»[277].

Без сомнения, Эренбург заворожен всеми этими «королями», настоящими «self-made men», определявшими облик современного мира, его безумный динамизм. Советская печать не преминула отметить, что, несмотря на всю ненависть к капитализму, писателя мало занимают «противоречия системы». Дело не только в том, что Эренбурга не интересует участь эксплуатируемых классов (в своих романах он отделывался от этой темы несколькими дежурными сентиментальными оборотами), хуже другое: отправляясь в крестовый поход против

царства машин, он забывает, что в советской экономике тот же самый «поточный конвейер» играет не менее важную роль, только здесь он должен иметь человеческий смысл и помогать расцвету личности. Французская критика (так как он по-прежнему переводится во Франции), напротив, высоко оценила модернизм его романов: «Русский писатель, — читаем в „La Nouvelle Revue Française“, — сумел отказаться от изображения любви и прочих психологических коллизий и нарисовать реальный портрет нашего времени. <…> Большинство романов появляется по инерции. Эренбург попытался сказать нечто новое. Он смотрит в корень, и ему удалось разворошить муравейник»[278]. «Лазик Ройтшванец» смог снискать своему создателю разве что репутацию созерцателя обреченного мира на манер Йозефа Рота с его персонажами-призраками. Напротив, «документальные романы» сразу выдвинули Эренбурга в авангардисты.

Выпады против «мирового капитализма» принесли Эренбургу и некоторые огорчения. За год до «дела Бати» писателя снова выпроваживают из Франции из-за его материала о Колониальной выставке. К счастью, теперь не 1921 год, и он уже не беззащитный советский гражданин без знакомств и покровителей. В 1924-м в его досье Министерства внутренних дел, в графе «гаранты» стояло всего две фамилии: писатель Пьер Мак-Орлан и художник Альберт Глез. В 1932-м за него поручились и Гастон Бержери, депутат радикальной партии, и Анатоль де Монзи, сенатор и министр образования. Де Монзи был горячим сторонником дипломатического признания советской России буквально с первых часов ее существования. При Пуанкаре он возглавлял Комиссию по российскому внешнему долгу и на этом посту познакомился с Кристианом Раковским. Де Монзи живо интересовался Россией. Богатый, блестяще образованный человек, он ценит в Эренбурге достойного собеседника. Именно он возьмет писателя под свою защиту, когда у того начнутся осложнения с полицией.

Неплохо было бы заручиться таким же сильным покровителем и в Москве. Ибо там над ним уже сгущались тучи.

Советское издание «Лазика Ройтшванеца» заморожено: Главлит требует замены названия и купюр в тех местах, где рассказывается о похождениях Лазика в стране Советов. Эренбург идет проторенной дорожкой — пишет Бухарину: «Я не прошу Вас о какой-либо исключительной мере. Но если Вы найдете запрет несправедливым, Вам легко будет снять его: предисловием или как-нибудь иначе»[279]. Ответ он получит нескоро, причем в самой неожиданной форме. Бухарин, к которому обращается Эренбург, публикует в «Правде» (он же главный редактор газеты) статью

«Чего мы хотим от Горького». Максим Горький, живущий в эмиграции с 1921 года, должен приехать в СССР. Бухарин приветствует его и призывает создавать, наряду с другими советскими писателями, «широкие полотна великой эпохи» и перестать «скулить»: «Собачьи переулки, Проточные переулки, Лазики Ройтшванецы (последний роман Эренбурга) — дышать нельзя! <…> Это не борьба и не творчество, и не литература; это — производство зеленой скуки для мертвых людей»[280].

Эренбург не верит своим глазам. Ведь он еще не знает, что его другу в Москве приходится туго. С 1928 года Бухарин теряет влияние. Сталин решает расправиться с деревней, положить конец «саботажу на селе», задушить НЭП и ускорить индустриализацию — приоритет «производства средств производства». В мае 1929 года, невзирая на возражения Бухарина, генеральный секретарь навязывает стране первую пятилетку. В печати начинают открыто писать о «правой оппозиции», и сталинские пропагандисты во все горло клеймят Николая Бухарина за «мелкобуржуазную и прокулацкую позицию» и «гнилой либерализм»[281]. Загнанный в угол Бухарин вынужден уйти с поста главного редактора «Правды» и покинуть пост председателя Коминтерна, сохранив за собой только членство в Политбюро.

В декабре 1929 года Сталин берет курс на коллективизацию всей страны и «ликвидацию кулачества как класса». Однако прежде чем ринуться в наступление на крестьянство и затеять «третью русскую революцию», ему необходимо убедиться, что он твердо держит бразды правления и что «идеологические рычаги» в его руках. Творческой интеллигенции отводится важнейшая роль: она должна мобилизоваться для решения поставленных стране задач. Сталину нужны преданные поэты, романисты, кинорежиссеры, художники, чтобы натравить коммунистов на кулаков, убедить общество в необходимости террора, пробудить героический энтузиазм в рабочих. Эпоха гражданского мира в литературе подходит к концу. Летом 1929 года центральная печать начинает травлю трех писателей: Бориса Пильняка — председателя Московского союза писателей, Евгения Замятина — бывшего председателя Союза писателей Ленинграда и Ильи Эренбурга. Все трое обвиняются в публикации за границей в эмигрантских издательствах антисоветских произведений. Обвинения эти откровенно беспочвенные: берлинский издательский дом «Петрополис», выпустивший «Красное дерево» Пильняка и эренбурговского «Рвача», с 1921 года издавал писателей, живущих в России. Роман Замятина «Мы» был написан в 1920-м и выпущен в Праге без ведома автора уже два года тому

назад. Но все попытки объяснений оказались бесполезны: газеты буквально смешали их с грязью, инкриминируя «политическое лицемерие», «литературный саботаж», «белогвардейщину» и т. д. Маяковский сравнил их поведение с «дезертирством с поля боя». Впрочем, имя Эренбурга быстро сходит со страниц газет: он слишком далеко, чтобы являть собой подходящую мишень. Однако сказанного не воротишь: именно в тот момент, когда он думал, что Москва его признала, оказалось, что его снова занесли в список эмигрантов. Похоже, нужно было все начинать сначала.

Травля писателей, развернутая летом 1929 года, ознаменовала кардинальный поворот в советской литературе: отныне каждый писатель знал, что он обязан подчиняться «социальному заказу», что в Советском Союзе все произведения принадлежат государству, что любое из них может быть объявлено «идейно вредным».

Несколько месяцев спустя, в апреле 1930 года, Владимир Маяковский покончит с собой выстрелом из пистолета. Эренбург пишет своему другу Лидину: «Выстрел Маяковского я пережил очень тяжело, вне вопроса о нем. Помните наш разговор в „кружке“ о судьбе нашего поколения?.. Ну вот»[282]. В июне 1931 года Евгений Замятин обращается с личным письмом к Сталину: он объясняет, что для писателя невозможность писать равнозначна смертному приговору, и просит заменить «смертную казнь» ссылкой, т. е. высылкой из СССР. Он ссылается на пример Эренбурга, который, «оставаясь советским писателем, давно работает главным образом для европейской литературы — для переводов на иностранные языки»[283].

Генеральный секретарь милостиво разрешает Замятину выехать из Советского Союза, и вскоре Эренбург будет встречать его в Париже. В истории русской литературы Маяковский и Замятин фигурируют как полярные противоположности. Маяковский с первого дня революции «шагал левой», поддерживал все решения власти, безжалостно преследовал ее врагов; Замятин после 1917 года вышел из партии большевиков, не уставал повторять, что для писателя единственная революция — литературная, и призывал не смешивать революцию и государственную власть. Общим же у них было только одно — чувство собственного достоинства, уважение себя и литературного своего дела, которым ни тот, ни другой не хотели поступиться. Эренбург это знал и понимал. Но его самого уже ничто не могло остановить на пути, который он для себя выбрал.

В 1931 году Илье Григорьевичу исполнилось сорок лет. Он пытается угнаться за «локомотивом истории», он бежит без

передышки, хотя время от времени возникает впечатление, что это история гонится за ним по пятам. Он не знает ни минуты покоя, колесит по европейским столицам: то в Берлин, где оказывается, что толпа нацистов состоит в основном из безработных; то в Испанию, где его горячо принимают как первого советского писателя; снова в Берлин, в Прагу, в Вену, в Женеву… Он пишет статьи и репортажи («Испания, рабочая республика»), успевает составить фотоальбом «Мой Париж», заканчивает очередной производственный роман «Фабрика снов» и берется за новую повесть о судьбе советского художника, живущего в Париже, — «Москва слезам не верит». Он вступает в яростную схватку со временем: если он ее проиграет, ему останется только ледяной ад эмиграции (говоря словами Анри Труайя), безумие, нищета. В мае 1932 года Париж потрясен: некто Павел Горгулов, русский эмигрант, страдавший манией преследования, выстрелил в президента Франции Поля Думера. Ставка на отчаянье: выстрел Горгулова звучит для Эренбурга громче и страшнее, чем выстрел Маяковского.

Глава VI
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ: С «ЧЕРНОЙ» ДОСКИ НА «КРАСНУЮ»

А век поджидает на мостовой
Сосредоточен, как часовой.
Иди — и не бойся с ним рядом встать.
Твое одиночество веку под стать.
Оглянешься — а вокруг враги;
Руки протянешь — и нет друзей;
Но если он скажет: «Солги», солги.
Но если он скажет: «Убей», убей.

Эдуард Багрицкий. «ТВС»

Призрак Горгулова

Убийство президента Франции Поля Думера посеяло панику среди эмигрантов: многие забаррикадировались у себя дома, готовясь к самому худшему. Через знакомых французов Эренбург сумел получить пропуск во Дворец правосудия. Ошеломленный случившимся, он в течение трех дней присутствует на процессе, слушает заявления обвиняемого и пытается понять причины его безумного поступка. Потрясение, видимо, было таким мощным, что тридцать лет спустя он посвятит этому делу целую главу в своих воспоминаниях. Горгулов завладел его воображением: это было явление призрака, поскольку задолго до того, как Горгулов оказался на скамье подсудимых, в 1922 году, Эренбург написал рассказ «Бегун» — историю обычного бухгалтера, поддавшегося антибольшевистскому психозу, который неожиданно для себя оказывается в чужой стране и становится убийцей. Он не может найти постоянную работу, его мучает тоска по родине, он страдает от своего изгнанничества и в один прекрасный день втыкает вилку в спину посетителя деревенского кафе — не ради денег и не во имя идеи, а потому, что не может больше выносить самодовольных, благополучных французов, которых, как ему кажется, никогда не касалось смертоносное дыхание истории[284]. Эмигрантский синдром, которым страдал Горгулов, — ненависть, страх, горечь, отчаяние — был хорошо известен Эренбургу. «Горгуловская тема» не отпускает его и после процесса. Видимо, он задумывал снять фильм об этом деле. В досье парижской префектуры, заведенном на Эренбурга, содержится такая запись: «Существуют неподтвержденные сведения о том, что Илья Эренбург будет автором сценария о жизни Горгулова, который должен быть опубликован в декабре в разных журналах, как французских, так и иностранных»[285]. Далее в досье уточняется: «По нашим данным, советское руководство отказалось от съемок фильма». Значит, было от чего отказываться, проект сценария, видимо, существовал.

Однако, как бы ни был Эренбург поглощен делом Горгулова, он не упустил случая воспользоваться новым поворотом Истории (и на сей раз в нужную ему сторону): «Известия» — вторая по значимости после «Правды» газета в СССР — предложила ему пост постоянного корреспондента в Париже. Статус журналиста и европейца наконец узаконен. Теперь его проживание за границей вне подозрений.

Все страхи (отнюдь не вымышленные!), терзавшие его в 1929 году, рассеялись. Он обрел почву под ногами, и можно

продолжать «лезть» наверх. Все переменилось: те, кто его преследовал, сами попали в ловушку. Что же произошло? Предложение «Известий», разумеется, не было случайностью. Оно отражало очередной изгиб «таинственной кривой ленинской прямой» (И. Бабель). Коллективизация и ускоренная индустриализация погрузили страну в пучину голода и хаоса. Сталин не может позволить, чтобы государственный корабль продолжал и дальше крениться влево. Рапповцы, которых уже открыто именуют «неистовыми ревнителями», начинают раздражать его своей крикливой воинственностью и бесконечными склоками. Генеральному секретарю необходимо заручиться широкой поддержкой лучших русских писателей, каковых, разумеется, он не собирается искать среди рапповцев. Двадцать третьего апреля 1932 года была принята резолюция ЦК о роспуске всех литературных объединений, группировок и организаций, в том числе и РАППа. Создается единый Союз писателей, открытый для всех, кто «поддерживает программу советской власти и хочет участвовать в строительстве социализма». Главный редактор «Известий» И. Гронский назначен председателем оргкомитета будущего Союза. Было решено, что знаменем новой организации должен стать Максим Горький — величайший пролетарский писатель, беспартийный, бывший эмигрант, а ныне горячий патриот. Когда-то непримиримый враг Октября, а теперь союзник Сталина, Горький воплощает политику открытости, справедливости, примирения, провозглашенную Генеральным секретарем. Союзу писателей (и Гронскому) нужны были и другие подобные фигуры, пусть меньшего масштаба. Эренбург идеально подходил на эту роль. Не имеет значения, что только что вышедшая из печати Малая советская энциклопедия называет Эренбурга «одним из наиболее ярких представителей новобуржуазного крыла в литературе»[286]. Времена изменились, и теперь уже бывший руководитель РАППа, написавший эту статью, дрожит от страха, а Эренбург наконец может вздохнуть с облегчением.

Благодарные писатели, раз и навсегда уверовавшие в мудрость вождя, особенно «попутчики» и беспартийные, наперебой спешат с изъявлениями преданности, всячески демонстрируя свое передовое сознание. Кто поодиночке, кто в составе делегаций, они отправляются на стройки, ездят в раскулаченные деревни, чтобы окунуться в живую жизнь, соприкоснуться с трудящимися массами и потом одарить социалистическую родину романами, достойными «великого перелома». Эренбург не остается в стороне. Как только закончился процесс над Горгуловым, он садится в поезд, идущий

в СССР.

«День второй»

В течение трех месяцев Эренбург колесит по России, посещает великие стройки первой пятилетки. В конце концов выбор его падает на два сибирских города — Томск и Новокузнецк, где буквально на голой земле возводятся мартеновские печи Кузнецкого металлургического комбината. В старом Кузнецке венчался ссыльный Федор Михайлович Достоевский. Именно этот город делает Эренбург местом действия своего романа «День второй».

Позже в своих воспоминаниях Эренбург так пояснял замысел романа: «По библейской легенде, мир был создан в шесть дней. В первый день свет отделился от тьмы, день от ночи; во второй — твердь от хляби, суша от морей. Человек был создан только на шестой день. Мне казалось, что в создании нового общества годы первой пятилетки были днем вторым: твердь постепенно отделялась от хляби»[287]. В романе ощущается эпическое дыхание, здесь рвутся наружу ярость и боль страны, корчившейся в родовых муках: падающие от усталости рабочие, голодающие крестьяне, дети и родители, доносящие друг на друга, сосланные кулаки, фанатики-коммунисты, карьеристы и спекулянты, ударники, ютящиеся в землянках: «У людей были воля и отчаянье, они выдержали. Звери отступили. <…> Люди жили как на войне. Они взрывали камень, рубили лес и стояли по пояс в ледяной воде, укрепляя плотину. Каждое утро газета печатала сводки о победах и о прорывах, о пуске домны, о новых залежах руды, о подземном туннеле, о мощи морганoвского крана. <…> В тифозной больнице строители умирали от сыпняка. Умирая, они бредили. Этот бред был полон значения. Умирая от сыпняка, люди еще пытались бежать вперед. На место мертвых приходили новые»[288]. На войне как на войне — такова мораль революции: «Революция одних людей родила, других убила <…>. На то она и была революцией»[289].

На таком апокалиптическом фоне разворачивается история героя, который воплощает драму русской интеллигенции.

Этой драме уже не один десяток лет; Октябрьская революция лишь ускорила развязку. Некоторые, например Александр Блок, восприняли гибель своего класса с чувством горького ликования. Другие — среди них Горький и Эренбург — били тревогу и пытались докричаться до тех, кто мог их услышать; уничтожая культурную элиту страны, революция роет могилу и себе самой, и России. Десять лет спустя «великий перелом», объявленный Сталиным, окончательно прикончит русскую интеллигенцию. Тот,

кто пройдет горнило испытаний и сможет «перековаться», превратившись в советского «работника умственного труда», получит пропуск в светлое царство социализма. Остальные исчезнут.

Главный герой романа, молодой человек Володя Сафонов, уроженец Томска, «сибирских Афин»[290], вырос на чеховских ценностях: уважении к личности, любви к литературе, верности профессиональному долгу. Однако для советского гражданина такие установки — лишний груз. Володя бросает учебу и вместе с молодыми рабочими отправляется в Кузнецк, на стройку, в надежде стать вровень со своей великой эпохой. Напрасные усилия! Его «гипертрофированное» сознание не позволяет ему увидеть действительность «в исторической перспективе», освободиться от индивидуализма и от презрения к окружающим его невежественным энтузиастам. Володя ведет дневник, где безжалостно издевается над «новым человеком», — прием, позволяющий Эренбургу привести целый набор аргументов, которые он черпает как из собственных книг, так и из книг своих друзей. Автор предусмотрел все возможные возражения. «Новое племя» создает новую культуру? Володя возражает: «После Платона, после Паскаля, после Ницше — не угодно ли: Сенька-шахтер заговорил! Причем ввиду столь торжественного события обязаны тотчас же и навеки замолчать все граждане, которые умели говорить до Сеньки. <…> Вы установили всеобщую грамотность и столь же всеобще невежество. После этого вы сходитесь и по шпаргалке лопочете о культуре. Но это еще не основа культуры»[291]. Коллективное начало возьмет верх над вымирающим индивидуализмом? «Муравьиная куча — образец разумности и логики. Но эта куча существовала и тысячу лет тому назад. Ничего в ней не изменилось. Существуют муравьи-рабочие, муравьи-спецы и муравьи-начальники. Но еще не было на свете муравья-гения. <…> У них есть куча, и они работают. <…> Они много честнее вас: они не говорят о культуре»[292]. Новый человек будет свободен от пороков, присущих классовому обществу? Володя иронизирует над самоуверенностью своих товарищей, берет в союзники Достоевского: «Вместо жалости у нас „классовая солидарность“. Мы уничтожаем не личностей, а класс. Конечно, при этом гибнут и людишки, но разве это важно? Важно то, что мы перегоним Америку»[293]. Не забывает он и западную интеллигенцию, преклоняющуюся перед «новым человеком»: «Бернард Шоу (недавно посетивший СССР. — *Е.Б.*) от восхищения давится икрой, а потом спешит в Лондон. Там он сможет говорить, не считаясь с Сеньками»[294].

Иной раз возникает ощущение, что проницательного, умного

Володю на самом деле зовут Илья, что он — alter ego автора. Но нет, автор романа Илья Эренбург тут как тут, он только ждет удобного момента, чтобы преподать читателю урок истории: сопротивление Володи бессмысленно; вместо того чтобы придать ему сил, оно превращает его в маргинала, в изгоя, в «несвоевременный феномен»[295], который вот-вот окажется на свалке истории. И действительно, Володя обречен исчезнуть. Быть может, он был честен, но он проиграл, и Эренбург заставляет своего героя покончить с собой.

Страх перед Историей и одновременно обожествление ее — вот пафос этой книги. В отличие от большинства своих современников Эренбург не исповедует марксизм. Его терзает другое — страх уничтожения, которым вновь и вновь угрожает ему история. Володя понимает свою обреченность независимо от законов «диамата» о роли личности в истории: его культура, его интеллектуальные запросы и индивидуализм сами по себе являются разрушительной силой. Один-единственный раз возникает у Володи проблеск надежды, а именно на комсомольском собрании, когда он вдруг слышит тот самый внутренний голос, который вдохновлял его на сочинение стихов. Но когда он выходит на трибуну и начинает говорить, слова, которые срываются с губ, оказываются чужими, а его голос — голосом масс. «Я хочу быть со всеми <…> Я твердо говорю это слово: „Мы“». Спустя два года, на Первом съезде советских писателей Эренбург повторит найденное им магическое заклинание: «Позвольте же мне, товарищи, с полным правом говорить здесь „мы“»[296].

Однако, как метко заметят Ильф и Петров, «надо не только любить советскую власть, надо сделать так, чтобы и она вас полюбила»[297]. В 1932 году советская власть еще не полюбила Эренбурга. Издательство «Советская литература» возвращает ему рукопись романа «День второй» с пометкой «плохая и вредная вещь». Момент критический: Эренбург чувствует, что ему надо идти ва-банк, бороться за свой роман, иначе говоря, открыть свой собственный «единый фронт». Его отношения с Гронским и роль в создании Союза писателей дают ему на это некоторые права. Возросли и организационные возможности Эренбурга: с 1932 года у него появился личный секретарь — Валентина Ароновна Мильман. Находясь в Париже, он поручает ей предлагать отдельные главы из романа газетам и журналам, в случае отказа добиваться объяснений и держать его в курсе происходящего в Москве.

Наученный опытом, Эренбург организует поддержку из Парижа. Он готовит французское издание «Дня второго», а в

январе 1933 года «La Nouvelle Revue Française» публикует большую (около тридцати страниц) подборку материалов, собранных им во время поездки по стройкам Сибири и Урала в 1932 году. Эренбург признает во введении, что это редкий случай, чтобы писатель предавал гласности материалы, использованные им для создания художественного произведения; однако в данном случае речь идет о документах особого рода. Это письма и дневники молодых рабочих Кузнецкстроя, это «голос поколения, определяющего судьбу нашей страны и, возможно, всей нашей цивилизации»[298]. Неважно, что документы поражают невероятной банальностью; важно другое — благодаря Эренбургу рассказ о советской «новой цивилизации» попал на страницы самого престижного и элитного французского журнала. Удар нанесен метко, остается закрепить успех. И тут наш кандидат на звание советского писателя прибегает к гениально простому средству: он организует что-то вроде «самиздата». Он печатает за свой счет в Париже четыреста нумерованных экземпляров романа и посылает их в Москву различным влиятельным лицам. «Вопрос о романе меня продолжает очень волновать. Если что-либо положительное выяснилось, очень прошу Вас, протелеграфируйте. Я уже писал Вам, насколько это важно для меня. Хочу приехать к выходу <книги>»[299]. Надежды чередуются с разочарованиями. <…> «Я думал, что его читали уже верхи»[300]. <…> «ИВ книгу я послал давно, до других. Что теперь делать, не знаю»[301]. Кто другой, кроме Иосифа Виссарионовича Сталина, может скрываться за инициалами ИВ? Французский перевод романа готов, автора тепло поздравляет Ромен Роллан: «Только что прочитал Ваш „День второй“. Это самая прекрасная, самая содержательная, самая свободная из книг, прочитанных мною о новом советском человеке — созидателе». Письмо это, впрочем, было не просто непосредственным откликом: Роллан не забывает подчеркнуть, что «было бы полезно, если бы она (книга. — *Е.Б.*) одновременно вышла и по ту сторону Горнила. Она рассеет немало недоразумений, как у нас, так и у вас»[302]. Теперь следовало позаботиться о том, чтобы мнение и пожелание великого писателя стало достоянием гласности. Уговорить Барбюса, редактора «Le Monde», оказалось не так легко, но в конце концов в декабре письмо Роллана появляется в газете. Шаг за шагом «единый фронт» одерживает победы и в Москве. Эренбург принимает все навязанные ему цензурой купюры, и в апреле 1934 года «День второй» выходит в свет. Как раз вовремя: через три месяца должен открыться Первый всесоюзный съезд советских писателей. В своих воспоминаниях Эренбург точно определит исключительное значение этого события: с выходом

романа «День второй» в Москве имя его в советской литературе переходит с «черной доски» на «красную»[303].

Мальро и Эренбург

Они познакомились в 1921 году в редакции журнала «Action», куда Эренбург принес стихи об измученной революцией России. В 1932 году они встретились вновь. Устроив праздник по случаю приезда в Париж Евгения Замятина, Эренбург пригласил к себе писателей из «La Nouvelle Revue Française». Среди них был и Мальро. Нино Франк, также присутствовавший за столом, удивлялся: чем объяснить дружбу между «этими двумя противоположными людьми, этот невозможный союз Гарина (герой романа Мальро „Завоеватели“. — *Е.Б.*) и Хулио Хуренито?»[304] Действительно, что могло быть общего между Мальро-Гариным, холодным рационалистом, упоенным своим превосходством, шествующим по истории как завоеватель, и Хулио Хуренито, он же Лазик Ройтшванец, вечная жертва истории, который противостоит «завоевателям» лишь житейской мудростью да иронией, смешанной со страхом? Тем не менее у них есть общее — это страсть к риску, даже если первый идет навстречу всем ветрам элегантно и беспечно, а второй — с головой, набитой выкладками о кризисе мировой экономики, вечно озабоченный, «ответственный и сознательный» (по меткому определению Жоржа Сименона)[305], постоянно барахтается в бюрократических силках, хлопоча о въездных и выездных визах. Но самое главное, их сближало то, что оба одинаково чувствовали нерв современности и болезненно ощущали краткость отпущенного им срока. Далеко не признавая творчества друг друга («Роман был бы прекрасен, если бы только не было Гарина», — шепчет Эренбург сидящему рядом Нино Франку[306]), каждый из них, тем не менее, отдает должное достоинствам другого. И какое-то время им было по дороге.

Мальро не был ни коммунистом, ни анархистом. Если он и был бунтарем, то умным, расчетливым, сознающим последствия. Он симпатизировал советскому искусству и доказал это, отстаивая фильм «Броненосец Потемкин» Эйзенштейна и память Маяковского. На страницах «La Nouvelle Revue Française» он вступил в полемику о китайской революции с самим Троцким. Можно предположить, что Эренбург следил за этой дискуссией со смешанным чувством превосходства и зависти: обнаружив полную неосведомленность в вопросах революционной борьбы, Мальро, тем не менее, настолько сумел ввести своего оппонента в заблуждение, что Троцкий принял его чуть ли не за лидера восстания.

В декабре 1932 года, за несколько дней до выхода романа

«Удел человеческий» и за несколько недель до прихода к власти Адольфа Гитлера, Андре Мальро стал членом Международного бюро революционных художников (МБРХ) — французского отделения Международного объединения революционных писателей (МОРП), созданного Коминтерном. МБРХ, появившееся в конце 1931 года, приглашало в свои ряды всех писателей, «активно участвующих в революционном движении французского пролетариата и борьбе с фашизмом и социал-фашизмом, поддерживающих борьбу с колониализмом и выражающих солидарность с СССР»[307]. При этом писатель мог и не быть членом коммунистической партии. На митингах МБРХ, где Эренбург появляется уже в качестве признанного советского писателя, Мальро, а за ним Андре Жид и другие писатели, прежде совершенно далекие от коммунизма, громогласно заявляют о своей поддержке Советского Союза как единственной силы, способной противостоять немецкому нацизму. Андре Жид, например, поясняет, что нацистский террор — «наследие самого отвратительного прошлого», в то время как «строительство социалистического общества дарит безграничную надежду на будущее». Где найти лучшую иллюстрацию этой «безграничной надежды на будущее», если не в материалах о советской молодежи, опубликованных Эренбургом в «La Nouvelle Revue Française»?

Эренбург без особого труда завоевывает авторитет среди своих французских друзей. У него всегда свежие сведения, он в курсе того, что происходит в Москве, для него нет каверзных вопросов, он заранее предвидит все возражения, у него всегда готов ответ. Именно он представляет французским литераторам Замятина, высланного из СССР, и добивается, чтобы те же французы приняли приглашение на учредительный съезд Союза советских писателей. Он ведет с ними беседы о великой русской литературе, особенно о Достоевском, убеждает в необходимости опубликовать письма молодых комсомольцев. (Впрочем, если бы эти комсомольцы прочитали его книги, они не преминули бы призвать его к ответу, как это вскоре сделает критик Шкловский.) Эренбург вместе с Мальро выступает на антифашистских митингах — после одного такого митинга он демонстрирует Мальро искореженный редакцией «Известий» текст своего выступления. Одним словом, перед нами снова Хулио Хуренито в окружении учеников. Артур Кестлер, венгерский коммунист, живший в Париже на положении эмигранта, публикует в 1933 году «Дневник Ульриха», историю молодого человека, исключенного из коллектива и живущего в разладе со временем. Ульрих обретает утешение, читая повесть Эренбурга «Москва

слезам не верит», написанную в 1932 году: он видит себя таким же новым Вертером, «умирающим от любви к пролетариату»[308].

В первой половине года Эренбург публикует в СССР ряд статей, посвященных современной французской литературе: в мае выходит его статья о Мальро. Роман «Удел человеческий» принес автору успех и Гонкуровскую премию, но тем не менее самое большое значение он придает статье Эренбурга о своей книге[309]. О чем же эта статья? О том, что Мальро — «писатель переходного времени»[310]: его трагедия в том, что ему не под силу выбрать между прошлым, насыщенным культурными комплексами, и будущим, несущим «простоту, если угодно, известную примитивность», так как «культура молодого класса неминуемо отличается монолитностью, которую, отталкиваясь от нее, можно выдать и за грубость»[311].

Насколько серьезно сам Эренбург относится к советам, которые он так охотно дает Мальро? Готов ли он сам приобщиться к «божественной простоте» пролетарской культуры? Читая его статью о сюрреалистах, можно, пожалуй, в это поверить. Поэты-сюрреалисты представлены в ней как компания сексуальных извращенцев, практикующая онанизм, педерастию, фетишизм, эксгибиционизм, даже скотоложство; а их сочинения не что иное, как опусы умалишенных; «Я не знаю, больные эти люди или только ловкачи, которые работают под сумасшедших»[312]. Парижские сюрреалисты никогда не отличались деликатностью выражений, и их полемика в 1933 году с «L'Humanite», Барбюсом и Арагоном была на редкость грубой. Но тот, кого именуют теперь «голосом советских писателей», намного их перещеголял; он, что называется, «переходит на личности». Помнит ли он при этом, как всего десять лет назад в Берлине некий Не-Буква, эмигрантский критик и журналист, объявил его самого душевнобольным? И как этот самый Не-Буква судом чести немедленно был исключен из литературного сообщества? Другие времена, другие нравы. В Париже статьи Эренбурга нравятся. На следующий год его эссе о французских писателях, включая и филиппику против сюрреалистов, выйдут в издательстве «Галлимар».

Движение интеллектуалов против войны возникло в 1932 году в Амстердаме по инициативе Анри Барбюса и Ромена Роллана. В 1933 году оно набирает силу. Приход к власти немецких нацистов, аутодафе на берлинских улицах уничтожили последние сомнения. Европейский антифашистский конгресс, проходивший в Париже в зале Плейель, стал его апофеозом. В нем участвовали как различные антифашистские течения, так и

левые партии. Солидарность с СССР была не просто статьей в уставе МБРХ; сочувствие делу освобождения труда и восхищение революционными достижениями Советского Союза стали краеугольным камнем сопротивления нацистскому варварству, условием защиты демократии.

Русская литература находится в большом почете. Эренбург пишет Лидину: «Я ждал Вас здесь. Надеюсь, что скоро соберетесь. Хорошо, если приедете в Париж, так как здесь теперь настроения благоприятные, и я полагаю, что приезд совписателей во всех отношениях полезен»[313]. Ситуация благоприятна и лично для него. Его очерки о Германии и Франции привлекли внимание в Москве. В марте 1934 года после подавления рабочего восстания в Вене, возглавленного социал-демократами, Эренбург сумел пробраться в столицу Австрии, а оттуда переправиться в Чехословакию, где нашли убежище многие шуцбундовцы. Однако внимание, которым он пользуется в Москве, вовсе не подразумевает полного доверия: «В Чехо-Словакии я работал день и ночь: опросил детально множество участников австрийских событий, потом написал цикл статей. Всего написал листа три. Эти статьи уже переводятся на французский, английский и чешский. Я придаю им значение, так как наша информация в данном случае не стояла на высоте. Очень будет обидно, если Гр. Е. <Цыпин, редактор „Известий“> их напечатает в сокращенном виде»[314].

Чем больший вес приобретает Эренбург, тем больше правят, подчищают и дополняют его статьи; но тем решительнее и он отстаивает свое мнение. Он сделал свой выбор, он стал солдатом на службе государства, борцом за дело Советов, он готов подчиняться военной дисциплине, царящей в лагере социализма, но внутри этого лагеря он требует свободы и уважения. Перековавшийся, связанный по рукам и ногам, принявший все условности советского стиля, он тем не менее борется за свою независимость: «Мое категорическое условье применительно к этой статье — ничего не выкидывать: статья и так на грани возможного по отношению к стране[315]. Поэтому ничего не выкидывать „хорошего“ о Франции — особенно конец. <…> Итак, если статья не может пойти в таком виде, то пусть ее не печатают вовсе. Вы понимаете сами, почему я так настаиваю: во-первых, я живу в Париже, во-вторых, я считаю, что сейчас неуместны к<акие>-л<ибо> чрезмерные нападки на Францию»[316].

Поездка Мальро в Берлин по поручению Комитета защиты Димитрова и Гонкуровская премия, полученная за роман «Удел

человеческий», сделали его фигурой первого плана. Эренбург настойчиво добивается приезда Мальро на Первый всесоюзный съезд советских писателей. В то время как Андре Жид долго колеблется, тянет с ответом и в конце концов отклоняет приглашение, Мальро сразу его принимает. Более того, он соглашается принять участие в подготовке платформы «широкого фронта», которая должна противостоять «узкому фронту», возглавляемому Карлом Радеком, членом исполкома Коминтерна. Эренбург часто приглашает французских друзей в свою шумную двухкомнатную квартирку на улице Котантен, только что снятую им с помощью одного из друзей, Анатоля де Монзи. Константин Федин, бывший член «Серапионова братства», элегантный, образованный, настоящий европеец, будучи проездом в Париже, присутствует на одной из таких встреч, где рассказывает собравшимся, что с 1932 года в литературной жизни Советского Союза произошли колоссальные перемены; однако догматиков еще немало, и их предстоит убрать с дороги. Борьба разных направлений действительно имела место, и Эренбург еще не один раз ловко использует свои связи среди западной интеллигенции, чтобы несколько обуздать узколобый фанатизм советских руководителей. С другой стороны, он сумел внушить своим французским друзьям (нужно было еще добиться, чтобы его правильно поняли), что отнюдь не обязательно превращаться в рьяных большевистских идеологов, чтобы внести свой вклад в общее дело. И вот Андре Мальро настойчиво советует Андре Жиду более твердо выразить свою приверженность индивидуализму в обращении к писательскому съезду в Москве: «У меня есть основания полагать, что Эренбург не будет на вас в претензии за вашу поддержку: благодаря ей он сможет придать дополнительный вес своим идеям и усилить позиции той группы писателей, которая явно не принадлежит к большинству»[317].

Всеобщая мобилизация писателей: съезд в Москве…

В мае 1933 года Эренбурги вместе с Андре и Кларой Мальро отправляются в Лондон, где садятся на пароход, доставивший их прямо в Ленинград: тем самым им удалось обойтись без немецких виз. Путешествие было трогательным. Оба писателя только что опубликовали романы, в которых в полной мере проявился не только их талант, но и общественная позиция. Оба полны творческих планов: Довженко предложил Мальро экранизировать «Удел человеческий». Эренбург совместно с американским кинорежиссером Льюисом Майлстоуном (снявшим «На Западном фронте без перемен») только что закончили сценарий по роману «Жизнь и гибель Николая Курбова». Оба только что вернулись из интереснейших путешествий: Мальро из Аравии, где ему удалось пролететь над столицей царицы Савской, а Эренбург из Чехословакии, где его принял президент страны Эдуард Бенеш. Димитров был освобожден, антифашистскому движению удалось мобилизовать во Франции внушительное число писателей и интеллектуалов. С борта парохода они видят берега Германии, где, по их убеждению, вот-вот рухнет нацистский режим; преисполненные гордости, они торжественно вступают на землю первого в мире социалистического государства, где их ожидают сотни других писателей, также преданных общему делу. «Завоеватели» готовятся к встрече с «победителями»: именно Съездом победителей, объявил себя состоявшийся тремя месяцами раньше XVII съезд ВКП(б), на котором правая и левая оппозиции сплотились вокруг Сталина. Бухарин, вернувший себе расположение вождя, был назначен главным редактором «Известий», роль его в отношении старого друга Ильи стала иной.

В течение пятнадцати дней Колонный зал в Кремле был свидетелем того, как создавалось единое сообщество литераторов. В Союз писателей приняты две тысячи человек; по расчетам Горького, еще десять тысяч «учеников» ожидают у дверей. Писателей собрали, чтобы они смогли в полной мере ощутить неразрывную связь с народными массами, с великим Сталиным, с партией, с тружениками городов и сел. Их пригласили, чтобы дать им возможность восхищаться Председателем Союза, живой легендой — Максимом Горьким, слушать разглагольствования секретаря ЦК Андрея Жданова о новом творческом методе, получившем название «социалистического реализма». За десять минут Жданов сумел не

только изложить историю мировой цивилизации, но и порекомендовать писателям темы для произведений (подготовленные участниками комсомольских литкружков), а заодно, следуя указаниям вождя, окрестить их «инженерами человеческих душ». Все это было так ново, так необыкновенно, что Горького, на его беду, приветствовали горячее, чем Сталина, — этот энтузиазм не сошел пролетарскому классику с рук: генсек таких вещей не забывал и не прощал.

Наши друзья — Мальро и Эренбург — с должной серьезностью подготовились к событию. Мальро, кажется, лучше своего друга понял политическую подоплеку происходящего; выступая на съезде, он через головы писателей обращается прямо к партийному руководству, призывая предоставить художникам больше свободы и оказывать им больше доверия. Эренбург, напротив, произнес настоящую речь литератора, где главное место занимали спорные вопросы о методе, целях и задачах социалистической литературы. Любопытно, что при этом он вступал в полемику не с Карлом Радеком, а с Максимом Горьким. В чем же он мог упрекнуть великого пролетарского писателя? Они даже не были знакомы друг с другом: в течение многих лет, которые оба провели на чужбине, между ними не завязалось личных отношений. И вот, встретившись в Кремле, оба осознали, что их судьбы перекликаются: оба в какой-то момент отреклись от прошлого в обмен на право вернуться в Россию, обрести на родине почет и материальные блага. Не будучи ни «великим», ни «пролетарским», ни даже «первым» писателем, Эренбург стремится утвердить себя на чисто литературном поприще. Он оспаривает ключевой тезис Горького, согласно которому главным героем новой литературы должен стать труд. В своей речи Эренбург высмеивает абсурдность «ведомственного» и «статистического» подхода к литературе, «коллективного творчества», «бригадных методов работы», отстаивая право художника быть самим собой: «…создание художественного произведения — дело индивидуальное, скажу точнее — интимное. Убежден, что литературные бригады останутся в истории нашей литературы как живописная, но краткая деталь юношеских лет». Он протестует против использования в литературе «нормы производительности», защищает Бабеля, Пастернака и Олешу, которые с 1927 года не «производят» новых книг: «Я вовсе не о себе хлопочу. Я лично плодовит, как крольчиха, но я отстаиваю право за слонихами быть беременными дольше, чем крольчихи. Когда я слышу разговоры — почему Бабель пишет так мало, почему Олеша не написал в течение стольких-то лет нового романа, почему нет новой книги

Пастернака и т. д. <…> я понимаю, что не все у нас понимают сущность художественной работы. Есть писатели, которые видят медленно, есть другие, которые пишут медленно». Он доказывает, что поэт «имеет право на сложность» — таковы и Пастернак, и Маяковский. Независимые заявления Эренбурга многим пришлись не по душе, и некоторые выступавшие злорадно отмечали «въедливые, как ядовитый микроб», «дьявольски живучие остатки» «мелкобуржуазного прошлого» этого писателя, чье сознание так по-настоящему и не изменилось в условиях «социалистического переустройства страны»[318].

Эренбурга также волнуют проблемы «советского стиля»: доминирующий в настоящее время неоклассицизм не является, по его мнению, искусством победившего пролетариата. Себя он считает «одним из тех писателей, которые неуверенно ищут новой формы, соответствующей новому содержанию»[319], как это происходило в начале двадцатых годов. «Простоту не следует путать с примитивизмом», — заявляет он, забывая, что еще недавно в статье о Мальро он превозносил «известную примитивность» пролетарской литературы!

По окончании съезда группа писателей была приглашена на дачу к Максиму Горькому. Их принимали члены Политбюро, присутствовавшие на съезде: Бухарин, защищавший идею «широкого фронта» и подвергшийся жестоким нападкам со стороны бывших рапповцев, Радек, лидер «узкого фронта», а также Ворошилов, Молотов, Каганович. Были на даче и знаменитые зарубежные гости. Позже в своих мемуарах «Люди, годы, жизнь», в главе, посвященной еврейскому вопросу, Эренбург расскажет о странном разговоре, состоявшемся у него с Лазарем Кагановичем. Секретарь ЦК партии и председатель Моссовета вдруг стал ему объяснять, почему его роман 1927 года «Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца» не мог быть напечатан в СССР: «Книга им нравилась, но, к моему великому удивлению, они добавляли, что в книге почувствовали антисемитизм, а это нехорошо. <….> Л.М. Каганович сказал, что, по его мнению, роман страдает еврейским национализмом. Я снова удивился»[320].

Беседа удивительная, ничего не скажешь. Эренбург уже давно не вспоминал об этой книге, она относилась к эпохе, предшествующей его «революционной ломке», а вот к попытке издать в СССР отвергнутый роман «Единый фронт» он возвращался не раз. Если власть действительно сочла бы нужным вынести Эренбургу выговор за антисемитизм, то это следовало бы сделать не по поводу полузабытого «Лазика Ройтшванеца», а из-за только что вышедших в свет его репортажей из Чехословакии и

Германии; самое меньшее, что о них можно сказать, — они написаны в духе его публицистики 1929 года:

«Лет пять назад я спрашивал себя: на кого похожи хасиды? На инквизицию или на готтентотов? Теперь я твердо знаю: хасиды похожи на немецких фашистов. Они тоже стоят за расовую чистоту. Горе нечестивцу, который пройдет по улице с карпато-русской девушкой. Его осыплют оскорблениями <…> У хасидов имеются также свои „рубашки“: позорный „лапсердак“, придуманный когда-то католическими изуверами, они превратили в почетное одеяние, свидетельствующее о чистоте идей. Наконец, у хасидов есть свой „фюрер“. Зовут его Спиро, и проживает он в городе Мукачеве. Правда, это не канцлер, но цадик, однако, когда он выезжает из своего пышного дома, тысячи беснующихся хасидов давят друг друга, чтобы дотронуться рукой хотя бы до его кареты. <…> На досуге цадик читает различные подозрительные опусы. Я не знаю, знаком ли он с „Капиталом“ Карла Маркса, но я убежден, что он хорошо изучил „Мою борьбу“ Адольфа Гитлера. Великие умы еще раз сошлись»[321].

Когда Эренбург объяснял французским писателям в Париже, что диктатура в Советском Союзе является временной необходимостью, он, быть может, и сам в это верил. Но в Москве верить в это было гораздо труднее. Вот лишь один из примеров — трагедия его старинного друга Осипа Мандельштама. В 1933 году Мандельштам написал стихи о терроре и «кремлевском горце»:

Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлевского горца.

Мандельштам показал стихи Эренбургу, тому они не понравились. «Это не поэзия», — изрек он, внезапно превратившись в поборника чистого искусства. За несколько дней до открытия писательского съезда Мандельштама арестовали; крупнейшее событие литературной жизни он встретит в ссылке — в Чердыни на Северном Урале. Когда Бухарин поведал другу своего детства, что «кремлевский горец» уже знает об этих стихах, а начальник ГПУ Ягода даже выучил их наизусть, стало ясно, что приговор Мандельштаму обжалованию не подлежит. Тем не менее Эренбург, приехав в Советский Союз в 1936 году, отправится навестить Мандельштамов, которым было разрешено переехать поближе к столице, в Воронеж. Оттуда он увез с собой

несколько стихотворений поэта, долгие годы хранил их и вернул широкой публике после смерти Сталина[322].

Другое открытие: он вдруг понимает, что великий Горький, «первый писатель», живет у себя в особняке, словно в тюрьме, его окружение в заговоре против него. Вернувшись во Францию, Эренбург скажет своему бельгийскому другу Францу Элленсу: «К сожалению, всего открыть я не могу. Повсюду любопытные уши. Достаточно и того, что я вам рассказал»[323]. Наконец, Эренбург отдает себе отчет и в том, что его французские друзья разочарованы и даже шокированы узколобостью большевистских руководителей. Жан-Ришар Блок, потеряв терпение, почти кричал Радеку с трибуны московского съезда: «Предупреждаю вас, что если вы будете упорствовать в осуждении свободы личности, то этим вы подтолкнете самые широкие массы на Западе к фашизму. Вы этого добиваетесь?»[324]

Так как же быть? Смириться в подобной ситуации означало похоронить надежду на создание широкого советско-французского фронта и поставить крест на всех затраченных усилиях. Эренбург решает идти напролом: его вдохновляет недавняя победа в борьбе за публикацию романа «День второй». Тринадцатого сентября 1934 года из Одессы, где он задерживается в ожидании парохода, которым должен вернуться во Францию, Эренбург пишет письмо Сталину. Мы приводим выдержки из этого письма, которое хранилось в архиве Института Маркса — Энгельса — Ленина при ЦК КПСС:

«Всесоюзный съезд писателей сыграет огромную роль в деле привлечения к нам западноевропейской интеллигенции. На этом съезде впервые вопросы культуры и мастерства были поставлены во всем объеме, соответственно с ростом нашей страны и с ее правом на общемировую духовную гегемонию. <…> Можно смело сказать, что работа съезда подготовила создание большой антифашистской организации писателей Запада и Америки».

Далее он выражает сожаление, что состав заграничных делегаций не соответствовал «весу и значимости подобного явления», в них отсутствовали серьезные представители западноевропейской и американской литератур. Главной причиной непредставительности списка и «низкого состава» иностранных делегаций является «литературная политика МОРПа и его национальных секций, которую нельзя назвать иначе, как рапповской».

Он считает, что в настоящее время «положение на Западе чрезвычайно благоприятно: большинство наиболее крупных, талантливых, да и наиболее известных, писателей искренно пойдет за нами против фашизма. Если бы вместо МОРПа

существовала широкая антифашистская организация писателей, в нее тотчас бы вошли такие писатели, как Ромен Роллан, Андре Жид, Мальро, Ж.-Р. Блок, Барбюс <…> Томас Манн, Генрих Манн, Фейхтвангер <…> Драйзер, Шервуд Андерсон, Дос Пассос <…> Скажу короче: такая организация за редкими исключениями объединит всех крупных и непродажных писателей.

Политическая программа такой организации должна быть очень широкой и в то же время точной:

1) Борьба с фашизмом.

2) Активная защита СССР.

Западноевропейская и американская интеллигенция прислушивается к „крупным именам“. Поэтому значение большой антифашистской организации, возглавляемой знаменитыми писателями, будет весьма велико.

Простите, уважаемый Иосиф Виссарионович, но мне кажется, что и помимо нашей литературной области такая организация теперь будет иметь общеполитическое боевое значение»[325].

Известна и реакция Сталина на это предложение: 23 сентября вождь переслал письмо Эренбурга Кагановичу с запиской: «Прочтите письмо т. Эренбурга. Он прав. Надо ликвидировать традиции РАППа в МОРПе. Это необходимо. Возьмитесь за дело вместе со Ждановым. Хорошо бы расширить рамки МОРП (1. Борьба с фашизмом, 2. Активная защита СССР) и **поставить во главе МОРПа**[326] т. Эренбурга. Это большое дело»[327].

Неужели Эренбург назначен лично товарищем Сталиным главой международного фронта деятелей культуры? По приезде в Париж писателя вызывает на беседу советский посол во Франции: оказывается, Сталин выразил желание лично обсудить с «товарищем Эренбургом» проект новой организации, так что ему предстоит спешно вернуться в Советский Союз. Первого декабря Эренбург снова в Москве. И вдруг, как гром среди ясного неба грянула новость: убит Сергей Миронович Киров, первый секретарь Ленинградского обкома партии, влиятельный член Политбюро, не боявшийся возражать Сталину. «…Я отправился в „Известия“, зашел к Бухарину, на нем лица не было <…> К горю примешивалась тревога: кто, почему, что будет дальше?»[328] Гораздо позже, на XX съезде партии Хрущев даст понять, что убийство Кирова могло быть делом рук Сталина. Но тогда, в декабре 1934-го, трагическое событие послужило поводом для колоссальной чистки: было объявлено, что вся страна кишит врагами и террористами, и был выдвинут лозунг ответного террора. В маховик запущенной карательной машины попадают тысячи «сообщников» совершенного преступления; в первую

очередь — члены партии и жители Ленинграда.

Личная встреча Эренбурга со Сталиным так никогда и не состоится. Тем не менее решение вождя, принявшего писателя «на службу» советскому государству, осталось неизменным: Эренбурга отправляют назад в Париж для работы над его проектом.

…и конгресс в Париже

Сразу по возвращении Эренбург в двух своих крохотных комнатках на улице Котантен собирает будущий штаб новой писательской организации. Это прежде всего Мальро, затем — Леон Муссинак, Жан-Ришар Блок, Роже Вайян-Кутюрье, Луи Арагон, Луи Гийу… Используя дипломатические таланты Мальро, он трудится изо всех сил, чтобы примирить воинствующие литературные группы, не отпугнуть ни католиков, ни сюрреалистов, растворить в общей массе сторонников Троцкого. С самого начала ему предстояло столкнуться с сильным соперником — Анри Барбюсом. Автор первой биографии Сталина, Барбюс вел себя как полноправный хозяин, — именно он объявляет о создании Международной лиги писателей и выпускает по этому поводу манифест.

В Москве дело обновления МОРПа было поручено главному редактору «Правды» Михаилу Кольцову. Эренбург познакомился с ним еще в Киеве в 1918 году, когда город был занят красноармейцами; позже они встречались в Париже, в 1932 году. Члены Коминтерна, знавшие его и в СССР, и в Испании, вспоминали о нем с уважением как о журналисте выдающегося ума, блестяще образованном (Кольцов владел многими иностранными языками), пылком коммунисте, не испорченном властью. В ходе подготовки конгресса Эренбург регулярно сообщает о ходе дел Кольцову и Щербакову, которому ЦК поручил фактическое руководство Союзом писателей. В январе 1935 года он жалуется на своеволие Барбюса: «Самое грустное, что благодаря Удиану (секретарь Барбюса. — *Е.Б.*) пошли толки, что деньги московские. Он хвастал: снимем роскошную квартиру, достали много денег <…> Разговоры о деньгах и манифесте пошли далеко и много заранее испортили. Я думаю, что Барбюс после рассылки своего неудачного манифеста должен теперь, хотя бы на первое время, скрыться, чтобы не приняли возможную новую организацию за его проект. <….> Надо ли говорить о том, что все это делается именем того, с кем Барбюс в свое время беседовал»[329].

Имя, которое не произносит Эренбург, — Иосиф Виссарионович Сталин.

Если не считать истории с Барбюсом, в остальном подготовка к конгрессу идет успешно: «Мальро горит. (Ж.-Р.) Блок пылает. Геенно и Дюртен следуют. Жид поддается. Может прийти такой человек, как Жироду, не говоря уже о Мартен дю Гаре. В Англии обеспечен Хекслей. Мыслимо — Честертон и Шоу. Томас Манн

тоже сдался. В Чехословакии Чапек. Но, конечно, все это отпадает, если организация будет удиановская»[330].

Однако Эренбург недооценивает сложных расчетов Москвы. Сталин настаивает на том, чтобы не придавать конгрессу слишком антигерманской направленности. Завладеть европейским интеллектуальным фронтом — да, он об этом, но не допустить на трибуну неблагонадежных. Советская печать молчит о предстоящем конгрессе, и Эренбург начинает беспокоиться. Он звонит Кольцову в Москву: «Довольны ли вы, что мы прекратили споры и помирились?» — «Очень довольны, — последовал ответ Кольцова. Давно пора. Ведь пять месяцев ушло на непринципиальные препирательства»[331].

«Я сообщил ему, — пишет Кольцов в отчете о телефонном разговоре с Эренбургом, — что московские товарищи намерены предварительно посоветоваться и решить размеры и формы участья в конгрессе. Я сообщил ему, что пока не очень целесообразно подчеркивать участие *широкой* советской делегации на конгрессе. Это с самого начала придало бы ему слишком ярко выраженный „московский“ характер. Сообщать о возможности участия Горького в конгрессе пока преждевременно. В остальном — советские писатели приветствуют начало активной работы и сдвиг с мертвой точки»[332].

В письме Щербакову Кольцов обрушивается на халатность организаторов «в отношении возможных сюрпризов»: французы даже не додумались установить «номенклатуру» делегатов и готовы допустить на конгресс всяческих троцкистов и других антисоветских либералов. В этом вопросе роль Эренбурга, безусловно, ключевая; отношения между ним и Кольцовым «пока сносные, хотя он [Эренбург] все время пытается играть роль арбитра между Европой и Азией»[333].

Пощечина Андре Бретона

Среди утомительных парижских встреч и отчетов перед московским начальством Эренбург ухитряется найти время, чтобы написать новую повесть «Не переводя дыхания», ряд статей для «Известий» и совершить краткую поездку в Саар. Он живет в бешеном, лихорадочном темпе, которому позавидовал бы его герой, неугомонный «король военной промышленности» Вульф Вайнштейн. Получилось, что как раз Эренбургу и удалось стать настоящим «королем» современности, сумевшим возглавить международное братство писателей. Конечно, среди них были и такие, кто подозревал, что стал объектом манипуляций, однако угроза фашизма заставляет отбросить все сомнения. Конгресс в защиту культуры был, что называется, обречен на успех: все крупные европейские и американские писатели, в конце концов, дали согласие принять в нем участие. Но Эренбург, при всей своей активности и видимых успехах, увы, был невезучим человеком. В последний момент победа чуть не выскальзывает у него из рук. Конгресс должен открыться 21 июня 1935 года. За несколько дней до этого в табачной лавке на бульваре Монпарнас он неожиданно сталкивается лицом к лицу с Андре Бретоном. Бретон только что прочитал разгромную статью Эренбурга о сюрреалистах. Представившись, он отвешивает автору статьи здоровенную пощечину. Эренбург не стал лезть в драку. Месть — блюдо, которому надо дать остыть. Взбешенный, униженный, он убеждает своих соратников по оргкомитету, что Бретон вел себя как фашист, и поэтому он должен быть исключен из числа делегатов конгресса. В случае отказа Эренбург покинет конгресс вместе со всей советской делегацией. Шантаж возымел действие: по всей видимости, французская делегация сочла пощечину Бретона несовместимой с идеей «защиты культуры». Интересно, кто из них читал статью Эренбурга? Очевидно, очень немногие. Уговаривать пришлось только Рене Кревеля, поэта-сюрреалиста, друга Бретона и члена оргкомитета конгресса: тот настаивал на компромиссе. Призывы к примирению ни к чему не привели. Несколько дней спустя Рене Кревель покончил с собой. Вот как рассказывает об этом событии Эренбург в своих воспоминаниях: «От его друзей — от Клауса Манна, от Муссинака — я узнал, что сам, о том не подозревая, сыграл в этой трагической истории некоторую роль. <…> Все это было в нравах сюрреалистов, и вот вздорная история стала последней каплей для Рене Кревеля. Конечно, капля не чаша, но мне тяжело об этом вспоминать»[334]. Тем не менее он об этом вспоминает, умалчивая, однако, о

шантаже, который предшествовал самоубийству Кревеля, страдающего туберкулезом и депрессиями, раздираемого дружбой и политикой, сюрреализмом и коммунизмом: скорее всего этот разлад и довел несчастного поэта до кризиса, который он не смог преодолеть.

Накануне открытия конгресса станет известно, что Горького в составе советской делегации не будет. Для Эренбурга, как мы знаем, это не было неожиданностью, но французские организаторы пришли в бешенство: они почувствовали, что остались в дураках. Мальро решает, что этот номер не пройдет: в сопровождении Андре Жида и Эренбурга он отправляется к советскому послу с требованием включить в состав советской делегации Бабеля и Пастернака. Если уж не Горький, то пусть эти двое представляют русскую литературу, а не член ЦК партии А.С. Щербаков, журналист Михаил Кольцов и два никому неизвестных литератора из нацменьшинств.

Конгресс длился пять дней. Как написал не лишенный проницательности Жюльен Бенда, «это был разгул любви, примирение противоположностей… Словом, много сердечности, много доброй воли, но больше всего благих намерений»[335]. Писатели преисполняются чувством собственной значимости и силы. Сам Эренбург, после года усилий, затраченных на осуществление своего проекта, после угрозы срыва, нависшей в последнюю минуту, уходит в тень. Так велел Кольцов: не годится, чтобы «влияние Москвы» слишком бросалось в глаза. Он уступает сцену Андре Жиду, который произносит речь памяти Кревеля, и Элюару, зачитавшему письмо отсутствующего Бретона. Не Эренбург, а Николай Тихонов отвечает на поднятый писателями вопрос о Викторе Серже, бельгийском писателе и анархисте, переехавшем в СССР еще в 1919 году: примкнувший к троцкистской оппозиции Серж был арестован по обвинению в покушении на Кирова и отправлен в лагерь. Речь Эренбурга прошла незаметно, что не помешало ему быть избранным вместе с Кольцовым в секретариат созданной на конгрессе Международной ассоциации писателей в защиту культуры. Выполнив свою задачу, Эренбург решает, что он честно заслужил отпуск, и отправляется на отдых в Москву.

Эренбург среди «своих»

Да, Эренбург собирается отдохнуть в Москве — ведь впервые с 1908 года у него появилась в Москве собственная квартира. Создав Союз писателей, Сталин не просто освободил его членов от засилья литературных группировок, но и окружил их заботой социалистического государства. Государство гарантировало им тысячные тиражи, переводы на все языки многонационального Советского Союза и громадные по тем временам гонорары. Писателям выделялись квартиры, для них строились дома, даже целые поселки. Поэтому Эренбург с Любой смогли поселиться в писательском доме, в прекрасной квартире в Лаврушинском переулке в самом центре Москвы, а через два года приобрести дачу в писательском поселке Переделкино.

Похоже, все его надежды, все планы сбывались: и материально, и психологически он теперь всюду дома — и во Франции, и в России, и в Париже, и в Москве. И все же, сколько бы он ни повторял, что является частью этого мистического «мы», ему никак не удается полностью вписаться в советскую действительность. Вот как вспоминает о нем писательница В.А. Герасимова: «Вообще, в нем не было ни барства, ни желания чем-то казаться, скорее всего доброжелательное внимание. Просто он был нам („пролетарским“, как долго именовалась обширная группа литераторов) не совсем понятен, чужд даже и обликом своим — уже тогда в берете! с трубкой! Трубка, как нечто выразительное, дополнявшее облик, воспринималась только у одного человека! Да и запах „заграничного“ табака эренбурговской трубки был не наш, и усталое — какой-то особой усталостью — лицо хотя и импонировало, но казалось тоже каким-то заграничным»[336].

Иностранцем ощущает себя Эренбург на собраниях и конференциях: он еще не вполне овладел ходульным лексиконом и дежурными ритуалами. Иностранцем он чувствует себя и в своем доме, где парадный вход отделан мрамором, а шикарные новые квартиры заселены писателями-номенклатурщиками; иностранцем — на улицах Москвы, где сносятся, по приказу Кагановича, старинные церкви и околокремлевские древние постройки; как иностранца воспринимают его собратья по цеху, чьей бурной литературной жизни он недавно еще завидовал, а теперь пугается их угрюмых лиц, глаз, в которых нет ничего, кроме неприязни и страха. Борис Пастернак, в самый последний момент делегированный на парижской конгресс, произвел там тяжелое впечатление. Он рассказывал о своей годовой

бессоннице, о глубочайшей депрессии после поездки в деревню вскоре после раскулачивания. Поселившись в Москве, Эренбург понял, что Пастернак вовсе не исключение: сосланный в Воронеж Осип Мандельштам попал в психиатрическую лечебницу, Михаил Булгаков посещает психиатра, лечится от приступов душевной болезни… Иностранцем чувствует он себя и в своей новой роли. Седьмого ноября во время обычной демонстрации на Красной площади пионеры несут составленные из цветов лозунги «Да здравствует лучший друг пионеров товарищ Сталин!», «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!». После романа «День второй» Эренбург считался специалистом по советской молодежи — как же ему не радоваться при виде такого проявления счастья? Но как при этом забыть, что «лучший друг пионеров» только что утвердил новый закон, по которому дети начиная с двенадцатилетнего возраста, несут полную уголовную ответственность, включая применение высшей меры наказания? Действие этого закона распространилось бы и на маленьких героев «Проточного переулка»… Ему объясняют, что новый закон знаменует великое достижение советской системы образования: в СССР дети взрослеют гораздо быстрее, чем на Западе.

Однажды поздно вечером Эренбург, возвращаясь домой вместе с немецким коммунистом Густавом Реглером, рассказывает ему анекдот: «Рано утром двое мужчин идут по совершенно безлюдной Красной площади. Они увлеченно разговаривают, как вдруг один из них наклоняется к собеседнику и шепчет ему на ухо: „Осторожно, нас подслушивают“. — „Кто? Нас ведь только двое!“ — удивленно отвечает ему товарищ. „Вот именно!“»[337] Боялся ли Эренбург? Конечно, боялся, как и все, дышавшие московским воздухом того времени. Но больше, чем страх, его терзала мысль о том, что он допустил роковую ошибку, несмотря на свое фантастическое чутье и богатый жизненный опыт: дело, которому он решился служить, оказалось Молохом, требовавшим человеческих жертвоприношений. Эренбург приглашается на митинги стахановцев, где его охватывает настоящая паника при виде истерического восторга собравшихся по поводу «корифея человечества». Он пытается убедить себя, что взрывы неистовых аплодисментов при каждом упоминании имени Вождя, непрекращающиеся пронзительные выкрики из зала ничем не отличаются оттого, что он видел на митингах в Париже, когда толпа в едином порыве вскидывала сжатые кулаки. Однако эта «диалектика» хромает, ему не удается обмануть себя, но он уже попал в шестеренки безжалостной машины. С писательского собрания он отправляется бегом на встречу с молодежью, с митинга рабочих — на съезд кинематографистов. Он

поддерживает лозунги, выступает с речами, иногда позволяя себе выразить сомнение или оживить выступление интимной интонацией, но в финале всегда звучит неизменное «славься!», что сводит на нет его слабые фрондерские попытки. Почти каждый день происходят «встречи с читателями» — ритуальное мероприятие, цель которого — обеспечить работникам пера непосредственный контакт с «массами трудящихся». Эренбургу нравятся эти встречи: неважно, настроена аудитория доброжелательно или враждебно — в любом случае для него это отдушина: он может оставаться самим собой.

Хотелось бы верить, что при всей своей растерянности, подавленности, утрате ориентиров, Эренбург все-таки имеет представление о том, что происходит в стране. Но если это так, то чем можно объяснить его поступок, воспринятый большинством как провокация? Он ведь знает, что Сталин занят пересмотром истории русской революции да и истории России вообще. Он знает, что все, включая историков, старых большевиков и выдающихся деятелей искусства, ведут себя тише воды ниже травы, безропотно соглашаясь позабыть свое прошлое. Так какой демон-искуситель подтолкнул его сделать ставку на искренность, рассказать о своих метаниях и ошибках — словом, написать автобиографическую книгу?

В одной из своих книг журналист Альбер Лондр рассказывает о поразившей его встрече: в каком-то городке где-то в Центральной Европе он заметил еврейского юношу, который резко выделялся среди прочих — держался прямо, шел с поднятой головой, не жался по стенам. Оказалось, этот молодой еврей приехал из Палестины, и в отличие от своих единоверцев он знал, что у него есть родина, почва под ногами. В случае с Эренбургом происходит что-то похожее: роль Палестины для него играет Европа, Франция, Париж. Такого тыла не было у советских людей. Отсюда и его высокомерно-усталый вид, несуразный берет, вызывающая трубка, сарказм, язвительные выпады и, наконец, странная идея написать автобиографию в 1935 году.

Несмотря на статус официального советского писателя, на уважение, выказываемое ему «верхами», он все-таки остается в кругу подозрений. Он постоянно объясняется, заверяет в своей преданности, но упорно сопротивляется главному требованию: обязательному ритуалу самокритики. В этом он неумолим. Вот, например, какими словами заключает он свою речь на обсуждении романа «День второй» в Союзе писателей: «Я чувствую себя сегодня как один из строителей Беломорстроя: грешил, но искупил свои грехи, допущен в ряды сознательных граждан, которые строят социалистическое отечество…

Уверенность, что нас, писателей, нужно судить, а мы должны каяться, на мой взгляд, неправильная»[338]. С тем же упрямством отвергает он и требования отредактировать свои ранние книги. Ему предлагают переиздать собрание сочинений начиная с «Хулио Хуренито». Главное условие, которое он выдвигает, — никаких купюр и сокращений. Его просят написать предисловие к роману. Он отвечает: «Собственно говоря, то, что я могу сказать, — это то, что книга написана в 1921, а теперь 1935. Конечно, несколько более пространно, но и только. Или о судьбе дальнейшей всех участников, не касаясь самого Хуренито. Предисловие должно быть выдержано в духе книги. Объяснить различье эпох могу, но „отмежеваться“, „покаяться“ и пр. — нет»[339].

Но атмосфера подозрительности, сложившаяся вокруг него, бесконечные двусмысленные намеки, выводят его из терпения. В конце концов он решается взять быка за рога: устав от постоянного напряжения и страха, он сам идет навстречу опасности. Добросовестно (но лишь отчасти), честно (но не слишком) он расскажет о себе всю правду, во всеуслышание поведает о своем прошлом, своих ошибках, обо всех трудностях пути, которые ему пришлось преодолеть для того, чтобы его признали «советским писателем». Эта исповедь, которую он назовет «Книгой для взрослых», далась Эренбургу нелегко. Его сковывает необходимость в той или иной форме покаяться. Он включает в автобиографическое повествование романную интригу, что выглядит довольно неуклюже. Одним словом, результат не из лучших, но, как уже было сказано, интерес этой исповеди не в литературных достоинствах. Пока книга готовится к изданию, ширятся сталинские репрессии против интеллигенции. Объявляется война «формалистам и формализму» в искусстве, публикуются «заметки» Сталина, Жданова и Кирова об ошибках в учебниках истории (написанные в 1934 году), начинается преследование тех, кто их распространял. В конце года бывший рапповец поэт Безыменский доносит Щербакову в ЦК после поездки в Париж: «Не могу развернуть информации о „работе“ Эренбурга <…> Но мое первое впечатление — *вреднейшая* деятельность Ильи двухдневного в отношении поэзии советской и не менее вредная в отношении многих французских дел, в частности к писателям-коммунистам»[340].

И все же Эренбург, вернувшийся в Париж в начале 1936 года, не отказывается от своего замысла. Чем больше препятствий, тем выше он метит. В марте он обращается к Кольцову с

предложением опубликовать отрывки из новой книги в «Правде»: «„Правда“, как Вы сами знаете, великая вещь. Притом я рад буду воспользоваться этой возможностью, чтобы появиться на страницах оного органа»[341]. Нужно сказать, что с некоторого времени отношения со старым другом и покровителем Бухариным стали несколько натянутыми: «Известия» часто отказываются от статей Эренбурга и подвергают их цензуре. Что же случилось? Или Бухарин не доверяет больше другу детства? Вполне возможно, и, кстати, он в этом не одинок: Кольцов тоже отклоняет предложение Эренбурга. Журнал «Знамя» дает принципиальное согласие на публикацию, но требует внести в текст изменения: по мнению редакции, книга недоступна для «простого колхозника», слишком заражена пессимизмом и не способствует укреплению боевого духа; там, где речь идет об искусстве, отсутствует решительная критика формализма, воспоминания о подпольной работе слишком легковесны. Эренбург нервничает, он раздосадован, но садится и переписывает почти половину книги, вычищая оттуда, например, «историю о штанах» — о том, как в разоренной Москве 1920 года «лорд-мэр Москвы», старый парижский знакомый Лазарь Каганович спас его приказом «Одеть т. Эренбурга», и другие куски, в которых его воспоминания о подполье и эмиграции могли звучать слишком иронично. «Если хотите, тема моей книги — героика, — пишет Эренбург главному редактору журнала „Знамя“. — Я говорю о героическом воздухе. <…> Если я при этом не ползаю на животе и не кричу истошно „простите меня“, то только потому, что не считаю подобные формы связанными с героикой воздуха, о которой я писал»[342].

Между тем в мае Кольцов публикует в «Правде» «письма читателей», содержащие критику в адрес Эренбурга. Бесспорно, он не единственный писатель, не сумевший потрафить вкусам трудящихся, однако его это задевает: «Все это очень прискорбно и очень серьезно»[343]. Плохие новости на этом не заканчиваются: 16 июня 1936 года официальный орган Союза писателей «Литературная газета» помещает пространную разгромную статью Исая Лежнева (еще один эмигрант, вернувшийся в СССР и зарабатывающий прощение), заведующего литотделом газеты «Правда». Французская пресса незамедлительно опубликовала отрывки из этой статьи. «Дело не в содержании, но в тоне, — пишет Эренбург М. Кольцову, обращаясь с просьбой опубликовать его ответ без сокращений. — Здесь иные понятия, и такой тон здесь применяется только к политическим врагам. На левые писательские круги это производит впечатление дезавуации. Я не могу понять полезности таких тыловых атак. Я апеллирую на этот

раз не к Вашему благорасположению, но к Вашему знанию заграничных условий»[344]. Ответа не последовало — у Кольцова были другие заботы. Дело в том, что два месяца назад НКВД (в который в 1932 году было преобразовано ГПУ) начал разгром «троцкистско-зиновьевского блока»: против Каменева и Зиновьева, старых товарищей Ленина, членов Политбюро, были выдвинуты обвинения в диверсии, убийстве Кирова и покушении на высокопоставленных партийных и государственных руководителей, включая лично Сталина. 18 июня умирает Максим Горький: смерти писателя предшествовало убийство его сына, который якобы скончался от болезни — но никого из тех, кто его знал, эта версия не обманула.

И вот как раз тогда, когда на Эренбурга сыпались эти страшные новости из Москвы, он узнает, что 18 июля в Испании вспыхнул военный мятеж против республиканского правительства. Накануне, в апреле, Эренбург провел в Испании две недели. Он полюбил эту страну, прекрасно знал ее литературу, в юности переводил средневековых испанских поэтов. Судьба испанской республики, провозглашенной в 1931 году, была ему небезразлична. В самой Испании защита республики быстро перерастает в гражданскую войну: народ поднимается на вооруженную борьбу с франкистами. Назревает социальная революция, у которой два главных лозунга: жечь церкви и делить землю. Коммунистическая партия не имеет в стране реального влияния, поэтому возглавят революцию кастильские социалисты под руководством «испанского Ленина» — Ларго Кабальеро и каталонские анархисты. Эренбургу не терпится включиться в борьбу. Его мало занимают события во Франции, где в это время формируется Народный фронт. Он бомбардирует редакцию «Известий» телеграммами, где просит разрешения отправиться в зону конфликта. Он еще не знает, что Бухарин практически утратил свое влияние и вот-вот будет снят с поста главного редактора. Единственный ответ, который Эренбург получает на свои письма, — ждать решения Москвы. Он набирается терпения, но вскоре узнает, что Кольцов уже в Мадриде и что ТАСС уже отправил в Испанию специального корреспондента от «Известий». Не тратя времени на размышления, он упаковывает свою пишущую машинку, прощается с женой и на свой страх и риск отправляется в страну, где вовсю идет гражданская война.

Глава VII
ГОДЫ ТЕРРОРА

Рабочий класс — последний класс, и в истории классов он будет смеяться последним.

Михаил Кольцов. Речь на Первом всесоюзном съезде советских писателей

Каталонские анархисты

Отъезд Эренбурга в Испанию был отчаянным поступком, актом открытого неповиновения; а может быть, у него была тайная надежда, что разрешение будет получено задним числом? Первого советского посла в республиканской Испании Марселя Израилевича Розенберга ожидали в Мадриде в конце августа; Кольцов уже был на месте. Однако наш строптивец отправляется прямиком в Барселону, в самое сердце comunismo libertario (свободного коммунизма). Он, впрочем, вовсе не ищет встречи с Хулио Хуренито и не собирается записываться в анархисты. Но в Барселоне он ощущает, что ему стало легче дышать; здесь возможно стереть из памяти жуткие впечатления от советской действительности. Среди гордых и улыбающихся людей, среди сражающегося народа он почувствовал, что возвращается к жизни: «Фашизм наступал и наступал безнаказанно <…> И вот нашелся народ, который принял бой. Себя он не спас, не спас и Европы, но если для людей моего поколения остался смысл в словах „человеческое достоинство“, то благодаря Испании»[345]. Как сказал Густав Реглер, в окопах Гвадалахары каждый думал о своем собственном диктаторе: кто о Франко, кто о Муссолини, кто о Гитлере, а кто-то и о… Но среди советских людей в Испании очень мало было таких, как, например, корреспондент «Известий» М.С. Гельфанд, вместе с которым Эренбург мог порадоваться, что они сидят под бомбами франкистов, а не в Москве на заседании Союза писателей.

Эренбург провел в Барселоне месяц, уделяя мало времени своим обязанностям журналиста. Первое «Письмо из Испании» появилось в «Известиях» только в конце сентября 1936 года. Одновременно он направляет в редакцию свой ультиматум: «Я не имею возможности сейчас спорить о правильности того или иного освещения испанских событий. Я писал Вам <…> что категорически возражаю против купюр. <…> Вы можете печатать или не печатать тот или иной очерк. Но если Вы будете еще резать <…> я посылать Вам очерков больше не буду»[346]. Политические разногласия нарастают: вплоть до середины октября Советский Союз строго соблюдал принцип невмешательства, а Эренбург и словом, и делом поддерживает не только сражающихся с оружием в руках республиканцев, но и — что еще хуже! — анархистов Дуррути, с августа обороняющих Арагон.

Его самовольная поездка в Испанию без официального разрешения не вызвала, однако, карательных санкций: напротив,

она дала Эренбургу определенные преимущества. Он — единственный советский журналист, который имеет хоть какое-то представление об Испании, он в состоянии разобраться в сложных, запутанных отношениях между партиями и оценить расстановку сил в различных провинциях.

В отчетах, отправленных им в середине сентября советскому послу в Испании М. Розенбергу (отчеты незамедлительно пересылались в Москву), он упорно делает ставку на Каталонию. Еще в 1934 году, с введением парламента, Каталония объявила себя «независимым штатом Федеральной Испанской республики» с собственным правительством, «Генералитетом», возглавляемым Луисом Кампанисом[347]. К лету 1936 года в стране фактически сложилось «двоевластие»: центральное республиканское правительство в Мадриде во главе с Ларго Кабальеро, «испанским Лениным» (осенью 1937 года он ушел в отставку, уступив место более умеренному Хуану Негрину), и каталонский Генералитет, где заправляли анархисты из ФАИ (Федерация анархистов Иберии) и ЦНТ (Национальная конфедерация труда), а также и ПОУМ — протроцкистская Пролетарская марксистская партия единства (которую сам Троцкий, впрочем, не признавал и жестоко критиковал). В Каталонии торжествовал «свободный коммунизм»: земли и предприятия экспроприировались, насаждались коммуны, были сожжены сотни церквей, отменялись деньги… Этот «свободный коммунизм» был опасен для Сталина. Анархисты, как и «поумовцы», были настроены враждебно к «помощи из СССР», а первое время даже к добровольцам Интернациональных бригад. Эренбург был убежден в ключевой роли богатой, промышленно развитой Каталонии, хотя и сознавал, что революционный экстремизм анархистов и «поумовцев», их непримиримая враждебность по отношению к коммунистам рискуют скомпрометировать дело защиты испанской республики. Поэтому он рекомендует направить в Барселону советскую дипломатическую миссию, расширить торговые отношения и оказать давление на правительство в Мадриде, чтобы подтолкнуть его к соглашению с каталонским Генералитетом. В отчетах говорится и о его собственных попытках наладить контакт с анархистами с целью удержать их от резких выпадов против Советского Союза.

Поначалу его усилия приносят успех: в конце сентября одну из центурий коммунистов-добровольцев ПСУКа называют в его честь «центурией Ильи Эренбурга».

В это же время Владимир Александрович Антонов-Овсеенко, руководивший когда-то штурмом Зимнего дворца, назначается советским консулом в Барселону, и вполне возможно, что это

происходит не без участия Эренбурга. Эренбург и Антонов-Овсеенко познакомились еще до революции, в Париже, в ленинском большевистском круге. В Каталонии Антонов-Овсеенко обращается к Эренбургу с просьбой взять на себя работу среди анархистов и даже снабжает его необходимым средством пропаганды: грузовиком с кинопередвижкой и печатным станком. В сопровождении переводчицы Эренбург колесит по фронтам Арагона, выпускает листовки, армейские газеты, крутит два фильма, предоставленные ему посольством, — «Мы из Кронштадта» и «Чапаев». Бывает, что во время просмотра «Чапаева» защитники республики, в большинстве своем анархисты, громкими криками «Долой комиссара!» протестуют против красного Фурманова и его контроля над действиями героя-партизана. Из Москвы прибывают два знаменитых кинооператора Роман Кармен и Макасеев; отныне они будут сопровождать Эренбурга в его турне. Их съемки войдут впоследствии в фильм Йориса Ивенса «Земля Испании». За несколько месяцев, проведенных в горах Арагона, Эренбург сдружился с анархистами, в особенности с Дуррути. Советские товарищи криво смотрели на эту дружбу: «Поскребите хорошенько Эренбурга, и вы увидите анархиста»[348], — сказал некий собрат по перу, прибывший из Москвы. В рапорте на имя Антонова-Овсеенко от 17 ноября 1936 года Эренбург докладывает о поведении анархистов в Арагоне, в особенности о насильственном насаждении ими «всеобщего коммунизма» в деревне, и рекомендует проявить понимание и терпимость: «Надо, однако, сказать, что во всем этом больше невежества, нежели злой воли. Анархистов на местах можно переубедить. К сожалению, в ПСУК'е мало людей, которые понимают, как надо разговаривать с анархистами. Сплошь да рядом работники ПСУК'а говорят публично — „лучше фашисты, нежели анархисты“»[349].

Здесь Эренбург совершает две серьезные ошибки: во-первых, он полагает, что анархистов из ФАИ и СНТ можно «перевоспитать», игнорируя тот факт, что они представляют собой три четверти каталонского пролетариата, отличающегося особой гордостью и независимостью. Во-вторых, он считает, что Сталин в этом «перевоспитании» заинтересован. Он не знает, что советский вождь уже принял решение: из всех партий оружия, которое с октября СССР тайно поставляет в Испанию, ни одна не попадет в руки каталонцев. В конце ноября, когда Мадрид подвергнется варварским бомбардировкам франкистской авиации, транспортные суда с советскими самолетами на борту будут кружить по Средиземному морю, так как им строжайше

запрещено разгружаться в барселонском порту[350].

Советская миссия в отеле «Гэйлорд»

В Мадриде — городе, окруженном героическим ореолом, стойко противостоявшем атакам франкистов (благодаря, прежде всего, интербригадам и советским танкам), — тон задавали «мексиканцы» — так, строго соблюдая конспирацию, называли здесь советников из Москвы. Когда 6 ноября 1936 Кабальеро принимает решение об эвакуации республиканского правительства из Мадрида на юг, в Валенсию, местная власть оказывается в руках коммунистов и «мексиканцев», которые назначают командующим силами обороны генерала Миаху. Душой этого мини-переворота был «Мигель Мартинес» — Михаил Кольцов[351]. Двадцать первого декабря Сталин направляет письмо Ларго Кабальеро, советуя избегать революционных крайностей — экспроприации земель и капитала, разрыва с либеральными республиканцами. А «Правда» предостерегает: «Что касается Каталонии, уничтожение троцкистов и анархистов уже началось и будет продолжаться так же решительно, как и в СССР»[352]. Вдруг оказывается, что Эренбургу, другу анархистов, больше нечего делать на Арагонском фронте. Он бросает свой агитгрузовик и отправляется в Мадрид, где и заканчивается его политическая карьера на испанской войне.

По некоторым свидетельствам, за это время Эренбург возглавлял всю республиканскую прессу; сам он ни слова не скажет на эту тему в своих воспоминаниях[353]. Однако такое предположение хорошо объясняет его свободу передвижения по испанским фронтам: после Арагона он едет в Гвадалахару, Теруэль, Пособланко, Хаэн. В Валенсии он встречается с Андре Мальро, руководившим эскадрильей добровольцев, которую, тем не менее сочли недостаточно «надежной» и не включили в состав интербригад. Эренбург вместе с Хемингуэем и Йорисом Ивенсом работает над фильмом «Земля Испании» — его планировалось показывать в разных странах в ходе кампании по сбору средств в поддержку республиканцев.

Несмотря на всю его активность и страстную преданность Испании, далеко не все симпатизируют Эренбургу. Его портрет, нарисованный Хемингуэем в романе «По ком звонит колокол», мало привлекателен: «Человек среднего роста, у которого было серое обрюзгшее лицо, мешки под глазами и отвислая нижняя губа, а голос такой, как будто он хронически страдал несварением желудка». Хемингуэй заставляет его изъясняться ходульными выспренними фразами: «Сама Долорес сообщила ту новость. <…> Звук ее голоса убеждал в истине того, о чем она

говорила. Я напишу об этом в статье для „Известий“. Для меня это была одна из величайших минут этой войны, минута, когда я слушал вдохновенный голос, в котором, казалось, сострадание и глубокая правда сливаются воедино. Она вся светится правдой и добротой, как подлинная народная святая. Недаром ее зовут la Passionaria». Эту патетику саркастически прерывает его соотечественник Карков: «Запишите это <…> и не тратьте на меня целые абзацы. Идите сейчас же и пишите»[354]. Прототипом Каркова являлся Михаил Кольцов, который, не в пример Эренбургу, сумел завоевать всеобщую симпатию: герой романа Хемингуэя Роберт Джордан вспоминает о Каркове в самые тяжелые моменты. Кольцов, разумеется, не был ангелом во плоти: советник Сталина, несгибаемый коммунист, умелый и циничный манипулятор, он выполнял в Испании важнейшую секретную миссию и был фигурой даже более важной, чем официальный посол СССР. Его имя, а точнее, псевдоним Мигель Мартинес, ассоциировался с рядом зловещих акций (например, массовыми казнями политических заключенных в Мадриде зимой 1937 года). Вместе с тем цельность его натуры, чувство ответственности и юмор располагали к нему многих. Не был исключением и Эренбург, охотно признававший превосходство своего коллеги: «Ко мне он относился дружески, но слегка презрительно, любил с глазу на глаз поговорить по душам, пооткровенничать, но, когда шла речь о порядке дня двух конгрессов, не приглашал меня на совещания. Однажды он мне признался: „Вы редчайшая разновидность нашей фауны — нестреляный воробей“»[355]. «Нестреляный воробей», сорвавшаяся с крючка рыба, человек, которого ни разу не задел меч пролетарской Фемиды, — Эренбург действительно был таким. Кольцов знал, о чем говорил.

Советская миссия расположилась в «Гэйлорде» — одном из самых элегантных отелей Мадрида. Изолированная от населения города, отрезанная от войны миссия жила своей особой жизнью. Здесь ели икру и осетрину, пили шампанское, причем все чаще и чаще, ибо члены миссии все чаще отзывались в Москву, и каждый их отъезд «обмывался». Среди прочих уехали военные советники Горев и Львович, корреспондент ТАСС Мирова. Густав Реглер, немецкий политкомиссар интербригад, был приглашен на один из таких банкетов: «Я был поражен атмосферой, царившей в этом зале: ни следа той подозрительности, что витала в московском воздухе; фашистские бомбы заставили позабыть о выстрелах в затылок и арестах ГПУ. Здесь обо всем говорили свободно, здесь революция порождала дух доверия»[356]. Каков же был его ужас, когда из уст Кольцова он узнал, что инженер, которого провожали с такой теплотой, был арестован сразу по возвращении. «Эта наша

общая участь, — добавил советский журналист и, видя озадаченность своего иностранного друга, пояснил: — Я знаю, европейцу нелегко привыкнуть к азиатским нравам».

Конгресс писателей в защиту культуры

6 мая 1937 года в Барселоне вспыхивает братоубийственная бойня среди республиканцев: анархисты и «поумовцы» сражаются против отрядов каталонского Генералитета и коммунистов ПСУК. Эренбург в это время находится на южном фронте, и репортажи в «Известия» посылает Антонов-Овсеенко. Некогда приверженец Троцкого, он теперь яростно клеймит «троцкистских предателей», «троцкистских фашистов», «пятую колонну». 14 июня, по распоряжению НКВД вопреки протестам испанских коммунистов, он отдает приказ окружить штаб «поумовцев» в Барселоне, арестовать руководителей, среди которых Андрес Нин (впоследствии он будет убит). В своих репортажах «Известиям» Эренбург обойдет молчанием все эти события.

Его внимание в тот момент полностью поглощено приближающимся Вторым международным конгрессом писателей в защиту культуры. Конгресс должен открыться в Валенсии в июле. Для советских властей Конгресс пришелся как раз кстати: арест Андреса Нина в Испании и обнаруженные «доказательства» его сговора с фалангистами, процесс против верхушки Красной Армии в СССР, обвиненной в измене в пользу немецкого фашизма, — все это подкрепляло новые призывы к бдительности и борьбе против «врагов народа». Единственная помеха — Андре Жид: большинство писателей, присутствовавших на Втором конгрессе, еще помнят, что он был одной из главных фигур парижского антифашистского конгресса 1935 года. Затем этот горячий сторонник СССР отправился в «страну будущего», где его постигло жестокое разочарование: он вернулся, потрясенный царящей там фальшью и несправедливостью. Его «Возвращение из СССР» поступает на книжные прилавки как раз к моменту открытия конгресса; даже Мальро в личной беседе замечает, что лучше было бы опубликовать эту книгу уже после победы над франкистами. Кольцов, возглавлявший советскую делегацию, высказывается совершенно однозначно: «Я перелистал — это уже открытая троцкистская брань и клевета»[357]. Что же касается Эренбурга, его отнюдь не приводит в восторг состав советской делегации: Всеволод Вишневский, претендовавший на московскую квартиру Эренбургов, Александр Фадеев, в свое время состоявший в руководстве РАППа, Алексей Толстой, минувшим летом со страстью неофита принимавший участие в разгроме «троцкистско-зиновьевского блока»; именно он задает тон выступлений советской делегации: «Троцкизм должен быть уничтожен во всем мире. Он должен быть разоблачен и вырван с

корнем, как в СССР. <…> Троцкий и его агенты твердо намерены наполнить свои ветхие мехи, прогнившие от ложно понятого интернационализма, горячей кровью женщин и детей, разрубленных на куски фашистами»[358]. В репортаже для «Известий» Эренбург так резюмирует эту речь: «Алексей Толстой с негодованием разоблачил троцкистов, пособников фашизма». Но одурачить редакцию ему не удалось: «Известия» напечатают полный текст выступления Толстого. Тогда Эренбург вообще перестал комментировать выступления советских делегатов. Спустя три дня после открытия конгресс переехал в Мадрид. Эренбург должен был выступать вместе с Кольцовым, Мальро, Пассионарией и Рафаэлем Альберти, но из-за недостатка времени ему пришлось произнести свою речь 10 июля, когда конгресс снова вернулся в Валенсию. В отличие от прочих советских делегатов, он ни словом не упоминает ни Андре Жида, ни «врагов народа», ни «генералов-предателей», предпочитая говорить о другом — о необходимости возобновить наступление на фронтах, что мало согласовывалось с занятой в то время СССР позицией. Братья-писатели из СССР дружно выразили ему свое недоверие. Он, со своей стороны, стыдится их штампованной пропагандистской риторики, ему отвратительны их развязные попойки, прогулки в роллс-ройсах — словом, поведение захватчиков в завоеванной колонии: так, во время наступления на Брунете Всеволоду Вишневскому, автору сценария «Мы из Кронштадта», и Владимиру Ставскому, новому председателю Союза писателей, захотелось понюхать пороха, и они пожелали, чтобы Эренбург устроил им «экскурсию» на фронт… По окончании конгресса Эренбург пишет Кольцову: «Я не был согласен с поведением советской делегации в Испании, которая, на мой взгляд, должна была, с одной стороны, воздержаться от всего, что ставило ее в привилегированное положение по отношению к другим делегатам, с другой — показать иностранцам пример товарищеской спайки, а не деления советских делегатов по рангам. Я не мог высказать своего мнения, так как меня никто не спрашивал и мои функции сводились к функциям переводчика»[359]. Все указывает на то, что ему отвели подчиненную роль, как будто он принадлежал к местному обслуживающему персоналу. Человеку, который провел немало времени среди сражающихся, такое унижение было трудно перенести, и Эренбург отказывается от предложенного ему ответственного поста в Ассоциации писателей: «При таком отношении ко мне — справедливом или несправедливом — я считаю излишним выборы меня в секретари Ассоциации, тем паче, что отношение ко мне советской делегации ставит меня в

затруднительное положение пред нашими иностранными товарищами»[360].

После конгресса, уставший, разочарованный, он вместе с Любой укрывается в Пиренеях. Там он пишет «Что человеку надо» — неудачную повесть об испанской войне, отдыхает, приходит в себя и… очень скоро начинает тосковать по Испании. Через несколько недель он снова там.

Террор в Москве

Друзья и знакомые рассеялись кто куда: Хемингуэй, Ивенс и Мальро уже давно покинули страну; Антонов-Овсеенко, Розенберг и его преемник Л.Я. Гайкис отозваны в Москву, Кольцов отбыл в СССР 6 ноября. Из тех, кто был отозван раньше, ни один не вернулся. Оставался только тихий и скромный Овадий Савич, старый знакомый Эренбурга по Парижу. Преданный друг и настоящий эрудит, Савич приехал в Испанию, поддавшись уговорам Эренбурга, и под его руководством осваивал ремесло журналиста. Однако работы становилось все меньше: неудачи республиканцев побудили Сталина свернуть пропаганду. Иностранная колония в Мадриде обескуражена и разочарована, но ведь не спасения от тоски, не развлечений искал Эренбург в Москве, куда он решает вскоре отправиться в декабре 1937 года. В своих воспоминаниях он сообщает, что устал быть военным корреспондентом, «захотелось передохнуть, отвлечься», встретить Новый год в Москве, так что полученное им приглашение в Тбилиси на пленум писателей было как нельзя кстати. Этому объяснению верится с трудом. Неужели он действительно считал себя неприкосновенным под защитой «самой демократической в мире» конституции, принятой в 1936 году, автором которой был его друг Бухарин? Скорее наоборот: в январе 1937-го, на процессе «правотроцкистского блока», Радек, Пятаков и Сокольников дали обвинительные показания против Бухарина и Рыкова. На пленуме ЦК, собравшемся через месяц, Сталин требует их ареста как «наемных убийц, вредителей и диверсантов, находившихся на службе фашизма»[361]. Принимая приглашение из Тбилиси, Эренбург прекрасно понимал, что отказаться от него — значит обнаружить свой страх и тем самым подтвердить подозрения. Он решил обмануть судьбу. Показания Исаака Бабеля на допросах в НКВД подтверждают, что Эренбург понимал, что он рискует: «… Эренбург приезжал в Москву в 1936 и 1938 годах. В связи с прошедшим процессом над зиновьевцами и троцкистами выражал опасения за судьбу своего главного покровителя — Бухарина <… > В последний его приезд разговор наш вращался вокруг двух тем: аресты, непрекращающаяся волна которых, по мнению Эренбурга, обязывала всех советских граждан прекратить какие бы то ни было сношения с иностранцами, и гражданская война в Испании»[362].

Разумеется, в Испании Эренбург читал советские газеты, слушал рассказы вновь прибывших о борьбе с «врагами народа». Ему было известно, что происходит в СССР, и все-таки, едва

ступив на московскую землю, он понял, до какой степени его представления были далеки от реальности. «Мы приехали в Москву 24 декабря. На вокзале нас встретила Ирина. Мы радовались, смеялись; в такси доехали до Лаврушинского переулка. В лифте я увидел написанное рукой объявление, которое меня поразило: „Запрещается спускать книги в уборную. Виновные будут установлены и наказаны“. „Что это значит?“ — спросил я Ирину. Покосившись на лифтершу, Ирина ответила: „Я так рада, что вы приехали!..“ Когда мы вошли в квартиру, Ирина наклонилась ко мне и тихо спросила: „Ты что, ничего не знаешь?“»[363]. На каждом шагу его поражают подобные иероглифы, которыми отмечена вся советская действительность; он быстро выучился понимать их скрытый смысл. Он пытается навести справки о тех, кто был с ним в Испании, — в большинстве случаев безуспешно. Он надеется на радостную встречу со старыми друзьями в Тбилиси — «средневековыми принцами» Табидзе и Яшвили, которые привечали его во время его поездки в голодном 1920 году. Но встреча не состоялась: 22 августа Паоло Яшвили застрелился из ружья, не желая подписывать донос на Тициана Табидзе, но тот все равно был арестован. Он хочет повидаться с Ниной, женой Тициана, но оказывается, та передала, «чтобы мы ее не искали, — не хочет нас подвести»[364]. На ней уже стояло клеймо жены «врага народа».

Эренбург почти физически ощущает страх, которым пропитана вся советская жизнь. Наконец неясная угроза материализуется: он узнает, что вопрос о его возвращении в Испанию подлежит «рассмотрению» ответственных товарищей, что такие решения быстро не принимаются и ему надлежит набраться терпения и пробыть в Москве еще пару месяцев. Растерянный, озадаченный, он пытается понять, что скрывается за этим пугающим вердиктом. Он внимательно прислушивается к рассказам Исаака Бабеля, который давно знаком с женой Ежова, порой ходит к ней в гости, наблюдая вблизи зловещего сталинского наркома, оператора «великой чистки»: «Однажды, покачав головой, он сказал мне: „Дело не в Ежове. Ежов старается, но дело не в нем…“»[365] У Эренбурга вскоре тоже появится возможность увидеть своими глазами и с близкого расстояния, как работает адская машина: в марте 1938-го он получит пропуск в зал суда, где будет проходить процесс над так называемым «правотроцкистским блоком»; главным обвиняемым на этом процессе будет не кто другой, как его старый друг, сверстник и покровитель Николай Бухарин.

Процесс над Бухариным

Пожалуй, немного найдется в жизни Эренбурга таких страшных дней. Нам не дано узнать, как он их пережил. В Октябрьском зале на скамье подсудимых он увидел восемнадцать человек, измученных, со следами пыток, с блуждающим взглядом, с запавшими глазами. Он оказался лицом к лицу со своей юностью, со своим прошлым — и с тем, что угрожало стать его близким будущим. Он слушает обвинительное заключение, чудовищное по своей абсурдности: Бухарин обвиняется в заговоре с целью убийства Сталина и его соратников, а также в замысле убийства Ленина в 1918 году, в открытии границ Советского Союза для Германии и Японии и продаже советской территории другим державам, в подмешивании битого стекла в детское питание, в попытках восстановления капитализма и в экономическом саботаже. Чтение обвинительного акта прокурор Вышинский заключил, называя Бухарина «проклятой помесью лисы и свиньи». Американский журналист, присутствовавший на процессе, сообщал: «Один Бухарин, который, произнося свое последние слова, очевидно, знал, что обречен на смерть, проявил мужество, гордость и почти что дерзость. Из пятидесяти четырех человек, представших перед судом на трех последних открытых процессах по делу о государственной измене, он первым не унизил себя в последние часы процесса»[366].

Наверное, у Эренбурга поведение Бухарина вызывало не меньшее уважение. Но главным его чувством, скорее всего, был страх. Какую судьбу готовит ему Великий Организатор публичных казней? При выходе из зала суда главный редактор «Известий» предлагает ему написать отчет о процессе. Эренбург отказывается. В таких обстоятельствах молчание само по себе есть акт мужества. Но с этого момента молчание станет его позицией, от которой он не откажется до конца жизни. До оттепели он никогда не скажет публично ни одного слова, чтобы почтить память друга, ни разу не упомянет о нем. Когда после смерти Сталина он попытается вставить имя Бухарина в свои воспоминания, то наткнется на твердое «нет» Хрущева.

Чтобы представить себе масштаб опустошения, произведенного великой чисткой среди его коллег по работе, ему достаточно было пройтись по редакционным кабинетам «Известий». Вскоре беда обрушилась на другого товарища Эренбурга по двадцатым годам — Всеволода Мейерхольда, корифея театрального авангарда. 8 января 1938 года театр Мейерхольда был закрыт как «чуждый советскому искусству», а за

великим режиссером установили слежку.

Во время предыдущего приезда Эренбурга в Москву, в 1936 году, Мейерхольд репетировал пушкинского «Бориса Годунова». Драма Пушкина привлекла режиссера своей трагической развязкой: как известно, в свое время царская цензура заставила поэта изменить финал, в котором народ восторженно приветствует царя-самозванца; он ограничился знаменитой ремаркой «Народ безмолвствует». Спустя сто лет Мейерхольд вновь обращается к теме безмолвия потрясенного народа: «Когда он (Пушкин) по требованию цензуры заменил возглас народа „Да здравствует царь Димитрий Иванович!“ знаменитой ремаркой „Народ безмолвствует“, то он перехитрил цензуру, так как не уменьшил, а усилил тему народа. Ведь от народа, кричащего здравицу то за одного, то за другого царя, до народа, молчанием выражающего свое мнение, дистанция огромная. Кроме того, Пушкин задал русскому театру будущего интереснейшую задачу необычайной трудности: как сыграть молчание, чтобы оно вышло громче крика?»[367] Сталину пришелся не по душе красноречивый эпизод с «безмолвствующим народом», репетиции «Бориса Годунова» были прерваны.

Гораздо позже, в шестидесятые годы, Эренбург в своих мемуарах напишет о «заговоре молчания», который, словно круговая порука, связывал людей в те жуткие годы. Он признает, что никогда не верил абсурдным обвинениям против людей, чья невиновность была очевидна, — и однако молчал вместе с миллионами соотечественников, понимая бессмысленность любого протеста, заведомо бессильного остановить ход чудовищной машины репрессий. Погубить и себя самого — вот единственное, чего можно было добиться протестами. Но каждая эпоха выдвигает своих прокуроров — и в шестидесятые Эренбурга станет изобличать Л. Ильичев, член хрущевского ЦК: он поставит писателю в упрек, что тот изобрел «теорию молчания», чтобы снять с себя лично всякую ответственность. Однако Эренбург будет настаивать на том, что молчание было в 1930-х годах единственной формой протеста, на который решались далеко не все. Ибо и молчать в те годы было опасно. Но существовал ли на самом деле «заговор молчания»? Безмолвствовал ли народ? «Простой народ» — рядовые москвичи, рабочие, служащие — разражался криками и «бурными аплодисментами, переходящими в овацию», при каждом упоминании имени Сталина. А «творческие работники»? О том, что происходило с творческой интеллигенцией, вспоминает Надежда Мандельштам: «Растерянные люди метались, и каждый говорил, что ему взбредало на ум, и спасался, как может. Испытание страхом —

одна из самых страшных пыток, и после нее человек уже оправиться не может»[368]. И даже те, кого машина уже раздавила, не умели хранить молчание: они давали показания, обвиняли, доказывали свою невиновность. В папке писем, полученных писателем во время публикаций «Люди, годы, жизнь», находится и такое письмо: «Напрасно Вы дописываете свою книгу, Илья Григорьевич. Поставить бы Вам точку на середине 30-х гг.? а остальное все равно допишут другие. <…> В историю вошли писатели Золя и Толстой, которые не могли молчать, и писатель Эренбург, который молчал. Писал романы, анализировал, обобщал, выступал на радио и в прессе, на родине и за границей, говорил громко, на весь мир — и молчал»[369].

Вернемся в 1938 год. Похоже, Эренбургу была предоставлена отсрочка: он отказался писать репортаж о процессе над Бухариным, он не желал ни произносить здравицы в честь Ежова, ни проводить параллели между «пятой колонной» в Испании и теми, кого в СССР называли «врагами народа». Ему удалось отстоять самое главное. Но все-таки он по-прежнему оставался журналистом и продолжал выполнять свою работу «агитатора-пропагандиста»: за те пять месяцев, что он пробыл в Москве, у него было пятьдесят выступлений о войне в Испании на разных заседаниях и встречах. Так что его «обет молчания» нарушался не раз.

Дамоклов меч временно завис над его головою, но в московской атмосфере ему угрожала другая смерть — от удушья. Оказывается, к вечному страху, постоянному ожиданию ареста, исчезновению знакомых, к непрекращающимся процессам привыкнуть невозможно. Эренбург был едва ли не единственным человеком в Москве, который еще помнил, что такое свобода, еще был в состоянии помышлять о бегстве. Он мог питать какие-то надежды, взвешивать шансы и уповать на тот вес, который он приобрел за границей, в Париже. Несмотря на возражения родных, в состоянии почти отчаянья, он вновь решает идти ва-банк и пишет письмо Сталину, чтобы сказать, что его место там, где проходит фронт борьбы с фашизмом. Две недели спустя Эренбурга вызывает главный редактор «Известий» и возвращает его к реальности: вопреки высказанному пожеланию ответственные товарищи полагают, что его место здесь, в Советском Союзе. Вердикт сопровождается заботливостью, которая в тридцатые годы понималась однозначно — ее объект никогда не покинет пределы родины: «У вас, наверное, в Париже вещи, книги? Мы можем устроить, чтобы ваша жена съездила и все привезла…»[370]

Что делать рядовому москвичу, которому только что

недвусмысленно объявили подобный приговор? Некоторые поспешно покидали дом и родных, в надежде затеряться среди необъятных просторов страны, уповая на хаос, царивший в сверхраздутом бюрократическом механизме. Другие собирали чемодан с двумя сменами теплого белья. Были и такие, кто предпочитал томительному ожиданию самоубийство. Эренбург же настолько ощущал свою особость, что осмелился бросить вызов неизбежному: как выразилась его дочь Ирина, он решил «Сталину жаловаться на Сталина»[371]. В безумной надежде добиться пересмотра принятого решения, Эренбург отправляет вождю второе письмо. Ожидание ответа превращается в пытку: он не встает с постели, отказывается принимать пищу. И вдруг наступает драматическая развязка: в последних числах апреля ему сообщают, что их с Любой паспорта готовы, он должен прийти их забрать. Они могут уехать, они свободны!

Через несколько дней Эренбурги из Ленинграда отправляются в Хельсинки. Ожили воспоминания о том, как они покидали Россию в марте 1921-го. Однако тогда Илья уезжал из страны, мечтая поведать всему миру о русской революции, ее ужасах и завоеваниях. Теперь он едет, замкнув рот на замок: он знает, что ни слова не скажет о том, что увидел. Там, в Москве, остались друзья, дочь Ирина, ее муж. Каждое прощальное слово звучало, как погребальный звон. Он попрощался с Осипом Мандельштамом, которого вскоре арестуют прямо в больнице трое чекистов. Он сказал «прощай» этому странному братству, которое возникло в московских полушепотах, — братству гонимых, обреченных, исковерканных людей, сознающих свое падение и свое безумие. Не лучше ли ему было среди них? Здесь, по другую сторону границы, его ждет одиночество, груз зловещей тайны и бомбы, градом сыплющиеся на Барселону. Возвращаясь в Испанию, Эренбург знал, что дело республиканцев проиграно: натиск фашистов сдерживать дольше невозможно. Но, по крайней мере, ему удалось сохранить жизнь, надолго ли? Так или иначе, в первых числах июня 1938 года Эренбург снова в Барселоне.

Европа на пороге войны

Немногие журналисты и писатели оставались с республиканскими войсками до самого конца. Страна разорвана надвое. Барселона еще сопротивляется, но варварские бомбардировки делают свое дело. Последний героический прорыв республиканцев, знаменитая битва на Эбро увенчалась успехом, который, увы, не удалось закрепить; но что осталось от прежних дружб? Да и как можно было помышлять о дружбе, когда он обречен хранить в тайне страшную правду о том, что творится в Москве? Ведь даже задушевный друг Овадий Савич счел его «троцкистом», когда он попытался рассказать об исчезновении всех знакомых, вернувшихся из Испании в Москву. Люба сняла небольшой домик в Пиренеях, и Эренбург часто наезжал туда, чтобы в тишине и покое провести несколько дней. Их навещал Андре Мальро: несмотря на скорое поражение республиканцев, он сохранял свою обычную самоуверенность и как раз готовил в выпуску роман «Надежда».

Как и большинство его собратьев, Эренбург мог бы вернуться в Париж. Он там был бы даже более полезен, чем в Испании, так как — в этом он теперь твердо убежден — следующий акт военной трагедии, которая скоро охватит всю Европу, разыгрывается именно во Франции. Но ему претит мысль оказаться в парижской атмосфере недомолвок и увиливаний, которая царила там накануне мюнхенского сговора. Ему ближе трагическое одиночество и горе Испании, брошенной на произвол судьбы. «Кто знает, как мы были одиноки в те годы! Речей было много, пушки уже кое-где палили, радио не умолкало, а человеческий голос как будто оборвался. Мы не могли признаться во многом даже близким; только порой мы особенно крепко сжимали руки друзей — мы ведь все были участниками великого заговора молчания»[372]. Внезапно, после четырнадцатилетнего перерыва он вновь начинает писать стихи. На смену его наскоро слепленной писанине, на смену бесконечным «производственным романам» в духе «соцреализма» приходит поэзия и позволяет ему вновь стать самим собой:

Додумать не дай, оборви, молю, этот голос,
Чтоб память распалась, чтоб та тоска раскололась,
Чтоб люди шутили, чтоб больше шуток и шума,
Чтоб, вспомнив, вскочить, себя оборвать, не додумать,
Чтоб жить без просыпу, как пьяный, залпом и на пол,
Чтоб тикали ночью часы, чтоб кран этот капал,

Чтоб капля за каплей, чтоб цифры, чтоб рифмы, чтоб что-то,
Какая-то видимость точной, срочной работы,
Чтоб биться с врагом, чтоб штыком под бомбы, под пули,
Чтоб выстоять смерть, чтоб глаза в глаза заглянули.
Не дай доглядеть, окажи, молю, ту милость,
Не видеть, не вспомнить, что с нами в жизни случилось.

(«Додумать не дай, оборви, молю, этот голос…»)[373]

В стихах снова зазвучат темы, знакомые с 1916 года, — любовь к России и тоска по ней, правда, не без советской ходульности:

Земля моя, земли ты шире,
Страна, ты вышла из страны,
Ты стала воздухом, и в мире
Им дышат мужества сыны.

(«В кастильском нищенском селенье…»)[374]

Когда в 1940-м Эренбург предложит эти стихи журналу «Знамя», поэт-конструктивист Илья Сельвинский напишет во внутреннем отзыве, что между Эренбургом и его советскими собратьями пролегает настоящая пропасть. Цикл «Верность» позволяет предполагать, что из военных «блужданий» по Испании их автор вышел опустошенным и деморализованным, утратившим веру в рабочий класс; но, к счастью, «хронический катаральный скептицизм» преодолевается в статьях и романах. Не следует ли из этого вывод, спрашивает критик, что Эренбург живет по двойным стандартам и пишет статьи «для нас», а стихи «для себя»? Дело здесь даже не в лицемерии, а в том, что «Эренбург раб тонкого вкуса. Воспитанный символистами и немало воспринявший от акмеизма <…> он никогда не включит в стихи такие непоэтогенные слова, как „капитализм“, „единый фронт“, „партия“. <…> Он смертельно боится всякой патетики — она кажется ему газетой». В заключение Сельвинский рекомендовал стихи к публикации, но только после полного и исчерпывающего объяснения с поэтом[375].

29 сентября 1938 года в Мюнхене Даладье, премьер Франции, и Чемберлен с одной стороны, Гитлер и Муссолини — с другой заключили соглашение о «мирном» разделе Чехословакии. На

следующий день Даладье осыпали розами на Елисейских Полях. Пацифисты, многие из которых состояли в компартии, ликуют. Чемберлен гордится тем, что обеспечил мир во всем мире. Советская дипломатия закрывает глаза.

Выхода нет, ловушка захлопнулась; доводы разума бессильны и остается только одно — ожидание. Эренбург в последний раз едет в Испанию проститься со страной, которая стала для него землей обетованной, землей революции, где он снова встретился со своей юностью. В окрестностях старинного города Херона, недалеко от Барселоны, он присутствует при поспешной эвакуации правительства Хуана Негрина, и среди развалин, крови, трупов, неожиданно натыкается на Савича. Этот «книжный червь», с неизменным галстуком-бабочкой, был облечен торжественной миссией — ему доверили снять с крыши опустевшего советского консульства в Барселоне забытый бежавшими в панике дипломатами флаг СССР… Конец республики близок. 25 января 1939 года в Барселону входят итальянские части, а за ними начинается триумфальное шествие отрядов Франко; остатки республиканской армии скрываются в Пиренеях. Франция соглашается принять их при условии, что они сдадут оружие. На пограничном пункте Пертюс Эренбург и Савич, замерев, с болью в сердце наблюдают, как непрерывным потоком идут из Испании колонны беженцев и уже безоружных защитников республики. Воспользовавшись своим удостоверением журналиста, «аккредитованного в Париже», Эренбург сможет спасти некоторых от интернирования.

Верность

В Париже Эренбурга ожидает новый сюрприз: «Известия» не печатают больше его репортажей — включая и эксклюзивную, порой конфиденциальную информацию, которую он присылал для публикации под псевдонимом Поль Жослен. Он был далеко не первым, кого таким образом отстраняли от служебных обязанностей; видимо, намечается и национальный критерий, который в первую очередь бьет по работникам дипкорпуса и пропаганды. Пожалуй, наиболее показательным примером было смещение с поста наркома иностранных дел Максима Литвинова, которому Европа обязана попыткой создания системы коллективной безопасности перед лицом нацистской угрозы и которого немецкое радио величало не иначе, как Литвинов-Финкельштейн.

Итак, с апреля 1939 года Эренбург оказывается в роли пассивного наблюдателя. Вынужденное безделье усугубляет депрессию. В декабре в Москве арестован Николай Ежов, шеф НКВД. Но принесет ли это облегчение? Говорит ли это о конце террора? Наиболее проницательные не питали иллюзий: Михаил Кольцов, например, прекрасно понимал, что теперь придет очередь тех, «кого не тронул Ежов»[376]. Он не ошибся: вскоре его арестовали. Исаака Бабеля взяли в мае, а Мейерхольда — в июне. Эренбург теряется в догадках, пытается отыскать объяснение происходящему (на тщетность этих усилий ему указывала еще Ирина во время его последнего пребывания в Москве). Допустим, Кольцов был в Испании; Бабель слишком много знал и слишком близко общался с Ежовым; но Мейерхольд? Эренбург хотел бы объяснить необъяснимое, разгадать таинственные знаки, по которым можно было бы предсказать и собственную судьбу. Но есть вещи, о которых трудно догадаться. Так, например, он не знал и никогда не узнал, что Мейерхольда зверски пытали («Меня клали на пол лицом вниз, жгутом били по пяткам, по спине <…> налили крутой кипяток <…> Следователь все время твердил, угрожал: „Не будешь писать, будем бить опять, оставим нетронутыми голову и правую руку, остальное превратим в кусок бесформенного окровавленного тела“. И я все подписывал…»[377]) и что в конце концов, сломленный пытками, он «признался» в том, что был предателем и изменником Родины и что среди его преступлений было и такое: участие в троцкистской террористической организации, куда он был втянут Ильей Эренбургом. Эренбург не знал и того, что Исаака Бабеля допрашивали непрерывно в течение трех суток, и в итоге он

«сознался», что тот же Илья Эренбург вовлек его в троцкистскую шпионскую организацию, причем «связным» был Андре Мальро. По «показаниям» Мейерхольда, в «троцкистскую группу» Эренбурга входили Юрий Олеша и Борис Пастернак; согласно «признанию» Бабеля, шпионская сеть была обширной и разветвленной и в ней состояло не менее пятнадцати человек — артистов, писателей, кинорежиссеров, академиков. (Но Эренбург никогда не узнает, что, в отличие от многих «большевиков старой гвардии», Кольцов, Мейерхольд и Бабель найдут в себе сверхчеловеческие силы, чтобы в конце следствия отказаться от первоначальных показаний.) Всего этого Эренбург не знал — но не он ли был автором романа о Николае Курбове и еще в 1923 году описал то, что творилось в чекистских подвалах?

В разгар этих событий, летом 1939 года, возможно, размышляя о судьбе Кольцова, Эренбург сложил поразительное стихотворение — поразительное для нас, вооруженных сегодняшним знанием о том страшном времени:

Верность… вместе под пули ходили,
Вместе верных друзей хоронили.
Грусть и мужество не расскажу.
Верность хлебу и верность ножу.
Верность смерти и верность обидам,
Бреда сердца не вспомню, не выдам.
В сердце целься! Пройдут по тебе
Верность сердцу и верность судьбе.

(«Верность»)[378]

Конечно, здесь подразумевается верность советской России, родине, революции, Сталину. Но кроме того — здесь и верность памяти всех пропавших в эти годы. Верность побуждала его хранить молчание и продолжать свою работу; напротив, заговорить о процессе над Бухариным, об испанских событиях, об исчезнувших друзьях, о Мандельштаме, Мейерхольде, Бабеле значило разорвать живые узы, связывавшие его с Родиной, пусть даже он был далеко от нее. Заговорив, он навсегда простился бы с надеждой на возвращение; и это означало бы последнее предательство по отношению к «верным друзьям» — погибшим и живым.

В августе в Париж приезжает Федор Раскольников, в двадцатые годы редактировавший журнал «Красная новь», где он опубликовал первые «советские» статьи Эренбурга. Раскольников был полпредом в Болгарии, когда его внезапно вызвали в Москву

вместе с женой и грудным ребенком. Он прекрасно понимал, что это означает. Вначале он подчинился приказу и выехал из Софии, но по дороге нервы не выдержали: в Праге семья пересела на поезд, идущий в Париж. Советский посол во Франции Яков Суриц, к которому в отчаянье обратился Раскольников, тут же приказывает ему немедленно возвращаться в СССР. Тогда Раскольников приходит к Эренбургу. Мы не знаем, что именно сказал ему Эренбург. Мог ли он посоветовать не возвращаться в Москву? Произнести такое значило подвергнуть себя страшному риску. Быть может, Эренбург повторил сказанное Сурицем? Но в таком случае почему он сохранил в тайне беседу с Раскольниковым? Так или иначе, Раскольников решил остаться во Франции и через парижское агентство новостей обратился к Сталину с открытым письмом: «Ваша безумная вакханалия не может продолжаться долго <…> Рано или поздно советский народ посадит Вас на скамью подсудимых как предателя социализма и революции, главного вредителя, подлинного „врага народа“, организатора голода и судебных подлогов»[379].

Сам Эренбург по-прежнему не допускает и мысли о том, чтобы стать невозвращенцем. Впоследствии на Западе ему будут ставить в упрек: почему он тогда не «выбрал свободу»? Он, без сомнения, мог бы сделать карьеру во Франции, стать французским журналистом, обрести общеевропейскую известность. Но может ли он забыть, что Франция дважды поступилась честью — сдала фашистам сначала Испанию, а потом и Чехословакию? Скоро его настигнет еще один, самый страшный удар — он, бывший на дне отчаянья после рукопожатия Риббентропа и Даладье, узнает, что 24 августа 1939 года Сталин протянул руку Гитлеру, Молотов подписал пакт с Риббентропом. Но даже в этот момент он не отрекается от своей родины. Одно бесчестье следует за другим, Франция ведет себя так же, как Россия — так с какой же стати он должен предпочесть французское бесчестье советскому, отказаться быть русским? Кроме того, Эренбург убежден, что мир с фашистами не может быть длительным: Гитлер будет продолжать свою борьбу — Mein Kampf и рано или поздно нападет на Россию; в этот час он хочет быть среди своих.

Шок от германо-советского пакта был настолько сильным, что Эренбург заболевает анорексией — не может есть. Он понимает, что ответственность за сближение СССР и Германии несут и другие европейские державы, но от этого союз Сталина с Гитлером не становится менее аморальным. К тому же этот пакт не сулил России никаких выгод, он был губителен для нее самой. Каждый день поступали сообщения, свидетельствовавшие о том,

что советские руководители действительно стали союзниками нацистов; каждый день он ощущал, что почва уплывает из-под ног. Как сказал его давний друг, старый французский социалист Шарль Раппопорт, «капитализм это заслужил, но при чем здесь мы?»[380] 1 сентября 1939 года, в день, когда гитлеровские войска напали на Польшу, новый нарком иностранных дел Вячеслав Молотов заявляет, что советско-германский договор служит интересам всеобщего мира; казалось, вновь заговорил Чемберлен, вернувшийся из Мюнхена. Союз со Сталиным развязал Гитлеру руки — он движется на восток, захватывает Польшу, а 17 сентября Красная армия пересекает границу с Польшей и входит в Западную Украину и Белоруссию. У Сталина были все основания заверить Риббентропа, что «дружба германского и советского народов скреплена кровью».

В оккупированном Париже

Франция вступила в войну 3 сентября. Проволочки и нерешительность правительства Даладье, выжидательная позиция французской армии, преследования коммунистов (27 сентября в ответ на советско-германский пакт и раздел Польши французская компартия была запрещена), растущая враждебность французов по отношению к Советскому Союзу — все это давало Эренбургу основания полагать, что Франция едва ли станет союзницей русских.

Ослабленный болезнью, сильно исхудавший (он потерял около двенадцати килограммов), почти все время, пока длится «странная война», он проводит в постели. Друзья-французы оставили его: «В ту зиму мало кто к нам приходил: некоторые из былых друзей считали, что я предал Францию, другие боялись полиции — за мною следили»[381]. Среди тех, кто навещал его, были Андре Мальро, отказавшийся публично осудить пакт Молотова — Риббентропа, «пока коммунистов держат в тюрьме», Жан-Ришар Блок, доктор Симон — его лечащий врач, Вожель — директор журнала «Lu», Путерман — переводчик Эренбурга, Рафаэль Альберти — летчик Понс, с которым они познакомились в Испании, Луиза и Морис Гильсум (Гильсум был директором Североевропейского банка). Из Варшавы приехал старый друг Эренбурга поэт Юлиан Тувим. Тувим был евреем, и первые дни немецкой оккупации повергли его в ужас; впоследствии Тувим скажет, что под впечатлением от его рассказов Эренбург начал подумывать об эмиграции в Палестину, и только нападение немцев на Францию помешало ему осуществить этот план[382]. Возможно, замысел переселиться в Палестину зародился раньше, в 1938 году, при встрече с Романом Якобсоном. Якобсон бежал из Праги от нацистов и по дороге остановился в Париже. Он еще не решил, куда отправиться — в Палестину или в США, — важно, чтобы это было как можно дальше от Европы.

Странная болезнь Эренбурга закончилась так же внезапно, как и началась, — новый шок оказался для него целительным: 15 мая 1940 года немецкие войска прорвали линию фронта в Арденнах и хлынули в глубь французской территории. 24 мая с помощью своего старого друга Анатоля де Монзи, министра общественных работ в правительстве Рейно, Эренбург получает журналистское удостоверение. Рейно намерен восстановить связи с СССР, послать в Москву Пьера Кота с заданием уговорить Сталина продать Франции военные самолеты. Монзи нуждался в помощи Эренбурга, который должен был поддержать запрос

французов и убедить Москву, что без советских самолетов Франции не сдержать немецкое наступление. Однако Пьер Кот так и не успеет вылететь, а к Эренбургу на квартиру явится полиция с ордером на арест. Дело принимало серьезный оборот, и только вмешательство министра иностранных дел Жоржа Манделя, стоявшего за сближение с Советским Союзом, положило конец этому недоразумению.

Между тем события развиваются все быстрее. 3 июня Париж переживает первые бомбардировки. Паника, беспорядочное бегство жителей… Все вызывает в памяти увиденное в Амьене в 1916-м и в Мадриде в 1936-м. Советское посольство эвакуируется в Бордо, друзья уехали, Париж обезлюдел. Эренбурги все еще остаются в городе. 13 июня немцы входят в опустевшую столицу. «Не было ни одного человека — не Париж — Помпея… Пошел черный дождь (жгли нефть). На углу улицы Ренн молодая женщина обнимала хромого солдата. По ее лицу катились черные слезы»[383]. Из соображений безопасности они переезжают в посольство на улице Гренель. Однажды из-за занавесок Эренбург видит, как французские полицейские гонятся за двумя женщинами, которые с криком «Рот фронт!» салютуют советскому красному флагу на фасаде дома, и вслед за этим на улицу с ревом врывается автомобиль со свастикой. Эренбург готов умереть от стыда. От Дениз, своей бывшей возлюбленной, он узнал, что ее мужа Бернара Лакаша, возглавлявшего Международную лигу по борьбе с антисемитизмом, вызывали в префектуру, а немецкая полиция произвела обыск у них в квартире.

После первых панических дней жители возвращаются в город. «Но Париж больше не был Парижем: происшедшее оказалось не одним из тех военных эпизодов, которые приключались в прошлом столетии, а катаклизмом. <…> Когда я вернулся в Москву, ко мне пришла А.А. Ахматова, расспрашивала про Париж. <…> Анна Андреевна прочитала мне стихотворение, написанное ей после того, как она узнала о падении Парижа»[384]. Вот эти стихи:

Когда погребают эпоху,
Надгробный псалом не звучит,
Крапиве, чертополоху
Украсить ее предстоит.
И только могильщики лихо
Работают. Дело не ждет!
И тихо, так, Господи, тихо,
Что слышно, как время идет. <…>
И клонятся головы ниже,

Как маятник ходит луна.
Так вот — над погибшим Парижем
Такая теперь тишина[385].

Наконец наступил день отъезда: 22 июля 1940 года немногие еще остававшиеся в городе служащие советского посольства сели в немецкий поезд. Эренбург ехал вместе с группой посольских работников, но в списке пассажиров его фамилия не значится. На вокзалах в Германии советский поезд встречали приветственными криками и цветами. В Берлине они провели две ночи в гостинице, на двери которой висело объявление: «Евреям вход воспрещен». Ни на минуту его не отпускает тревога, он истерзан мучительной неизвестностью — что ждет его по ту сторону границы? Ирина предупредила, что по Москве поползли слухи о том, что Эренбург — невозвращенец; на советском языке это означало — предатель и дезертир. Он не был дезертиром, но он был, и был действительно, по определению Молотова, «близоруким антифашистом», иначе говоря, тем, кто «саботировал» советско-германский пакт.

В своей жизни Эренбургу пришлось сыграть немало ролей, но никогда он не выступал в роли друга Адольфа Гитлера. Он часто отмалчивался, менял убеждения, но он только что пережил войну; для него она началась четырьмя годами раньше в Барселоне как грандиозный праздник освобождения, а только что закончилась чудовищным поражением и торжеством фашизма. Этого унижения он не забыл. Девятнадцать лет назад, задолго то того, как Гитлер написал «Майн кампф», Эренбург в своем первом романе «Хулио Хуренито» предвидел «торжественные сеансы уничтожения еврейского племени». За эти годы его отношения с «иудейским духом» и еврейским народом прошли через разные метаморфозы, но «Хрустальная ночь» в Германии, погромы и нацистские концлагеря все расставили по своим местам. Разделит ли родная страна его ярость, спасет ли от отчаянья? На тот момент все обстояло как раз наоборот; но начнется Великая отечественная война, Гитлер нападет на Россию, и Эренбург, наконец, вздохнет свободно.

Глава VIII
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ

Русские — не люди, а стадо животных. <…> Большевизм просто подчеркнул эту расовую черту русского народа.

Йозеф Геббельс

Я стреляю —
И нет справедливости
Справедливее пули моей!

Михаил Светлов.
«Итальянец»

Персона нон грата

Он с тревогой ожидал встречи с родиной, волновался: а как его примут? Все оказалось очень просто: его приезд проигнорировали. Согласно советскому ритуалу, Эренбургов должен был встретить на вокзале представитель Союза писателей и отвезти на служебной машине домой. Однако их никто не ждал. Эренбург проглотил это оскорбление, но дальше покорно плыть по течению он не собирался.

Он пытается добиться приема у наркома иностранных дел В.М. Молотова, чтобы рассказать о ситуации в оккупированной Франции. Его принимает заместитель Молотова Соломон Лозовский — старый большевик и интернационалист. Лозовский выслушивает Эренбурга рассеянно. «Я не выдержал: „Разве то, что я рассказываю, лишено всякого интереса?“ Соломон Абрамович грустно улыбнулся: „Мне лично это интересно. Но вы же знаете, что у нас другая политика…“»[386] Перед Эренбургом закрываются все двери. «Известия» отвергают его статьи; орган профсоюзов газета «Труд» дает неопределенные обещания напечатать материал, если в нем не будет ни слова о немцах; из Гослитиздата сообщают, что книга об Испании не выйдет: «… задержала типография, а тут подоспел пакт — и набор рассыпали. На память дали верстку»[387]. Стихи, которые он предлагает журналу «Знамя», оседают в цензурном комитете. Не имея возможности печататься, он выступает с лекциями, но и этому скоро приходит конец: однажды он отказался говорить в присутствии сотрудника германского посольства, пожелавшего его послушать, и после этого его творческие вечера отменили. Однако он не сдается. Он вновь обращается к поэзии: его стихи становятся все более мрачными — на смену бодрячеству соцреализма приходят картины апокалипсиса:

Города горят. У тех обид
Тонны бомб, чтоб истолочь гранит. <…>
От полей исходит трупный дух.
<…>
И на ста языках человек
Умирая, проклинает век.
…Будет день, и прорастет она
Из костей, где всходят семена,
<…>
Всколосятся руки и штыки,
Зашагают мертвые полки,

Зашагают ноги без сапог,
Зашагают сапоги без ног,
Зашагают горя города…

(«Города горят. У тех обид…»)[388]

Да, Эренбург — «персона нон грата», но, тем не менее, судьба его щадит — в это время за критические высказывания о советско-германском пакте, за распространение «клеветнических измышлений» о войне в Европе арестованы сотни людей. Да, ему приходится выслушивать в свой адрес, что он «рассуждает не как советский человек», что «лица известной национальности, которые не согласны с нашей внешней политикой заслуживают…» и тому подобное. Он начинает понимать, что выпады против евреев нацелены не только на работников дипведомств и пропаганды. Александр Тышлер получает задание выполнить декорации к кинопостановке вагнеровской «Валькирии» (снимать фильм Сталин поручил Эйзенштейну, который считался выходцем из обрусевших немцев). Но уже через несколько дней Тышлер отстранен от работы: постановка должна была быть Judenfrei (свободной от евреев. — *нем.*).

Парадоксальным образом именно в это время культура и литература на языке идиш (ставшая за последние десять лет «национальной по форме и социалистической по содержанию») переживает настоящий расцвет. Присоединение к СССР восточной Польши, где еврейское население было особенно многочисленным, с энтузиазмом встречено советскими евреями. «Мы несем вам свободу», — восклицал Перец Маркиш, обращаясь к польским собратьям. Маркиш, писавший на идише, заметная фигура литературного авангарда, познакомился с Эренбургом на Монпарнасе в 1925 году; именно он подсказал ряд тем для романа «Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца». Эйфория была тем сильнее, что множество польских евреев бежало от гитлеровцев на Восток; среди них было немало читателей Эренбурга. Беженцы в основном оседали в Вильнюсе и Львове, но то, что они пережили, быстро становилось известно в Москве. Именно тогда Эренбург пишет стихотворение, в котором выражено то, чем он мучился накануне войны:

Бродят Рахили, Хаимы, Лии,
Как прокаженные, полуживые,
Камни их травят, слепы и глухи,
Бродят, разувшись пред смертью, старухи,
Бродят младенцы, разбужены ночью,

Гонит их сон, земля их не хочет.
Горе, открылась старая рана,
Мать мою звали по имени — Хана.

(«Бродят Рахили, Хаимы, Лии…»)[389]

Еще одна кровоточащая рана — занятый немцами Париж. Надежда Мандельштам встретила Эренбурга вскоре после его возвращения: «Я была поражена переменой, происшедшей с Эренбургом: ни тени иронии, исчезла вся жовиальность. Он был в отчаянии: Европа рухнула, мир обезумел, в Париже хозяйничают фашисты… Он переживал падение Парижа как личную драму и даже не думал о том, кто хозяйничает в Москве. В новом для него и безумном мире Эренбург стал другим человеком — не тем, которого я знала многие годы. И совсем по-новому прозвучали его слова о Мандельштаме. Он сказал: „Есть только стихи: ‘Осы’ и все, что Ося написал…“ <…> Я запомнила убитый вид Эренбурга, но больше таким я его не видела: война с Гитлером вернула ему равновесие, и он снова оказался у дел»[390].

Париж становится героем нового романа Эренбурга. Здесь в первый раз он позволяет себе заговорить о Дениз, которую так любил. Всеволод Вишневский, главный редактор журнала «Знамя», соглашается «принять рукопись к рассмотрению» — это уже немало, но, впрочем, не дает твердой надежды. Цензура по-прежнему начеку (так, например, вместо лозунга «Смерть фашизму!» на манифестациях Народного фронта демонстранты должны кричать «Смерть реакции!»), но в конце концов первая часть, посвященная 1935–1937 годам, одобрена. Зато на вторую часть наложено вето. 24 апреля 1941 года в квартире у Эренбурга раздается звонок из секретариата Сталина: ему сообщают, что сейчас с ним будет говорить лично Иосиф Виссарионович. Оказывается, вождь прочитал рукопись романа, нашел его «интересным» и хочет узнать, собирается ли автор изображать в романе немецких фашистов. Эренбург ответил, что вторжение гитлеровцев во Францию будет темой третьей части романа, и добавил, что боится — не запретят ли также и ее. Сталин пошутил: «А вы пишите, мы с вами постараемся протолкнуть и третью часть»[391]. Но Эренбургу не до шуток: он понимает, что Сталин всерьез рассматривает вероятность войны с Германией.

Разумеется, такой телефонный звонок не может остаться в секрете: не на то он рассчитан. На следующий день Эренбург просыпается другим человеком: ему звонят из Политического управления Красной армии, из редакций, из Комиссариата по иностранным делам, из Союза писателей. Означает ли эта

внезапная перемена по отношению лично к нему новую позицию Кремля в вопросе о войне? Он с беспокойством следит за новостями: в первых числах июня Би-би-си сообщает, что немцы сосредоточивают крупные военные силы вдоль границы СССР. Однако в советской прессе об этом ни слова; молчит и радио.

«Двадцать второго июня рано утром нас разбудил звонок В.А. Мильман: немцы объявили войну, бомбили советские города. Мы сидели у приемника, ждали, что выступит Сталин»[392]. Но командиры войсковых частей, уже атакованных немцами, упорно продолжают получать те же приказы из Москвы: не предпринимать ничего, что может спровоцировать нападение, не наносить ответных ударов, не открывать огонь. Сталин все еще верит, что произошло недоразумение. Потрясенная страна тщетно ждет его слов. Наконец вместо Сталина выступает Молотов, сообщивший о «неслыханном нападении», которое является «беспримерным в истории цивилизованных народов варварством». Зарубежные радиостанции передают заверения Гитлера за три месяца поставить Россию на колени и призывы Черчилля, внезапно ставшего другом Советов, остановить «орды гуннов». А по московским волнам разливаются веселые песни. Полная слепота государственных руководителей, катастрофическое непонимание ситуации, абсолютная неготовность к войне — все это вызывает у Эренбурга (и в данном случае не у него одного) недоумение и ярость. Но у него нет времени негодовать: за ним приезжают, чтобы везти его на радио, а затем в редакцию «Красной звезды». Он снова востребован. Он снова военный журналист.

Разгром

Красная армия в панике отступает. Долгие годы солдатам внушали, что армия рабочих и крестьян непобедима; теперь они сдают врагу один город за другим. Им твердили про классовую борьбу и империалистическую войну; теперь они напрасно ждут, что начнется братание в окопах. Они привыкли во всем полагаться на то, что говорит партия; но партия безмолвствует, и никто не берется объяснить им причину поражений.

Спустя двенадцать дней после начала войны Сталин наконец выступает по радио. Константин Симонов вспоминает: «Сталин говорил глухо и медленно, с сильным грузинским акцентом. <… > И в несоответствии этого ровного голоса трагизму положения, о котором он говорил, была сила. Она не удивляла: от Сталина и ждали ее. Его любили по-разному: беззаветно и с оговорками, и любуясь, и побаиваясь; иногда не любили. Но в его мужестве и железной воле не сомневался никто»[393]. Сталин заговорил в неожиданном тоне, но так, что слова доходили до сердца каждого: «Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!» «Братья и сестры…» Вождь признал, что части вермахта далеко продвинулись в глубь советской территории, но при этом напомнил о судьбе наполеоновского нашествия; он выразил уверенность, что советский народ, сплотившийся вокруг партии Ленина — Сталина и Красной армии, опираясь на помощь союзников — Великобританию и США, одолеет захватчика и спасет Европу от гитлеризма. Так начиналась Великая Отечественная война.

Слова Сталина подняли дух солдат, но не остановили продвижение врага. За первые три месяца войны СССР потерял территорию много большую, чем вся Франция. На севере блокирован Ленинград, на юге сдан Киев; немцы захватили и сожгли Смоленск — город, находящийся всего в 350 километрах от Москвы. С конца июля начинаются бомбардировки столицы.

Стены Кремля укрыты маскировкой, население обучают правильно вести себя во время воздушной тревоги, организуются дежурства на крышах для тушения «зажигалок», но для Эренбурга это «еще не Мадрид». Да, пока это не похоже на Мадрид. У жителей конфискованы радиоприемники, новости сообщаются по «тарелке»: громкоговорители установлены в коридорах жилых домов, на заводах и на улицах. Общие места, громкие фразы — все та же предвоенная трескотня. Александр Верт, корреспондент британской газеты «Гуардиан» и радио Би-би-си в Москве, пишет,

что на этом сером фоне выделяются две газеты — «Красная звезда» и «Красный флот». Александр Верт родился в 1911 году в Петербурге, в семье промышленников. В 1918-м семья эмигрировала в Швецию, а в 1941, когда война вступила на советскую землю, Верт отправился, по собственной просьбе, корреспондентом на бывшую родину. Его сведения нам особенно ценны.

Главный редактор «Красной звезды» Д.И. Ортенберг-Вадимов собрал вокруг себя талантливых литераторов: Василий Гроссман, Константин Симонов, Евгений Петров. С ними Эренбург работает с первого дня войны. Кроме того, он ежедневно выступает по радио во вновь созданном Совинформбюро — агентстве новостей, директором которого стал уже известный ему Щербаков. Жан Катала, ставший впоследствии пресс-атташе Комитета «Свободная Франция», вспоминает: «Он работал с полной отдачей, как одержимый. Каждый вечер служебная машина привозила его в „Красную звезду“, откуда он не уходил, пока Кремль не давал „добро“ на печать (Эренбург шутил: „Мой первый читатель — Сталин“). На рассвете, добравшись до гостиницы „Москва“, он расслаблялся, сочиняя стихи. Затем, поспав несколько часов, снова принимался за дело: писал статьи для зарубежной прессы, в первую очередь для американцев. Все это не мешало ему присутствовать на завтраках и дипломатических приемах. Он обожает встречаться с зарубежными журналистами и, как некогда в „Куполе“, слывет „единственным советским человеком, который может объяснить иностранцам, что такое Советский Союз“. Он снова наслаждается вкусом сигарет „Голуаз“ (английский табак стал дефицитом) и беседами об импрессионизме и Стендале. В редкие свободные минуты продолжает работу над „Падением Парижа“. На одни сутки ему дают почитать рукопись, которая заставляет позабыть обо всем: перевод романа Хемингуэя „По ком звонит колокол“ (в России он будет опубликован только в шестидесятые годы). Однажды ночью Александр Верт застает его в бомбоубежище, яростно спорящим с французским журналистом об Андре Мальро. „Он вытащил из кармана блокнот с фотографиями трех скотч-терьеров, объяснив мне, что они единственные в Москве, и спросил, разрешается ли в Лондоне приводить собак в бомбоубежище. Кажется, он удивился, узнав, что по крайней мере в общественные бомбоубежища с собаками не пускают; он-то думал, что Англия — рай для собак и для курильщиков“»[394].

Эренбург имеет доступ к зарубежным радиосводкам и специальным бюллетеням ТАСС. Москвичи все еще не представляют себе истинных размеров бедствия; Эренбург же

трезво оценивает ситуацию. И все же у него было ощущение, что советская действительность не до конца ему понятна. Наивные иллюзии советских людей в отношении немцев, как и выжидательная позиция аппарата, не решающегося предоставить свободу антифашистской пропаганде, ставят его в тупик. Он потрясен уровнем некомпетентности в военных и политических вопросах, и вместе с тем его восхищает выдержка народа, по существу, брошенного на произвол судьбы. Он удивлен тем, что Украина и Прибалтика практически не оказали сопротивления немцам, но чувствует, что воздух, которым дышит страна, очистился — нет больше гнетущей подозрительности, страха репрессий. Здесь, в отличие от Парижа, война несла свободу: «Знаете, все-таки теперь легче — все как-то стало на место», — сказал однажды в 1941-м зять Эренбурга Борис Лапин[395].

Однажды в конце июня раздался звонок в дверь: на пороге стояла Марина Цветаева. В своей записной книжке Эренбург отметил: «29 июня. Марина. О квартире и стихах». Постаревшая, в глазах застыла тоска. Летом 1939 года, после семнадцати лет изгнания, она вслед за дочерью и мужем вернулась в Россию. Через два месяца после ее возвращения арестовали дочь, еще через месяц — мужа. Сергей Эфрон, бывший евразиец, работал в Париже тайным агентом НКВД. Французы подозревали его в убийстве советского разведчика Игнатия Рейса, порвавшего с Москвой. Цветаева была в полном отчаянье: у нее в Москве не было ни постоянного угла, ни заработка. По ее словам, Эренбург не пустил ее дальше прихожей. В августе она эвакуировалась из Москвы, оказалась в Елабуге, маленьком городке на Каме. Там и покончила с собой. Позже Эренбург признается, что в те дни он был слишком занят событиями на фронте и не уделил ей нужного внимания. Видимо, он забыл, как тяжело пришлось ему самому еще совсем недавно, когда он приехал на родину. А возможно, он и «перестраховался» — ведь он был одним из немногих, кто знал о деле Эфрона.

«Нашим братьям евреям во всем мире»

Вслед за знаменитым обращением Сталина к «братьям и сестрам» последовали меры, призванные обеспечить единство народа на новой основе, возродить патриотический дух нации и ее волю к сопротивлению, позабыв на время о «руководящей роли партии». Под председательством Алексея Толстого создается Славянский комитет; 24 августа 1941 года в Кремле проводится «радиомитинг», на который приглашают видных представителей советского еврейства. Встреча транслируется на весь Советский Союз и, самое главное, за рубеж. Пропагандистская риторика заметно меняется: вдруг оказывается, что евреи всего мира являются единым народом. Советские евреи обращаются по радио с призывом к «нашим братьям евреям во всем мире». Встречу открывает Соломон Михоэлс, руководитель Государственного еврейского театра, актер, которым в роли короля Лира восхищался сам Сталин; он призывает евреев США и Великобритании оказать помощь собратьям в оккупированных странах. После Михоэлса выступают Сергей Эйзенштейн, ученый-физик Петр Капица (единственный не еврей среди «советских евреев»), поэты Перец Маркиш, Давид Бергельсон, Самуил Маршак. Наступает очередь Эренбурга: «Мальчиком я видел еврейский погром. Его устроили царские полицейские и кучка босяков. А русские люди прятали евреев <…> Русский народ был неповинен в погромах. Я никогда не слышал злобных слов евреев о русском народе. И не услышу их. <…> Я вырос в русском городе. Мой родной язык русский. Я русский писатель. Сейчас я, как все русские, защищаю мою родину. Но гитлеровцы мне напомнили и другое: мою мать звали Ханой. Я — еврей. Я говорю это с гордостью. Нас сильней всего ненавидит Гитлер. И это нас красит <…> Моя страна, русский народ, народ Пушкина и Толстого, приняли бой. Я обращаюсь теперь к евреям Америки как русский писатель и как еврей. <…> Евреи, в нас прицелились звери! Наше место в первых рядах. Мы не простим равнодушным. Мы проклянем тех, кто умывает руки. Помогайте всем, кто сражается против лютого врага. На помощь Англии! На помощь советской России! Пусть каждый сделает все, что может. Скоро его спросят: что ты сделал? Он ответит перед живыми. Он ответит перед мертвыми. Он ответит перед собой»[396].

20 сентября Киев занят немцами. Рождаются стихи

Будь ты проклята, страна разбоя,
Чтоб погасло солнце над тобою, <…>

Чтоб сгорела ты и чтоб ослепла,
Чтоб ты ползала на куче пепла <…>

Чтобы волки получили волчье,
Чтоб хлебнула ты той самой желчи,
Чтобы страх твою утробу выел,
Чтоб ты вспомнила тогда про Киев.

(«Проклятие»)[397]

Оборона Москвы

Со взятием Киева дорога на юг для немцев открыта. 30 сентября германское командование начинает операцию «Тайфун» — войска вермахта должны осуществить бросок из Смоленска прямо в Москву. «Красная звезда» бьет тревогу: «Само существование Советского государства поставлено на карту». Командующим Западным фронтом назначен генерал Жуков. Как заклинание, политруки повторяют бойцам: «Велика Россия — а отступать некуда: позади Москва».

13 октября начинается срочная эвакуация госаппарата, дипкорпуса, важнейших научных и культурных учреждений. Вспоминая об этих днях, Эренбург напишет, что он не хотел уезжать. В это легко поверить: в свое время он не уехал из Парижа, покинутого жителями, сейчас он не хочет бежать из Москвы. Однако приказы Щербакова, директора Совинформбюро и члена ЦК, не подлежат обсуждению. В поезде, который везет эвакуированных в Куйбышев, портовый город на Волге, москвичи продолжают получать военные сводки: «В ночь с 14 на 15 октября фашистские войска прорвали линию обороны на Западном фронте».

В Москве начинается паника: немцы находятся от столицы на расстоянии суточного марша. Вокруг говорят о «всеобщем бегстве»; позже станет известно число эвакуированных — два миллиона человек. Сталин, однако, оставался в городе: именно тогда и родился сталинский миф. В страшный час, когда опасность угрожает сердцу страны, Сталин выступает как главный защитник Родины, символ мужества и патриотизма. «Мы не скажем, что битва под Москвой была чудом, — пишет Эренбург в „Красной звезде“, „Звездочке“, как любовно называли газету бойцы. — Нет, чудом является наш народ, наши люди, наша душевная сила <…> В эти дни мы еще раз поняли человеческую силу Сталина <…> Он сказал: „Москвы не сдадим“. Москвы не сдали. Он сказал: „Немцев побьем“. И мы начали бить немцев»[398].

Когда Эренбург писал эти строки, он не задумывался о том, какова была цена этого «чуда», а точнее, этой кровавой бойни. Москва была спасена благодаря свежим частям из Сибири: юные новобранцы брошены в самое пекло боя без всякой подготовки. На Вяземском направлении сражаются москвичи-добровольцы — студенты, молодые интеллигенты, до этого никогда не державшие в руках оружия. Среди них немало евреев, для которых было делом чести доказать преданность России: те из них, кто попадет

в плен, будут немедленно расстреляны немцами. В советской прессе Эренбургу запрещается об этом упоминать, но в обращении к американским евреям он говорит в полный голос: «Защитники Москвы отстаивают не только нашу столицу <…> они защищают вашу честь, вашу жизнь, вашу свободу. Евреи Америки! Глядите и слушайте! Гитлеровцы убили в Киеве 50 000 евреев, в Одессе 25 000 евреев. <…> Звери идут на нас, звери идут на вас. Еврея, который малодушно уйдет в сторону, проклянут сироты. <…> Евреи Советского Союза, вместе с другими народами нашей страны, приняли бой. <…> Евреи умеют любить родную землю. Теперь никто не скажет, что евреи — гости, и еврейская кровь на подмосковных полях еще крепче связала нашу кровь с судьбой России. Евреи Америки! Судьба России теперь — судьба всего человечества. Это прежде всего ваша судьба. <…> Это священная война. Отдайте все ваше имущество! Шлите оружие! Идите в бой! Еще не поздно!»[399]

Долгое пребывание за границей сделало Эренбурга во многих отношениях уязвимым, но вместе с тем дало ему и некоторые преимущества — он лучше советских людей знает, что представляет собой фашистский режим: «Может быть, я разделял бы иллюзии многих, если бы в предвоенные годы жил в Москве и слушал доклады о международном положении. Но я помнил Берлин 1932 года, рабочих на фашистских собраниях, в Испании разговаривал с немецкими летчиками, пробыл полтора месяца в оккупированном Париже»[400]. В то время как советская пропаганда все еще возлагает надежды на пробуждение «классового сознания» немецких солдат, Эренбург без устали разоблачает самые основы фашистской идеологии. Удаленность от Москвы позволила ему пренебречь риторикой соцреализма: его военная публицистика отличается остротой наблюдений, лаконичным стилем, честной подачей фактов. Не в пример своим собратьям по цеху он быстро понял, что слабость Красной армии не только в плохом вооружении, но и в том, что десять лет террора не прошли даром, притупив в людях чувство ответственности, солидарности, инициативы. Столкнувшись лицом к лицу с «расой господ», советские солдаты оказались психологически неподготовленными. Помочь им можно, лишь рассказав о фашизме правду. И Эренбург говорит о том, что фашизм проник в страну задолго до оккупации, говорит об «искажениях» и «ошибках» предвоенного времени. Он не обещает легкой победы, но призывает не забывать о прошлом и набраться мужества перед лицом новых испытаний.

Эренбург уезжает из Куйбышева в январе 1942 года. Он едет

сначала в Саратов, где находится польская армия под командованием генерала Владислава Андерса, а затем на Западный фронт, где готовится контрнаступление. В освобожденных от немцев деревнях солдаты обнаруживают следы систематического безжалостного уничтожения. В Истре — городке, расположенном на севере от Москвы, — из тысячи домов уцелело три, а из шестнадцати тысяч горожан выжило триста человек, прятавшихся в землянках, и это зимой, при тридцатиградусных морозах. Был сожжен знаменитый Новоиерусалимский монастырь XIV века. «Только татарские набеги могут сравниться с этим опустошением»[401], — писал английский журналист Александр Верт. Все иллюзии насчет «культурных немцев», которые еще оставались у солдат, восхищавшихся немецкими часами, самолетами, автомобилями, окончательно улетучились при виде выжженных развалин и виселиц. Сострадание к жертвам порождает чувство ненависти к врагам, благородной ярости. Словосочетание «Великая отечественная» звучит по-новому: оно ощутимо, выстрадано. «Что же, если немцы хотят иметь истребительную войну, они ее получат. <…> Смерть немецким оккупантам!» — сказал Сталин 6 ноября 1941 года, и слова эти станут лозунгом воюющего народа. Василий Гроссман, корреспондент «Красной звезды», пишет Эренбургу с Юго-Западного фронта: «Люди точно стали иными — живыми, инициативными, смелыми <…> Это, конечно, еще не отступление наполеоновских войск, но симптомы возможности этого отступления чувствуются. Это чудо, прекрасное чудо! Население освобожденных деревень кипит ненавистью к немцам. Я говорил с сотнями крестьян, стариков, старух, они готовы погибнуть сами, сжечь свои дома, лишь бы погибли немцы. Произошел огромный перелом: народ словно вдруг проснулся…»[402] Эренбург процитирует это письмо в своих мемуарах, но не полностью. Далее в письме Гроссман пишет: «Несколько раз с болью и презрением — вспоминал антисемитскую клевету Шолохова. Здесь на Юго-Западном фронте тысячи, десятки тысяч евреев. Они идут с автоматами в руках в снежную метель, врываются в занятые немцами деревни, гибнут в боях. Все это я видел. <…> Если Шолохов в Куйбышеве, не откажите передать ему, что товарищи с фронта знают о его высказываниях. Пусть ему будет стыдно»[403].

Союзники и второй фронт

Эренбурга отзывают обратно в Москву. Люба и Ирина тоже вернулись в столицу. Их дом в Лаврушинском переулке пострадал от бомбежек, и они все втроем поселяются в гостинице «Москва» — массивном сером здании, построенном в тридцатые годы для членов Коминтерна. Только одна вещь в комнате принадлежит Эренбургу — картина Марке: парижский мост, утопающий в тумане. Члены семьи в трауре: Борис Лапин, муж Ирины, пропал без вести где-то под Киевом. Стояла необыкновенно суровая зима, начались перебои с продовольствием. Из Крыма приехал поэт Илья Сельвинский, участвовавший в освобождении Керчи; он привез первые сведения о массовом истреблении евреев: были обнаружены целые траншеи, заполненные тысячами мертвых тел — жертв Einsatzgruppen, этих полувоенных «особых отрядов» состоящих из эсесовцев, немецкой полиции и местных полицаев, предназначенных для поголовного уничтожения евреев и цыган.

Эренбург добивается отправки на фронт, но его не отпускают из Москвы: он нужен, чтобы вести пропаганду на зарубежные страны. В марте 1942 в Москву прибывает посланник Национального комитета Свободной Франции из Лондона, генерал Эрнест Пети. Разумеется, Эренбург станет его и посла Свободной Франции, Роже Гарро, постоянным собеседником и другом. После сложных дипломатических переговоров, через несколько месяцев прибудут тридцать военных летчиков эскадрильи «Нормандия», сформированной Комитетом на Ближнем Востоке. После совместных боев с советскими летчиками, Сталин ее переименует в эскадрилью «Нормандия — Неман». В Орле, где размещалась их база, не смолкали толки о французских «аристократах», прибывших в советскую Россию сражаться бок о бок с русскими, а об их победах над местными девушками ходили легенды. В апреле 1942 года роман «Падение Парижа» получает Сталинскую премию, закрепляя советскую версию капитуляции Франции: согласно Эренбургу, буржуазия, напуганная победами Народного фронта, предпочла войне с фашистами войну против компартии и трудящихся. Забыт и советско-германский пакт, забыт позор, который пал на головы французских коммунистов после его подписания. Шарль де Голль из Лондона присылает Эренбургу поздравительную телеграмму. Несмотря на то что роман во многом походил на раскрашенный муляж из папье-маше, несмотря на все извращения исторической правды, в книге ощущается неподдельная горечь: автор не может простить Франции отречение от республиканских традиций.

Но не к Франции сейчас обращены взоры советских людей, а к двум свободным от немцев странам — Великобритании и Соединенным Штатам (Америка заявила о вступлении в войну в конце 1941 года). На них возлагались огромные надежды, особенно с июня 1942 года, после подписания договора между Англией и СССР: в советской прессе этот договор приравнивался к официальному заявлению об открытии второго фронта. Второй фронт, который собирались открыть союзники на западе, принес бы значительное облегчение Советскому Союзу: ведь на Восточном фронте в это время сосредоточена почти вся германская армия. Когда же?

Эренбург ощущает как бы личную ответственность за поведение западных союзников. Ему хотелось бы представить их в выгодном свете, однако скептицизм берет верх. В преддверье визита Черчилля в Москву в июле 1942 года, Эренбург первым предсказывает, что речь пойдет о том, «почему в 1942 году второго фронта не будет»[404]. Резкий тон статей Эренбурга, грубые выпады в адрес союзников, не проходят незамеченными на Западе. Александр Верт вспоминает о разговоре, который состоялся у него с представителем президента Рузвельта Уилки Уэнделлом: «Если бы я повторил все те неистовые речи, — сказал Уэнделл, — которые я слышал вчера на обеде от Симонова, Эренбурга и Войтехова, со всеми оскорблениями по адресу союзников, я думаю, это произвело бы очень скверное впечатление в Штатах…»[405] Он, конечно, сочувствует трагедии русского народа, но все же полагает, что можно было бы выражать свои чувства в более деликатной форме… Однако Эренбург не собирается смягчать формулировки. Он уверен, что медлительность англичан и американцев в открытии второго фронта объясняется холодным расчетом: союзники дожидались, когда вермахт будет окончательно обескровлен ценой жизни русских. Летом 1942 года почти все иностранцы, приезжавшие в Москву, полагали, что поражение Советского Союза в войне неизбежно. Но как и Уэнделла, их изумляла стойкость русских. «Мне надо решить одну мудреную задачу, — пишет Уэнделл. — Как объяснить американской публике, что русские находятся в критическом положении, а при этом их моральное состояние превосходно?» Силой духа своего народа восхищается и Эренбург, испытывая огромную гордость за свою страну. И если он пишет о русском противостоянии как о «чуде», это подлинный пафос, а не обычная пропагандистская риторика. Говоря о битве за Севастополь, продолжавшейся 250 дней, он не без чувства превосходства упоминает о сдаче англичанами Тобрука: «Мы видели капитуляцию городов, прославленных крепостей,

государств. Но Севастополь не сдается. Наши бойцы не играют в войну. Они не говорят: „Я сдаюсь“, когда на шахматном поле у противника вдвое, втрое больше фигур»[406].

Сравнение с иностранцами не только оттеняет героизм родного народа, вырастающего под пером Эренбурга до сказочного исполина, но и выводит на первый план главного богатыря — Сталина. Эренбург не хочет видеть личной ответственности вождя за трагический исход наступления под Харьковом в мае 1942 года: приказ о наступлении был отдан лично Сталиным, вопреки протестам штабов, знающих, что солдаты посылаются на верную смерть. Тысячи загубленных жизней не помешают, однако, Черчиллю во время своего визита в Москву пропеть хвалу «великому государственному деятелю и воину»[407].

Страшное лето 1942 года

С падением Севастополя 3 июля начался новый этап наступления гитлеровской армии. По плану Гитлера до зимы в руки немцев должны были перейти богатый нефтью Кавказ, через который открывался выход на среднеазиатские республики, и Сталинград. Если бы войскам вермахта удалось закрепиться на Волге, если бы Москву удалось отрезать от промышленности на востоке страны, у России остался бы один выход — капитуляция.

В июле советские части в панике покидают Ростов-на-Дону. Дорога на Волгу и на Кавказ открыта. Все внимание теперь приковано к Сталинграду, городу с символическим именем: здесь решается судьба страны.

После позорной сдачи Ростова Сталин бьет тревогу: Волга — это последний рубеж. Нужно положить конец панике и беспорядку: «Ни шагу назад!» Лучше самоубийство, чем капитуляция. Кроме карательных приказов принимаются меры, призванные укрепить патриотический дух и поднять авторитет офицеров Красной армии. Для них вводятся ордена, отсылающие к памяти героических предков — Суворова, Кутузова, Александра Невского; в Великобритании по специальному заказу изготовляются шитые золотом погоны. Именно в таких погонах советские офицеры будут руководить решающим прорывом под Сталинградом в середине ноября, после чего русские перейдут в наступление, и в феврале 1943 года армия Паулюса попадет в кольцо.

Горячая вера в победу и ее «вдохновителя и организатора» Сталина поддерживает народ в борьбе, но общее недовольство режимом растет. У людей развязались языки, передаются слухи о ссорах в Комитете обороны, о вмешательстве в военные операции некомпетентных и всемогущих политруков.

Каждый день Эренбург получает сотни писем с фронта и из тыла; они свидетельствуют о том, что люди освободились от страха. Он улавливает ропот негодования, поднимающийся по всей стране: «Кто сейчас расскажет, как люди думают на переднем крае — напряженно, лихорадочно, настойчиво. Они думают о настоящем и прошлом. Они думают, почему не удалась вчерашняя операция, и о том, почему в десятилетке их многому не научили. <…> Многое на войне передумано, пересмотрено, переоценено… По-другому люди будут трудиться и жить. Мы приобрели на войне инициативу, дисциплину и внутреннюю свободу…»[408]

В Москве в то лето царит необычайное напряжение. Нависшая

опасность обостряет жажду свободы. Можно подумать, что отменили цензуру — художники и писатели в едином патриотическом порыве забывают о привычной осторожности. Каждый по-своему, но все они пишут о России:

> Мы знаем, что ныне лежит на весах
> И что совершается ныне.
> Час мужества пробил на наших часах,
> И мужество нас не покинет.
> Не страшно под пулями мертвыми лечь,
> Не горько остаться без крова, —
> И мы сохраним тебя русская речь,
> Великое русское слово[409].

Эти строки написаны Анной Ахматовой в то время, когда весь мир, затаив дыхание, слушает «Ленинградскую симфонию» Дмитрия Шостаковича — композитора, еще недавно изобличенного в «формализме». В новой пьесе Симонова с характерным названием «Русские люди» утверждается, что советский патриотизм не на пустом месте возник, он уходит корнями в русское дореволюционное сознание. В романе Шолохова «Они сражались за Родину», публиковавшемся по частям в «Правде», патриотизм явно имеет антисемитскую окраску — в «братской семье советских народов», жертвы которых перечисляет автор, нет места евреям. Что касается Эренбурга, для него одного слово «патриотизм» ассоциируется со словом «Европа».

Эта привязанность к отечеству, сострадание к родине, попранной захватчиком, это единодушие имеют и обратную сторону — ненависть. Любовь к России и ненависть к немцам сплачивали измученный народ и писателей. «Убей его!», «Я пою ненависть», «Урок ненависти» — эти произведения Симонова, Суркова и Шолохова датируются 1942 годом. Эта лютая, «утробная» ненависть имеет, по мнению Эренбурга, воспитательное значение: только она одна может помешать солдатам отступать перед врагом. «Оправдание ненависти» — так называется статья Эренбурга, написанная летом 1942 года: «Теперь у нас все поняли, что эта война не похожа на прежние войны. Впервые перед нашим народом оказались не люди, но злобные и мерзкие существа, дикари, снабженные всеми достижениями техники, изверги, действующие по уставу и ссылающиеся на науку, превратившие истребление грудных детей в последнее слово государственной мудрости. Ненависть не далась нам легко. Мы ее оплатили городами и областями,

сотнями тысяч человеческих жизней. Но теперь наша ненависть созрела <…> Мы поняли, что нам на земле с фашистами не жить»[410]. Во имя мести за побежденную Испанию, униженную Францию, опустошенную Россию, нужно взращивать в себе священную ненависть — и Эренбург каждый день принуждает себя читать немецкую прессу, пропагандистские брошюры, дневники и письма немецких солдат. Позже, оказавшись вместе с наступающей советской армией в Восточной Пруссии, он добьется разрешения присутствовать на допросах пленных, каждый раз объявляя, что он еврей. Он словно загипнотизирован нацизмом — этим чудовищным гибридом, неслыханной смесью цивилизованности и дикости, которую он предсказал когда-то в «Хулио Хуренито» и которая теперь глумливо издевается над гуманистическими ценностями. Он культивирует свою ненависть, подбирает самые грубые, убийственные слова — и это обеспечивает ему настоящую всенародную популярность. «Надо поставить себя на место русского солдата, — писал Александр Верт, — который, глядя летом 1942 года на карту и видя, как немцы занимают один город за другим, одну область за другой, спрашивает себя: „До каких пор мы будем отступать?“ Статьи Эренбурга помогали каждому сохранить присутствие духа. <…> Можно любить или не любить Эренбурга как писателя, однако нельзя не признать, что в те трагические недели он проявил гениальную способность найти точные, образные, уничтожающие формулировки для выражения русской ненависти к немцам»[411].

Статьи Эренбурга из «Красной звезды» широко перепечатываются и цитируются в местных газетах, фронтовые листовки с его текстами выпускаются огромными тиражами. В 1942 году его имя присвоено танковому подразделению; между Эренбургом и танкистами завязывается переписка: чуть ли не каждый день бойцы отправляют ему отчеты о происходящем в их части, свои литературные опыты, документы, найденные у солдат вермахта; он, в свою очередь, пишет им перед боем, помогает установить связь с другими подразделениями. Его читают, любят, ему доверяют. Со всей страны к нему приходят письма от родственников без вести пропавших; солдаты и офицеры завещают ему свои дневники и личные письма. Своей штатской походкой, сутулой спиной, беретом, растрепанными волосами он резко выделяется среди военных, особенно когда надевает форму. На фотографиях того времени он запечатлен с записной книжкой в руках, всегда внимательный, среди солдат, усталых, но с улыбками на осунувшихся лицах, либо в окружении измученных женщин: в простых косынках, в обносках, они смотрят на него с надеждой. Вошел в историю приказ командира батальона одной

из дивизий: «Разрешается раскуривать привезенные газеты, за исключением статей Эренбурга»[412]. Его известность простирается далеко за границы СССР. Немцы платят ему той же монетой: ненависть за ненависть. Из всех советских журналистов и пропагандистов он лучше всех знает врага. Он гордится тем, что ввел в оборот презрительную кличку «фриц»: «Мы помним все. Мы поняли: немцы — не люди. Отныне слово „немец“ для нас самое страшное проклятие. Отныне слово „немец“ разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. <…> Если ты не убьешь немца, немец убьет тебя. Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Германии. <…> Если ты убил одного немца, убей другого — нет для нас ничего веселее немецких трупов»[413].

Еврейский антифашистский комитет

В октябре 1941 года два руководителя Бунда (Еврейской социалистической партии в Польше) Виктор Альтер и Хенрик Эрлих, арестованные НКВД в 1939 году, предложили Сталину создать антигитлеровский еврейский комитет под международным председательством. Комитет должен был помогать евреям в оккупированных странах. Сталин подхватил эту идею, а авторов проекта велел расстрелять. Так возник ЕАК — Еврейский антифашистский комитет; первый раз он собрался в мае 1942 года. Во главе комитета стояли, разумеется, только советские граждане, руководил им Соломон Михоэлс, цели, которые он преследовал, тоже были советскими: комитет должен был добиться широкой огласки зверств нацистов *за рубежом* и организовать сбор помощи среди американских евреев. Уже на первом собрании ЕАК раздались требования (в частности, прозвучали голоса П. Маркиша, И. Добрушина и И. Нусинова), чтобы комитет занялся также специфическими проблемами советских евреев, в особенности судьбой эвакуированных[414]. Следующее заседание комитета состоится лишь в феврале 1943 года, после победы под Сталинградом.

В тот момент в сталинской политике намечаются две взаимоисключающие тенденции в зависимости оттого, к кому он обращается — к западным союзникам или к гражданам своей страны. Что касается внешней политики, он продолжает заявлять о прочности связей СССР и Запада, о нормализации отношений, об отказе от «мировой революции», доказательством чему должен являться роспуск Коминтерна. В то же время внутри страны набирают силу великодержавный шовинизм и национализм. Образование ЕАК очевидно разворачивалось в соответствии с первой тенденцией: как никогда, Сталин нуждается в поддержке Соединенных Штатов, прекрасно понимая, что общественное мнение по ту сторону Атлантики чутко реагирует на отношение к евреям в СССР (в особенности после исчезновения Альтера и Эрлиха, которое не прошло незамеченным). Но бурно растущий русский национализм делает положение комитета двусмысленным: при явном поощрении сверху в стране развиваются антисемитские настроения, начинаются гонения на евреев. Эренбург, которому в силу его положения хорошо знакомо настроение народных масс, пишет об этом без обиняков: «Вы, должно быть, слышали об этих евреях, „которые не хотят идти на фронт“. Немало у нас солдат, которые даже и не знали, что они евреи, пока однажды не получили письмо от своей семьи из

Узбекистана или Казахстана [речь идет о жителях, эвакуированных из областей, занятых немцами. — *Е.Б.*] с требованием объяснений, поскольку люди вокруг них не стесняясь заявляли, что евреев что-то не видать на фронте и в бою». Будучи хорошим пропагандистом, он не ограничивается одной констатацией фактов: «Читая такое письмо на фронте или в окопе, солдат-еврей начинает тревожиться — не за себя, а за свою оклеветанную семью. Если мы хотим, чтобы солдаты и офицеры Красной Армии спокойно шли в бой, нужно признавать их заслуги в борьбе. Мы должны говорить об их подвигах — не из бахвальства, но ради единственной цели: как можно быстрее покончить с немцами»[415]. Казалось бы, все правильно. Но как быть, если по официальным указаниям имена евреев-героев, включая тех, кто получил государственные награды, замалчиваются в печати? Как быть, когда к нему обращаются все чаще и чаще, обиженные, как военные, так и «художественная интеллигенция», жалуясь на поднимающийся антисемитизм?[416]

«Мать мою звали Ханой…» В августе 1941 года Эренбург вспомнил о матери вовсе не из-за немцев. На самом деле он никогда не забывал о своем происхождении — даже (или в особенности?) когда ругал хасидизм в своих репортажах. Он не обошел своим вниманием ни погромы, ни нюрнбергские законы 1935 года об идентификации евреев и ограничении их прав в Третьем Рейхе. Однако тогда у него не возникло потребности заявить себя евреем; ведь он имел в перспективе кое-что получше: советский идеал нового человека и амплуа «гражданина мира»! Только после 1939 года, после советско-германского пакта и оккупации Франции, когда евреи оказались брошены на растерзание нацистам и вдруг выяснилось, что все его надежды — беспочвенная утопия, он снова ощутил себя частью *своего* народа: «Ни Египту, ни Риму, ни фанатикам инквизиции не удалось истребить евреев. <…> Гитлер — выродок, который не понимает, что истребить народ нельзя. Евреев стало меньше, но каждый из них стал больше»[417]. Про Гитлера все понятно. Русский антисемитизм не так смертельно опасен, как расовые теории нацистов, но он ранит Эренбурга даже глубже. После Сталинграда он на вершине славы: он нужен советскому руководству, его совета ищут дипломаты, его любят бойцы. Однако слова, сказанные ему в 1940 году, крепко засели в памяти: «Евреи у нас только гости». Письма, каждый день приходящие от знакомых и незнакомых людей, лишь подтверждают это. Эренбург видит, что происходит наверху: его новое обращение к американским евреям, заказанное в августе

1943 года, было встречено весьма критически. Его упрекнули в том, что он слишком подчеркивает героизм фронтовиков-евреев! Ни один из материалов Эренбурга, написанных для журнала «Эйникайт» («Единение»), органа ЕАК, выходившего на идише, не был перепечатан в советской русскоязычной прессе. В то время еще не осознаны масштабы геноцида, еще неизвестно ни о деревнях, стертых с лица земли, ни о выжженных гетто в оккупированных Белоруссии и Украине, но Эренбург уже опасается, что жертвы еврейского народа могут быть преданы забвению и принесены в жертву идее великой победы русского народа.

Летом 1943 года «Эйникайт» обращается к читателям с призывом посылать в газету сведения об уничтожении евреев нацистами. На пленуме ЕАК Эренбург предлагает издать эти документы в трех томах: первый, условно названный «Черной книгой», должен рассказывать об уничтожении евреев на территории Советского Союза; второй, «Красная книга», — о подвигах солдат и офицеров еврейской национальности; третий должен быть посвящен партизанам-евреям, действовавшим на оккупированных территориях. Для осуществления этого масштабного проекта Эренбург создает при ЕАК литературную комиссию, в которую входят известные писатели и журналисты, среди них Абрам Суцкевер и Василий Гроссман.

Сама идея создания документального свода о судьбе евреев в оккупированных странах принадлежит не ему — она была выдвинута в концу 1942 года Альбертом Эйнштейном и Американским комитетом еврейских художников, писателей и ученых. Они тут же обратились к советскому ЕАК с предложением общего издания, в котором главы, посвященные судьбе советских евреев, являлись бы одной из частей. Понятно, что дальнейший ход событий полностью зависел от советско-американских отношений. Во время пропагандистской поездки в Соединенные Штаты Ицик Фефер и Соломон Михоэлс получают из Москвы согласие на сотрудничество в проекте публикации… но при условии, что книга будет издана только в Соединенных Штатах! Эренбург же настаивает на необходимости опубликования документов именно в СССР и именно тех томов, что посвящены советским евреям. На этот раз он оказывается отнюдь не интернационалистом! Тем на менее по распоряжению Андрея Громыко, советского посла в Вашингтоне, ЕАК пересылает собранные и обработанные литературной комиссией документы международной редколлегии по публикации «Черной книги», созданной в США. Эренбург, которого никто не посвящает в происходящее, негодует и отказывается от председательствования

Литературной комиссии; он рассылает письма авторам, у которых заказал материалы, информируя их о прошедшем и предлагая свободно распоряжаться текстами[418]. По мере того как советские войска продвигаются к Берлину, меняется политическая подоплека и, следовательно, судьба «Черной книги». В феврале 1945 года особая комиссия, созданная для выяснения разногласий между Эренбургом и ЕАК, решила, что будут составлены два издания: одно, чисто документальное, без участия Эренбурга, и другое — литературные очерки, заказанные Эренбургом разным авторам. Что касается этих последних, комиссия отмечала, что в них «излишне много рассказывается о гнусной деятельности предателей народа из украинцев, литовцев и др.»[419] В мае установлена новая литературная комиссия; из бывших редакторов в ней находится один Василий Гроссман. Отныне работа над «Черной книгой» будет проходить без участия Эренбурга.

Скоро победа… что дальше?

Разгром немецкой армии под Сталинградом в феврале 1943 года, капитуляция 6-й немецкой дивизии, той самой, что брала Париж и составляла гордость вермахта, сто тысяч немецких военнопленных, в том числе двадцать четыре генерала, — это переломило ход войны. Несмотря на то что открытие второго фронта в очередной раз откладывается, Сталин отдает приказ о массированном контрнаступлении. Настал черед немцев отступать. В августе в Москве прозвучали первые залпы победного салюта.

На фронте солдаты по-прежнему гибнут тысячами, однако победа Красной армии не за горами, и пришло время решать, что же будет после войны. В ноябре 1943 года Рузвельт, Черчилль и Сталин встречаются в Тегеране, чтобы заново перекроить мир. Не спуская глаз с Берлина и Польши, Сталин пристально следит и за положением внутри страны. Его подданные все еще верят, что их лишения и жертвы вернут им свободу, но уже готовится кампания против «упадничества», «индивидуализма» и «проявлений анархизма». Аппаратчики, отсиживавшиеся во время войны в тылу, возвращаются в города и колхозы насаждать прежние советские порядки. Возобновляются аресты и доносы, возрождаются страх и подозрительность — запахло 1937 годом. Сталин входит в роль Ивана Грозного (и к тому же поручает Эйзенштейну прославить в кино царя-тирана): он тоже собиратель земель русских, он жесток, но мудр и всесилен. В то время как советская пропаганда превозносит его военный гений и любовь к родине, как все громче воспевается Великая Россия, происходит депортация целых народов — крымских татар, чеченцев и др., обвиненных в сотрудничестве с фашистами. Эренбург тоже вносит в это свой вклад: «Старший брат в советской семье, русский народ достиг уважения других народов не самоутверждением, но самоотверженностью: он шел впереди, он идет впереди других по той дороге, где человека встречают не только цветы, но и пули»[420]. Заплатив положенную дань казенному патриотизму, он возвращается на свои позиции вечного интернационалиста: «Любовь к родной стране, к родному народу не сужает мир. Она его расширяет. В дни испытаний мы находим чувства, чтобы понять горе поруганного Парижа, муки Праги, страшную судьбу югославов. Мир нам стал ближе, и мы стали ближе миру. <…> Мы вступаем в третий год войны не одни»[421].

Однако и он ощущает, что страну снова берут в ежовые

рукавицы. На заседании Союза писателей в марте 1943 года Эренбург признается, что на него «повеяло довоенным литературным бытом от вступительного слова и докладов», иронизирует над директивами, в которых ставится задача создания «монументальных романов» в духе «Войны и мира», и над писателями, ожидающими, что война снабдит их «материалом»[422]. Скончался Юрий Тынянов, выдающийся литературовед и писатель, друг «Серапионов»: он давно болел, медленно угасая в атмосфере полного равнодушия со стороны Союза писателей. Эренбург сообщает о его смерти В. Г. Лидину (который тоже оказался в опале и был уволен из московского штата «Известий»): «Похоронили Тынянова. Было мало народу, и все происходило почему-то в Литфонде. На экзекуции не хожу, а им подверглись Зощенко и Асеев»[423]. Между тем руководство ССП усиливает бдительность: Федин, Платонов, Паустовский, Пастернак, Евгений Шварц, которого Эренбург отважно защищает, обвиняются в недостатке патриотизма: они-де в трудное для народа время отсиживались в «башне из слоновой кости». «Сто писем» — подготовленная Эренбургом подборка писем партизан, среди которых много евреев, — должна была выйти на двух языках — русском и французском: французская версия появляется в Москве в начале 1944 года, а русское издание пущено под нож. «Сейчас не 41-й», — цинично объяснили ему в Главлите.

В глазах Эренбурга появляется тяжелое, порой мрачное выражение, он все больше сутулится. Но он еще верен себе, не отворачивается от старых друзей. Анна Ахматова, вновь обратившаяся к нему с просьбой помочь вытащить из ГУЛАГа своего сына, пишет: «Еще раз благодарю Вас за готовность сделать добро и за Ваше отношение ко мне»[424]. Молодой драматург Александр Гладков вспоминает: «Кажется, в начале зимы 1943 года в клубе писателей состоялся необычный вечер. Известные и маститые поэты должны были прочитать свои первые стихи. <…> Большинство выступавших читали свои ранние стихи с высокомерной улыбкой нынешнего превосходства над ними, иногда почти на грани шутовства. Только Эренбург прочитал уже очень далекие от него юношеские стихи с покорившим всех уважением к своему прошлому»[425].

В сентябре 1943 года Красная армия подошла к Киеву. Освобождаются земли, с самого начала войны находившиеся под немецкой оккупацией; здесь проживало самое большое число евреев. Статьи Эренбурга о продвижении Красной армии наполнены ужасом и болью: «Тяжело украинцам, бойцам Красной Армии думать о своей родине <…> Наступая, Красная Армия

снова видит черные дела захватчика: пепелища городов, пустыню, тела замученных»[426]. В ходе освобождения Киева недалеко от города было обнаружено страшное захоронение — Бабий Яр, где немцы расстреляли сорок тысяч евреев. Чрезвычайная государственная комиссия в своем отчете предпочтет написать о «десятках тысяч убитых мирных советских граждан», не уточняя, что речь идет о евреях. Эренбург и сам в течение двух месяцев не может ни словом обмолвиться о том, что в числе солдат, вернувшихся «на свою родину» и не нашедших в живых никого из близких, были и солдаты-евреи. Однако не надо слишком быстро обвинять его самого в этой «забывчивости». О евреях — жертвах фашизма он может говорить только в Еврейском антифашистском комитете, писать в «Эйникайт», выходившем на идише, языке, на котором ему не дано прочесть собственных слов. На русском языке ему запрещено выражать свою боль. Но он находит выход своему гневу — в его военных статьях библейские заклятия и советские гиперболы сплавлены воедино: «Да будет наша ненависть едкой, как соль, и длинной, как жизнь! <…> Я не стану перечислять имена дорогие и для евреев и для русских. Мы строили общий дом. <…> Как русский писатель, я добавлю: как хорошо, что на русском языке раздается команда: „По немцам огонь!“»[427]

Эренбург знал: ту священную ненависть, которую он зажигал в читателе, ощущали и русские солдаты. Он дышал и чувствовал в унисон с бойцами. «Если вы увидите Эренбурга, передайте ему, что мы читаем все его статьи <…> Скажите ему, что мы ненавидим немцев после того, как увидели столько зверств, совершенных ими здесь, в Белоруссии… Они превратили этот край чуть ли не в пустыню»[428], — пишет молодой москвич солдат-артиллерист. Но Эренбург понимает также, что внешнеполитическая конъюнктура меняется: после того как летом 1943 года предпринята первая попытка создать в Москве Национальный комитет Свободной Германии, стало ясно, что пришло время выбирать более дипломатичные выражения и подчеркивать отличие «немцев» от «фашистов». Тем не менее он продолжает бросать проклятия на голову немцев: «Мы умеем прощать за себя, но не за детей. Мы умеем снизойти к смутному человеку, а не к изобретателям газовых автомобилей. Не мстительность нас ведет — тоска по справедливости. Мы хотим растоптать змеиное гнездо <…> Мы хотим пройти с мечом по Германии, чтобы навеки отбить у немцев любовь к мечу. Мы хотим прийти к ним для того, чтобы больше никогда они не пришли к нам»[429]. «Вы идете на запад с великой клятвой. Немцам больше не пировать. Немцам больше не воевать.

Довольно они погуляли! Теперь им висеть. Теперь им гнить. Мы их отучим воевать. Выбьем зубы. Мы им покажем в Германии, что такое огонь справедливости»[430].

Немецких и австрийских беженцев возмущает эта прямолинейная пропаганда. Нацистам она даже на руку: «Илья Эренбург призывает азиатские народы „пить кровь“ немецких женщин. Илья Эренбург требует, чтобы азиатские народы насиловали немецких женщин», — пишет в своем приказе командующий армейской группой Норд, воодушевляя своих солдат. Первого января 1945 года писателя удостоит внимания сам Гитлер: «Сталинский придворный лакей Илья Эренбург заявляет, что немецкий народ должен быть уничтожен»[431]. Из Англии и США ему шлют письма, призывающие к более христианским чувствам. Эти призывы и упреки его мало волнуют: он убежден, что на Западе никто по-настоящему не представляет себе чудовищности преступлений, которые совершались гитлеровцами на русской земле. Разве не отказалась англо-американская пресса публиковать материалы первого процесса над СС, проходившего в Краснодаре, полагая, что уничтожение 7000 человек в газовых грузовиках, подробности насилия над женщинами и детьми слишком ужасны для того, чтобы быть правдой? Через год, в августе 1944 года, поступают первые сведения из Майданека — концлагеря, расположенного на польской территории и освобожденного Красной армией. Они тоже не вызывают доверия: статья Симонова, опубликованная в «Правде», и даже сообщение Александра Верта, переданное по Би-би-си, воспринимаются как советская пропаганда. Только когда американские солдаты собственными глазами увидят в Германии лагеря смерти, придется признать достоверность невероятного.

Украина без евреев

6 июня 1944 года наконец пришла долгожданная новость: «Соединенные силы союзников совершили высадку на севере Франции». В то время как Франция и весь мир ликуют, тон советских репортажей отличается сдержанностью, и в них бесполезно искать авторитетных комментарий. Это подметил Александр Верт: «Единственная статья, посвященная этому событию, не считая чисто информационных сводок, была написана Эренбургом, и она представляла собой нечто несуразное <…> Он ограничился вежливым реверансом в сторону главных авторов десанта, после чего дал волю своей безудержной галломании. Он писал о Франции не чернилами, а слезами»[432]. О том, что в тот период выступления Эренбурга по поводу Франции действительно переполнены сентиментальностью, свидетельствует и Жан Катала. Он вспоминает лекцию, прочитанную Эренбургом в Москве. Это была смесь из «похвал рабочим, подпольной прессе, вооруженным силам Свободной Франции, затоплению французами своего флота в Тулоне, бургундским виноградарям, французским интеллектуалам и, среди прочего, робких упоминаний о генерале де Голле»[433]. На самом деле этот детский энтузиазм был не столь несуразным и бестолковым, каким может показаться на первый взгляд; Эренбургу надо было доказать, что Франция способна оправиться после поражения. И он был услышан, по крайней мере в Москве: «Выступление Эренбурга сопровождалось бурными аплодисментами, в заключительной части речи перешедшими в овации; слышались выкрики „браво!“. Я всматривался в лица слушателей: они ловили каждое его слово. <…> Они слушали как зачарованные. Они знакомились с Францией». Как считает Жан Катала, по отношению к Франции существовала настоящая «линия Эренбурга»: благодаря его пропаганде, Франция в сознании советских людей превратилась в «великий непокоренный народ». Между тем официальная линия, озвученная Сталиным неделей позже, была выдержана в совершенно другом ключе: вождь воздал должное успехам англо-американских союзнических сил, упомянув Францию всего один раз. Не зря: в Варшаве готовилось вооруженное восстание, руководимое польским правительством в Лондоне, отнюдь не дружелюбным к Советскому Союзу, так что поддержка национально-освободительных движений была снята с повестки дня. Последний этап войны проходит под местным контролем трех держав. Эренбург, казалось, этого не замечал.

Сразу после высадки союзников во Франции Эренбург уезжает на Белорусский фронт. Вместе с советскими войсками он входит в освобожденный Минск. За годы войны Белоруссия полностью выжжена и опустошена: целые деревни превратились в пепелища, сады вырублены под корень, угнан и уничтожен скот. Людей не видно, только виселицы и братские могилы — рвы, наспех вырытые немцами и засыпанные негашеной известью, чтобы скрыть следы преступлений. В этой безжизненной пустыне Вильнюс, который отступавшие немцы не успели сжечь, казался миражом. В Вильнюсе, в Минске, в других городах и населенных пунктах, через которые проходила армия, Эренбург встречается с еврейскими партизанами, слушает их рассказы о сожженных гетто, о войне в лесах, о помощи населения, но также и об антисемитизме местных жителей. Один рассказ страшнее другого. «Меня преследовала одна мысль, — записывает Эренбург: — человек способен на все». И вот человек Эренбург, обнаружив в руинах минского гетто двенадцатилетнюю девочку Фаню Фишман, забирает ее с собой в Москву с намерением удочерить. В конце концов, ее приемной матерью становится дочь Эренбурга Ирина, потерявшая мужа в самом начале войны.

Шок от увиденного был так силен, что советская власть ослабляет цензуру, и время от времени в печати появляются тексты, рассказывающие о еврейском сопротивлении нацистам: журнал «Знамя» публикует отрывки из «Черной книги» с предисловием Эренбурга, «Правда» берет его статью об Абраме Суцкевере, поэте и партизане, спасшемся из вильнюсского гетто; многие страницы брошюры Эренбурга «Дорога в Германию», которая тоже выходит в свет, посвящены партизанам-евреям из Белоруссии. Но все это — капля в море. Статья-реквием Василия Гроссмана «Украина без евреев» публикуется на идише в ноябре 1943 года, но по-русски она увидит свет только через год, и то во фронтовой газете!

«Везде плач <…> Но есть на Украине деревни, где не слышно жалоб, где не видно плачущих глаз, где царят тишина и покой. Тишина эта страшней слез и проклятий, страшней жалоб и громких причитаний… <…> И мне подумалось, что так же, как молчат Козары, молчат на Украине евреи. На Украине их нет. <…> О, если б на мгновение ожил бы убитый народ, если б поднялась земля над Бабьим Яром в Киеве, над могилой в Ворошиловграде, если бы пронзительный крик мог раздаться из сотен тысяч засыпанных землей губ, то содрогнулась бы вселенная!»[434]

Выступление Эренбурга на митинге ЕАК 2 апреля 1944 года тоже временами напоминает библейские погребальные плачи:

«Есть теперь в каждом городе, в каждом местечке Украины и Белоруссии священные могилы. К нам вернутся живые. Еще милее, еще дороже стала родная земля, окропленная кровью близких. Родина, город, где ты родился, дом, где ты вырос, ты вернешься к нему, боец! Ты вернешься к нему — после победы и после Берлина. Ты вернешься к нему, печальная беженка. Ты не перекати-поле. Ты не залетная гостья. Нет силы, которая могла бы отлучить человека от родного гнезда. Пусть оно разорено. Пусть навеки связано с муками близких. Ты его не променяешь на все кущи рая. Киев и Харьков, Гомель и Минск, Винница, Луцк, Ровно, Балта, Бердичев, Чернигов, Одесса… Здесь погибла твоя мать и твои дети. Здесь ты будешь жить, строить и помогать, помнить все до конца своих дней»[435].

Неужели Эренбург в глубине души все-таки верит, что они захотят вернуться? Летом 1944 года он познакомился с Гершем Смоляром, одним из руководителей еврейского сопротивления в Минске. Когда они позже встретятся в Москве, Эренбург расскажет ему о своей поездке в освобожденный Киев. «Он зашел в дом, в котором жил когда-то, — передает его рассказ Смоляр. — Дворник узнал его. Он спросил дворника: „А куда же делись все евреи?“ — „Слава Богу, немцы всех перебили“, — был ответ. Эренбург рассчитывал услышать от меня, что в Белоруссии было иначе. Он указал мне на кипы писем, которые громоздились и на полу, и на столе: „Возьмите любое. Все они об одном. Об антисемитизме в тылу. Повсюду, повсюду было слышно: ‘Долой евреев! Это те же немцы!’“»[436].

Нет, в глубине души Эренбург не питает иллюзий. Вот одно любопытное свидетельство: в один из этих дней к нему явились брат и сестра — еврейские подростки лет пятнадцати. Им удалось чудом спастись во время ликвидации львовского гетто. Эренбург записал их рассказ для «Черной книги», снабдил документами, одеждой, дал немного денег и добрый совет — при первой возможности уехать из Советского Союза: «Вы молоды, для евреев здесь нет будущего»[437]. Молчание и покинутость станут отныне уделом его народа. В октябре 1944 года власти запрещают читать в синагогах кадиш, молитву за расстрелянных в Бабьем Яре. Тогда он пишет стихотворение:

В это гетто люди не придут.
Люди были где-то. Ямы тут.
Где-то и теперь несутся дни.
Ты не жди ответа. Мы одни.
Потому что у тебя беда,
Потому что на тебе звезда,

Потому что у других покой.

(«В гетто»)[438]

Разумеется, он прекрасно понимал, что возвращение в свои гнезда не будет легким. Но решение, предложенное Еврейским антифашистским комитетом, столкнувшимся с огромными проблемами в связи с возвращением эвакуированных евреев на Украину, для него неприемлемо: в феврале 1944 года руководство ЕАК обратилось к правительству СССР с проектом создать Еврейскую автономную республику на территории Крыма[439]. В проекте тактично не упоминалось о том, что речь идет о территории, освободившейся после депортации крымских татар, обвиненных в коллаборационизме. Эренбург яростно воспротивился этому плану: «Эшелоны с репатриированными евреями не пойдут в Крым — они повезут их домой, в Житомир, в Минск, в Винницу»[440]. Ему всегда претила сама идея автономного еврейского поселения внутри страны, а сейчас он еще опасается, что проект «Крымской еврейской республики» вызовет подозрения и месть Сталина. Единственное мыслимое для него решение — либо ассимиляция, либо отъезд евреев на историческую родину, в Палестину. Неожиданно его союзником оказался Максим Литвинов, бывший нарком иностранных дел. Он высказался в том же духе: если евреям действительно нужна собственная страна, этой страной может быть только Палестина[441].

«Товарищ Эренбург упрощает»

В январе 1945 года Эренбург запрашивает разрешение следовать вместе с советскими войсками в Восточную Пруссию; чтобы не быть принятым за немца, он надевает форму, правда, без каких-либо знаков отличия; и вот он снова на переднем крае, где разворачивается наступление — теперь уже на территории противника. Солдаты Красной армии бесчинствуют, грабят и насилуют. Таких случаев немало. Впоследствии раздавались голоса (в частности, Лидии Чуковской и Льва Копелева, еврея, служившего в Восточной Пруссии переводчиком на допросах немецких военнопленных), которые обвиняли в зверствах советской армии Эренбурга и его антинемецкую пропаганду.

«Германия — злая ведьма. <…> Мы в Германии, горят немецкие города. Я счастлив! <…> В Берлин входят не только дивизии и армии. С ними идут рвы, братские могилы, овраги, заполненные телами невинных жертв, поля в Майданеке, засыпанные негашеной известью, и витебские деревья, на которых немцы повесили стольких несчастных. Мы воздвигнем виселицы в Берлине»[442].

Да, эта всепобеждающая, ненасытная ненависть не могла не заражать. Но послушаем и другого свидетеля, журналиста Александра Верта, который прожил всю войну в России:

«Все, что писали о немцах Алексей Толстой, Шолохов и Илья Эренбург, звучало мягко по сравнению с тем, что советский боец слышал собственными ушами, видел собственными глазами, обонял собственным носом. Ибо где бы ни проходили немцы, они везде оставляли после себя зловоние разлагающихся трупов. Но Бабий Яр был всего-навсего мелкой дилетантской проделкой по сравнению с Майданеком, где немцы уничтожили полтора миллиона человеческих жизней и который русские застали в июле 1944 года во всей его девственной красе. Запах Майданека был в их ноздрях, когда они входили в Восточную Пруссию»[443].

К концу войны и сам Эренбург не может не видеть, что ненависть, которую он разжигал в солдатах, принимает все более опасные формы. В конце марта 1945 года В.С. Абакумов, начальник СМЕРШа, военной контрразведки, (и будущий министр госбезопасности) направляет Сталину донос на Эренбурга: «В последнее время писатель И. Эренбург <…> возводит клевету на Красную Армию. <…> Эренбург говорил: „Культура наших войск невысока, в силу чего бойцы тащат все, что им попадется под руку, и главным образом даже не ценности, а разное барахло и лубочные изделия <…> В занятых городах и районах

происходит излишнее истребление, имеющее нечто общее с термином „бей, ломай, круши“. <…> Нам удалось привить нашим бойцам ненависть к немцам, но не презрение“»[444]. 14 апреля, открыв «Правду», Эренбург видит огромный заголовок: «Товарищ Эренбург упрощает». Статья подписана Г.Ф. Александровым. Начальник Управления агитации и пропаганды ЦК ВКП(б), объясняет, что «товарищ Эренбург упрощает», называя немцев «бандой разбойников» и требуя, чтобы все они несли равную ответственность за содеянное и получили соответствующее наказание как военные преступники. Подкрепляя свои слова цитатами из Сталина, Александров приходит к выводу, что немцы бывают как плохие, так и хорошие. Ясно, что Сталин уже закладывает фундамент будущей социалистической Германии, а Эренбург расплачивается за издержки. Глубоко уязвленный, а главное, встревоженный, он направляет Сталину письмо. Во-первых, он подчеркивает, что никогда не призывал «к поголовному уничтожению немецкого народа», как утверждается в статье; окруженный вдруг «атмосферой осуждения и моральной изоляции», он готов «в интересах государства <…> оборвать работу писателя-публициста»; если, наоборот, он еще пользуется доверием, он просит разрешения опубликовать в «Правде» опровержение обвинений[445].

После статьи Александрова он получает тысячи писем в поддержку со всех концов страны. Ему пишут бойцы Красной армии, ветераны; 3 мая приходит телеграмма от советских летчиков из Берлина: «Дорогой Ильюша <…> очень удивлены почему не слышно вашего голоса кто тебя обидел <…> не унывай дорогой друг шуруй так как ты начал»[446]. А Кремль молчит. Эренбург глубоко оскорблен, но он понимает, что нынешняя его опала, как бы тяжела она ни была, — оборотная сторона тех милостей, которыми его осыпали в 1940 году. Известный тогда как ярый антифашист, более того, позволивший себе промолчать по поводу советско-германского пакта, он тем не менее получил разрешение вернуться в СССР. Его даже не арестовали. Это не было просто счастливой случайностью. Все было просчитано наперед: ведь вождь, вступая в союз с Гитлером, не исключал и другого сценария. В случае войны Эренбург мог очень пригодиться — и Сталин держал его в резерве. И когда война действительно разразилась, Эренбург оказался на высоте, полностью оправдав надежды. «Со своим космополитическим опытом, воспитанный на французской культуре, этот рафинированный интеллигент интуитивно уловил чувства простых русских людей, — писал Александр Верт. — С

идеологической точки зрения он не был слишком правоверен, но из тактических соображений, учитывая обстановку, было решено предоставить ему свободу действий»[447]. В 1945 году обстановка меняется: энтузиазм Эренбурга, его ненависть к немцам, его «свобода действий» начинают раздражать. Ему пора уходить со сцены. Но не окончательно — может быть, совсем скоро его услуги вновь понадобятся. Но сейчас Илья Григорьевич не питает иллюзий: он отдает себе отчет, что его «опровержение» не появится в печати никогда. Он оскорблен, унижен, но сознает, что обижаться бесполезно.

Глава IX
ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС

Евреи — люди лихие,
Они солдаты плохие:
Иван воюет в окопе,
Абрам торгует в рабкопе.

Я все это слышал с детства,
Скоро совсем постарею,
Но никуда не деться
От крика: «Евреи, евреи!»
…….
Пуля меня миновала,
Чтоб говорили нелживо:
«Евреев не убивало!
Все воротились живы!»

Борис Слуцкий. «Про евреев»

Несостоявшееся свидание с победой

Столь ожидаемая победа застала Эренбурга в самом плачевном состоянии. Он столько на нее работал, а когда она стала явью, его на пир не пригласили. После статьи в «Правде», обвинившей его в «упрощенчестве», о поездке в Берлин не могло быть и речи. Выстраданное им детище, «Черная книга», продолжает свой тернистый путь без него.

Москва угнетает его. Здесь, в непосредственной близости от Кремля, от советских редакций, он особенно остро ощущает свою вынужденную изоляцию. Война физически измучила его — ведь для него она началась еще в Барселоне и длилась целых девять лет, а яростная ненависть, глашатаем которой он сделался за все эти годы, опустошила его духовно. Статья Александрова в «Правде» стала последней каплей. Он, как и многие, вернувшиеся с фронта, с опаской думает о послевоенной жизни.

Во-первых, где она будет протекать, эта его жизнь? Неужели он обречен безвылазно сидеть в Москве, навсегда распрощаться с Парижем? Эренбург, как и вся советская интеллигенция, еще надеется, что связи, завязавшиеся, казалось бы, так прочно между СССР и Западом во время войны, будут и дальше крепнуть. А пока надо как-то справляться с горечью, и лучшим средством для этого было решение покинуть столицу. Он отправляется в Ленинград по приглашению еврейской общины, чтобы присоединиться к молебну в Большой синагоге по случаю окончания войны: «Вы, тов. Эренбург, являетесь гордостью еврейского народа. Во время войны евреи всего мира нашли в Вас человека, с гневом и болью говорящего миру о горькой судьбе еврейства»[448]. В городе-мученике, ставшем символом стойкости русского народа, Эренбург встречается со своей первой любовью Елизаветой Полонской, с поэтессой Ольгой Берггольц, остававшейся во время блокады в городе и своими стихами поддерживавшей дух осажденных. В 1938 году вместе с мужем Берггольц была арестована; в 1940-м ее выпустили, но муж пропал без вести. Теперь, в 1945-м, она спрашивает Эренбурга: «Как вы думаете, все это может повториться?» Он ответил — нет, этого быть не может, но голосу его недостает уверенности. Из Ленинграда он отправляется в свой родной Киев. Там его как громом поражает новость: на месте массового убийства евреев, в Бабьем Яру, началось строительство колхозного рынка. Он тут же пишет письмо Первому секретарю компартии Украины Никите Хрущеву. Ответ не заставил себя ждать: «Советую вам не вмешиваться в дела, которые вас не касаются. Пишите лучше хорошие

романы»[449].

Писать романы… Желания ему не занимать. С 1944 года он вынашивает замысел — описать судьбу евреев в военные годы. Писатели, освободившиеся от страха, от пут бессодержательной риторики, вдохновленные титанической битвой народа, готовы помериться силами с великими классиками прошлого. Так появились «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана. Насколько замысел Эренбурга может по своей глубине и размаху сравниться с этими произведениями, отразить эпоху, уловить ее трагическое дыхание? Он медлит, колеблется, но замысел создать памятник своему народу, который заменит так и не поставленный над Бабьим Яром монумент, не покидает его.

Но ему вовсе не улыбается мысль закрыться в своем кабинете. Он охотно откликается на приглашения, поступающие со всех концов страны, отправляется в дорогу, чтобы прочесть доклад, побывать на открытии библиотеки, встретиться с солдатами. Пока наконец сам Г. Александров сообщает ему, что он приглашен в гости болгарскими товарищами, а болгарское Еврейское общество приняло решение отныне называться именем Эренбурга.

На ковре-самолете

Вспомним 1936 год. Сталин ввел жесткую паспортную систему, согласно которой советские люди лишались права свободно передвигаться даже по собственной стране; и тогда только один литератор имел основания с неподдельной искренностью слагать гимны во славу путешествий. Этим счастливчиком был Илья Эренбург: «Изумление необходимо как окно. <…> Я снова вижу холмы Тосканы, с их кипарисами, похожими на свечи, с их горячей темнотой; белые ночи под Северной Двиной; сухие, как позвонки, города Кастилии; фиорды; зеленые до рези в глазах пастбища Уэльса. Сесть в поезд, ехать, приехать, уехать, снова ехать — это настойчиво, неотвязно, это может стать горем, и все же это — счастье»[450]. Десять лет прошло, он стал осторожнее, аккуратнее выбирать слова; и все же — отдавал ли он себе отчет в том, какая пропасть отделяет его от участи советских людей? Дочь Ирина, во время войны работавшая переводчицей, рассказала ему, как происходила репатриация советских военнопленных, которые прибыли из Франции в Одессу, как поплатились они за то, что некоторое время дышали воздухом «загнивающего Запада» (будучи при этом, разумеется, либо в плену, либо, если удавалось бежать, в рядах Сопротивления): по прибытии все они были отправлены в лагеря. Но для Эренбурга паспортных ограничений не существовало: за год он объехал семь зарубежных стран. Правда, пока длился его «испытательный срок», он был вынужден ограничиваться поездками исключительно в страны строившегося «социалистического лагеря».

Безусловно, он все еще был нужен власти. Могло даже показаться, что он снова в фаворе. Его включают в состав советской делегации на Нюрнбергском процессе. Войдя в зал суда, он увидел знакомое лицо: это был прокурор Вышинский, тот самый, который в 1937 году расправился с Бухариным. Сталин командировал его в Германию, чтобы тот не спускал глаз с советских свидетелей, дававших показания на процессе. Перед ним, на скамье подсудимых, — убийцы, на совести которых десятки миллионов жертв, они пытаются оправдываться, доказывая свою невиновность «приказом свыше». Неужели о таком «торжестве справедливости» мечтал Эренбург во время войны?

Тем не менее поездка в Нюрнберг не прошла даром. Он снова смог встретить людей с Запада, познакомиться с новым поколением французских журналистов, коммунистов и

«попутчиков», среди которых оказались, например, Доминик Дезанти, сестра Лапина, мужа Ирины, и Эмманюэль Астье де ла Вижери. Перед международной аудиторией Эренбург преображался, исчезали его горечь и подавленность. Его манера говорить, которая когда-то зачаровывала иностранцев, изменилась: раньше это была смесь из полупризнаний, общих мест, тонких нюансов и недомолвок, теперь это — прямая пропаганда. Вспоминает Доминик Дезанти: «Подошли другие журналисты. Илья превратил наше интервью в пресс-конференцию. Он говорил, сопровождая свою речь изящными жестами длинных тонких рук: „Мы представляем двадцать миллионов убитых. Каждый из наших бойцов имеет право судить Геринга, Риббентропа, Кейтеля“»[451].

Исчезли оскорбительные выпады в адрес немцев, нет больше упреков союзникам. Эренбург снова стал «выездным», и в конце апреля 1946 года его вместе с Константином Симоновым и генералом М.Р. Галактионовым посылают в Нью-Йорк на конгресс американских писателей и журналистов. Накануне отъезда, инструктируя делегатов, Молотов сказал, что самым важным является не столько участие в конгрессе, сколько последующая трехмесячная поездка по стране, организованная Госдепартаментом. Этой командировке в Москве придавали большое значение: не прошло еще и месяца с тех пор, как Черчилль произнес в Фултоне свою знаменитую речь, где впервые употребил выражение «железный занавес» и призвал Соединенные Штаты твердо противостоять территориальным претензиям Кремля в Турции и Иране. Насущной задачей Москвы было развеять опасения Запада, опровергнуть обвинения в военной экспансии и укрепить свою репутацию борца за мир. Писатели и публицисты, прославившиеся в годы войны, были самыми подходящими фигурами для этой миссии. Сразу по прибытии в Нью-Йорк выяснилось, что задача гораздо сложнее, чем казалась: ни Симонов, ни Галактионов не имели навыка общения с западными журналистами. Зато, как свидетельствовал Симонов, Эренбург был в своей стихии и сумел спасти положение. Правда, он не слишком следовал марксистско-ленинской доктрине, но его парадоксы и здоровый цинизм пришлись как нельзя лучше ко двору. Симонов рассказывает о встрече с журналистами в Вашингтоне: «Был задан вопрос: „Скажите, а возможно ли у вас, в Советском Союзе, чтобы после очередных выборов господина Сталина сменил на посту главы правительства кто-нибудь другой, например господин Молотов?“ Я бы, тем более в ту минуту, наверное, не нашелся, что ответить. Эренбург нашелся. Чуть заметно кивнув мне, что отвечать будет

он, усмехнулся и сказал: „Очевидно, у нас с вами разные политические взгляды на семейную жизнь: вы, как это свойственно ветреной молодости, каждые четыре года выбираете себе новую невесту, а мы, как люди зрелые и в годах, женаты всерьез и надолго“[452]». Ответ вызвал хохот и аплодисменты, журналисты были восхищены. Однако долго так продолжаться не могло. Вопросы на пресс-конференциях становились все более коварными и агрессивными, так что советские делегаты ощущали себя в положении подследственных. Советское начальство заставляло их лгать, а американцы, принимая эту ложь за чистую монету, считали их недоумками. Самым уязвимым оказался генерал Галактионов: он пережил сталинскую чистку тридцатых, едва спасся от преследований НКВД и вопросы журналистов воспринимал как очередной допрос. Затравленный, он впадает в депрессию; да и сам Эренбург был на грани нервного срыва. Однако в отличие от своих спутников Илья Григорьевич не был обречен на общество работников советского посольства. Воспоминания о триумфальном визите в США Михоэлса и Фефера в конце 1943 года были еще живы, и его повсюду тепло принимают американские еврейские организации. Основная масса публики на благотворительных вечерах не вызывает у него никакой симпатии, но это не так важно: главное, он сумел повидать друзей — Стефу, бывшую его переводчицей в Испании, и ее мужа, художника Херасси, Юлиана Тувима, Марка Шагала, Романа Якобсона. Он знакомится с Шолемом Ашем, Оскаром Ланге и Альбертом Эйнштейном: для Эренбурга это не только ученый, но и человек, с которым они вместе задумывали «Черную книгу».

Когда три посланника СССР говорили о мирных намерениях советского народа, возможно, они выражали мнение не только властей, но и советской общественности: раздел сфер влияния на Ближнем Востоке носил закулисный характер, а что касается Восточной Европы, мало кто в СССР подвергал сомнению права, которые Советский Союз приобрел по отношению к странам, освобожденным от фашизма советскими бойцами. Само собой предполагалось, что население этих стран радостно приветствует преподнесенное ему социалистическое будущее. «Железный занавес» казался выдумкой Запада. Эренбург с особым удовлетворением напоминает, что именно он в апреле 1945 года обвинял союзников в недоверии к Советскому Союзу и попытках тайного сговора с «немецкими фашистами». Разве он не оказался прав? В его манихейском видении мира место Германии заняли США, ставшие на сторону зла. В романе «Девятый вал» об этом размышляет французский писатель, эмигрировавший в Америку:

«Сорок первый продолжается: теперь против коммунистов двинута страшная сила — Америка. <…> Я не думаю, что можно пасть ниже <…> Без шуток, немцы были куда тоньше. Никто в Европе не представляет, до какого умственного упрощения можно довести человека»[453].

По дороге в Нью-Йорк Эренбургу было разрешено остановиться в Париже. Там ему вручили орден Почетного легиона, там он повидал своих старых и новых друзей: Жан-Ришара Блока, Астье де ла Вижери, Арагона, Пьера Кота, Пикассо, Матисса, встретился с Дениз и Шанталь. На обратном пути — снова остановка во Франции; на этот раз его ждет более ответственная задача. Вместе с Симоновым ему предстояло встретиться с участниками Сопротивления, а также с русскими эмигрантами, чтобы убедить их вернуться в СССР. Во Франции коммунистическая партия была гораздо сильнее, чем в любой другой стране советской «зоны влияния». Общество дружбы «Франция — Советский Союз» процветало. Только что с большим успехом вышел французский перевод «Падения Парижа». Соединенные Штаты были для Эренбурга страной далекой и чужой; Францию же он любил, и его здесь любили, так что он почти позабыл о своей миссии посланца СССР.

Такое блаженное состояние длится недолго: 15 августа из газет он узнает, что секретарь ЦК тов. А.А. Жданов, ответственный за вопросы литературы (в качестве такового он присутствовал еще на Первом Всесоюзном съезде советских писателей в 1934 году), подверг жестокому и оскорбительному разносу Анну Ахматову и Михаила Зощенко, а также раскритиковал два главных ленинградских литературных журнала «Звезда» и «Ленинград». Вне всяких сомнений, это был сигнал к началу чистки в литературных кругах. Грубость и вульгарность ждановских формулировок превосходила даже лексикон, бывший в ходу в тридцатые годы: «подонки литературы», «пошляки, несоветские писатели», «гнилые, пустые, безыдейные произведения», «проповедник безыдейности и пошлости, беспринципный и бессовестный литературный хулиган», «блудница и монахиня, у которой блуд смешан с молитвой»… Эренбург был немного знаком с Зощенко, давним участником «Серапионова братства», популярным писателем-сатириком; с Ахматовой же его связывали не только дружеские узы, но и общий круг знакомств, общие воспоминания — о Модильяни, Мандельштаме, Цветаевой, общая история — предреволюционные 1910-е годы. В последний раз он видел ее 3 апреля в Колонном зале на вечере ленинградских поэтов, в том самом зале, где проходил когда-то съезд писателей. Этот вечер

стал настоящим триумфом Ахматовой — зал приветствовал ее стоя. Это и погубило ее: Сталин не терпел оваций в чей-либо адрес. Широко известна его реплика: «Кто организовал вставание?»

Выступление Жданова означало не только гражданскую казнь Ахматовой и Зощенко; оно было чревато неприятностями и для Эренбурга. По сути, был провозглашен новый курс, призванный покончить с «безыдейностью» и «непатриотичностью» в искусстве. С этого момента ответственные органы стали пристально следить за тем, чтобы в основе каждого литературного произведения обязательно лежала триада: идейность, партийность, народность. Новый еженедельник Управления агитации и пропаганды ЦК партии, газета «Культура и жизнь», должен был выявлять и разоблачать «гнилой либерализм», «буржуазное влияние», «низкопоклонство перед Западом». Все, воплощением чего был Эренбург, что составляло его ценность для общества, было подвергнуто критике и отрицанию. Все, что он отстаивал с 1934 года, еще со времен международного конгресса писателей-антифашистов в Париже, — открытость СССР остальному миру, сближение с Европой, «всемирная отзывчивость» русской души — все это теперь объявлялось «антисоветчиной».

Разумеется, наступление «патриотов» началось не вчера. На Кремлевском приеме 24 мая 1945 года по случаю победы Сталин произнес тост за русский народ:

> «Я пью прежде всего за здоровье Русского Народа потому, что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза.
>
> Я поднимаю тост за здоровье Русского Народа потому, что он заслужил в этой войне общее признание как руководящая сила Советского Союза среди всех народов нашей страны.
>
> Я поднимаю тост за здоровье Русского Народа не только потому, что он — руководящий народ, но и потому, что у него имеется ясный ум, стойкий характер и терпение».

Некоторое время казалось, что подъем патриотических чувств в русском народе может ужиться с уважением к союзникам и к Европе. В феврале 1946 года, когда отмечалась первая годовщина смерти А.Н. Толстого, Эренбург еще мог позволить себе сказать: «Здесь много говорили об его нутряной стороне. Мне хочется сказать, что Алексей Николаевич был европейцем, как это ни покажется странным. Правда, это менее модно сейчас при выступлениях <…> Но допустим, что мы выступали бы пять лет

тому назад или через пять лет, и возьмем вещи, как они есть. Алексей Николаевич очень любил Париж <…> он очень остро чувствовал связи судьбы нашей страны и нашего народа с судьбой европейской культуры, к которой он был близок и которой он дорожил»[454]. После речи Жданова такие слова были бы равнозначны самоубийству. Когда в сентябре 1946 года Симонов и Эренбург возвращаются домой из поездки по США, им становится ясно, что «железный занавес» — это реальность и они побывали по другую его сторону.

«Буря»

В такой накаленной атмосфере Эренбург приступает к завершению романа «Буря». Он начал его еще в 1945 году, но многочисленные разъезды остановили работу. Уже тогда он признавался Натану Раппопорту, члену Американского еврейского комитета, что работать ему трудно из-за враждебного отношения властей[455]. Но чем дальше, тем обстановка становилась туманнее и непонятнее. Злоключения «Черной книги» чутко отмечали колебания на «еврейском фронте». Власти непрерывно меняют планы относительно собранных материалов, то разрешая их публикацию за границей, то предлагая издать в СССР… американскую версию. В ноябре 1946 президиум ЕАК, за подписью С. Михоэлса, И. Фефера, В. Гроссмана и И. Эренбурга обращается к А. Жданову с просьбой помочь ускорить выход книги и распорядиться насчет необходимого лимита бумаги. Ответа не последовало, однако через два месяца, в феврале 1947-го, Жданов получает отзыв начальника Управления пропаганды, уже нам знакомого Г.Ф. Александрова, в котором категорически заявляется о «нецелесообразности» издания, так как книга дает «ложное представление об истинном характере фашизма и его организаций. Красной нитью по всей книге проводится мысль, что немцы грабили и уничтожали только евреев». И хотя рукопись все же передана в типографию, в августе решением Главлита, все работы будут остановлены. Буря надвигалась… но никакого намека на нее мы не найдем в романе Эренбурга.

Законченный в 1947-м, в разгар «ждановщины», роман «Буря» прежде всего характерен тем, что следует официальной советской версии в изображении Второй мировой войны. Там дается очень удобное объяснение советско-германского пакта, причин первых поражений, лакируется судьба военнопленных. Действие романа происходит во Франции и в Советском Союзе. Описанное братство по оружию между советскими и французскими коммунистами оказалось как нельзя к месту, ибо как раз в это время французская компартия превратилась в «первую партию Франции». Что касается еврейской темы, она нужна Эренбургу для того, чтобы опровергнуть «устаревший» принцип, которым руководствовалась советская пропаганда в начале войны — а именно тезис о единстве советского и зарубежного еврейства. Новую позицию автора в романе иллюстрируют судьбы двух персонажей, братьев Альпер, уроженцев Киева, в дальнейшем оказавшихся в разных странах: Осип остался в Киеве, а Лео, еще в детстве покинувший Россию вместе с отцом, очутился в Париже. В

1939 году Лео навещает брата в Киеве, но тот встречает его неприязненно, как иностранца. Ничто не в состоянии объединить их — ни то, что они дети одной матери, ни общие воспоминания детства: ведь Лео не участвует в выполнении пятилетки, ничего не знает о героических буднях советского народа. Во время войны Лео, находясь во Франции, вынужден прятаться и унижаться; в конце концов соседи выдают его немцам, его отправляют в Освенцим. Живущие же в Советском Союзе Осип и его жена Рая не знают, что такое одиночество и приниженность. Вокруг них друзья, с которыми он сражаются бок о бок. Мать и дочь Осипа расстреляны в Бабьем Яру, но для него это такая же трагедия, как и для других советских людей, пострадавших от немцев. Чувство еврейского национального достоинства выражает только один персонаж романа, профессор Дюма, француз, когда во время обыска он бросает коллаборационисту: «Мне сейчас обидно, что я не еврей — вы сделали из желтой звезды настоящий орден мученичества»[456].

В 1948 году идеологическая неразбериха достигает своего апогея. Вместе с войной кончилась недолгая эпоха относительной свободы и смелости. Переход на новые идеологические рельсы был до того внезапен, что ни писатели, ни те, кто за ними надзирал, не знали, как приспособиться к новому курсу. Еще не выработались четкие критерии, позволяющие отличить произведения «идейно-выдержанные», «наши» от «антисоветских», «идейно вредных». Генеральный секретарь ССП Александр Фадеев подвергается суровой критике за то, что в своем романе «Молодая гвардия» не сумел должным образом отразить руководящую роль партии, описывая борьбу молодежного подполья; Г. Александров, бывший заведующий Управлением агитации и пропаганды ЦК, автор только что выпущенной «Истории западной философии», удостоился от Жданова эпитета «беззубый вегетарианец», что подразумевало излишнюю терпимость к западным теориям. Когда «Буря» Эренбурга была представлена на соискание Сталинской премии, ответственный товарищ из ЦК протестовал: Эренбург-де отводит слишком важное место персонажам-французам, которые в конечном итоге выглядят убедительнее русских. Такая критика вполне согласовывалась с официальной линией. Но, как обычно, последнее слово сказал Сталин, и сказал то, чего никто не ожидал: он признал за Эренбургом право сохранять свою особость, ему даже рекомендовалось «не плыть по течению» (все книги, представленные на получение премии его имени, генсек внимательно прочитывал). Константин Симонов, участвовавший в этих обсуждениях, так воспроизводит слова Сталина: «Нет, по-

моему, неверно было бы сказать, что французы изображены в романе Эренбурга сильнее русских, — потом, помолчав, задумчиво добавил: — Может быть, Эренбург лучше знает Францию, это может быть. У него есть, конечно, недостатки, он пишет неровно, иногда торопится, но „Буря“ — большая вещь»[457], причем слово *знает* было четко выделено вождем.

За время совместной работы в «Красной звезде» и поездки по Америке Эренбург очень сблизился с Константином Симоновым. На двадцать пять лет моложе Фадеева, Симонов был его заместителем в ССП, а также главным редактором журнала «Новый мир», иначе говоря, занимал более высокое место в литературной номенклатуре, чем Эренбург. Находясь возле самой «верхушки», он часто информировал Эренбурга о настроениях Сталина; видимо, и на этот раз он не преминул сообщить Эренбургу об эффектном выступлении вождя в защиту «Бури». Отныне судьба Эренбурга определена: если он и нужен Сталину, то только из-за своих связей с Францией. Как уже говорилось, в тот момент Сталин нуждался в них; вернее, ему была нужна французская компартия, которой отводилась стратегическая роль в его европейской политике. И Эренбург оказывается в совершенно уникальной для советской жизни ситуации; какую цену предстоит ему заплатить, чтобы удержаться на такой высоте?

Годы позора

В ночь на 13 января 1948 года на улице Минска был раздавлен грузовиком Соломон Михоэлс, председатель Еврейского антифашистского комитета. Водитель грузовика — виновник и единственный свидетель происшествия, бесследно исчез. Официальная версия гибели Михоэлса мало кого убедила. Эренбург писал в «Эйникайт»: «Михоэлс погиб в Минске, городе гетто и партизан, городе, с которым связана еврейская гордость и еврейская скорбь. Для меня <…> он пал на поле боя, как солдат»[458].

Четыре месяца спустя, 1 мая 1948 года, Советский Союз первым *де-юре* признал новое государство Израиль, сопровождая этот жест поставками оружия. Признанию предшествовали два года дипломатических усилий: два года тянулись переговоры с Англией и Америкой с целью заставить их выполнить резолюцию ООН о разделе Палестины и создании еврейского государства на «земле обетованной». В этот день Эренбург отправляет телеграмму Альберту Эйнштейну: «Трагично рождение еврейского государства Израиль — акт о его создании написан не чернилами — кровью. <…> Если остались после страшных лет фашизма живые евреи в Европе, то это только потому, что советские люди, обливаясь кровью, положили конец торжеству расизма. Советское правительство тотчас признало новое еврейское государство. Это признание придаст силы героям, которые теперь отстаивают Израиль от наемных легионеров»[459].

По стечению обстоятельств в этих же самых числах в Государственном Еврейском театре проходит вечер памяти Михоэлса. Эренбург произносит вступительное слово; в своих мемуарах он напишет, что не помнит содержания сказанного. Однако текст речи сохранился и, более того, носит следы авторской правки. В приведенных ниже цитатах внесенные автором изменения даны курсивом; в квадратных скобках приводятся слова, вычеркнутые Эренбургом:

«Здесь, в театре, где так часто звучал голос Михоэлса, в этом зале, который он заселял чудесными своими образами, хочется говорить прежде всего об искусстве, но, когда я вспоминаю о той большой утрате, которую понес в лице Соломона Михайловича *вместе со всем советским народом* еврейский народ, я думаю о другом: о трагедии народа. А может быть, слиты две темы, как они были слиты в биографии Михоэлса? <…> Михоэлс был страстным патриотом нашей *великой* советской Родины [родины] и Михоэлс был хорошим [настоящим] евреем [горячо преданным

делу своего народа]. Только безумцу или слепцу эти две страсти [могут показаться] покажутся несовместимыми. <…>

Сейчас, когда мы вспоминаем творчество большого советского трагика Соломона Михоэлса, где-то далеко [и вместе с тем близко] рвутся бомбы и снаряды: то евреи молодого государства [Израиль] защищают свои города и села от английских наемников. Справедливость еще раз столкнулась с жадностью, кровь [благородных юношей] *людей льется из-за* нефти. Я никогда не разделял идей сионизма, но сейчас идет речь не об [идее] *идеях*, а о живых людях. <…>»

Далее Эренбург говорит «о [связи] *дружбе* советского народа и евреев *всего мира*, настоящих евреев [мира], а не отщепенцев, которые *преданы* [проданы] *золотому тельцу* [золоту] Америки. <…>

Ответ Вячеслава Михайловича Молотова на просьбу о признании нового государства Израиль наполнил надеждой и радостью сердца [солдат] *защитников* Палестины, и я убежден, что в старом квартале Иерусалима, в катакомбах, где сейчас идут бои, образ Соломона Михайловича Михоэлса, большого советского гражданина, большого художника, большого человека, вдохновлает людей на подвиги.

<…> Но я убежден, что и через сто лет дети [узнают, что был] *будут читать о* страстном патриоте *Советского Союза*, о страстном советском человеке, о страстном еврее, который обладал *гениальным* даром [актера]. Они узнают, что он играл на подмостках трагедии, трагедии разных веков и разных народов. А в его жизни была трагедия народа, и он не отвернулся от нее: с народом жил, и умер он, думая о народе [умер за свой народ]»[460].

Этот текст наиболее полно характеризует Эренбурга, его талант приспосабливаться и его раздвоенность. Эренбург приближается к своему шестидесятилетию, его организм подорван неистовым напряжением военных лет, изнурительной работой, постоянным лавированием в поисках выхода из непростых, порой драматических ситуаций; ум его окостенел от необходимости повторять заученные фразы, готовые формулы, старые шутки. Оставаясь наперекор всему евреем, гордясь этим, он воспевает еврейский характер, вековые традиции своего народа, его историческую миссию. И в то же время он — преданный слуга сталинского режима, который он подрядился защищать, даже ценой лжи. Но и отстаивая режим, он пытается сохранить верность друзьям. Какой ценой? Он лжет во имя правды, унижается, чтобы сохранить достоинство, молчит, когда

молчание громче слов. И вот его смиренная рука, приученная исправлять выходки чересчур ясного ума, зачеркивает в тексте речи слова: «Он умер за свой народ».

Отзвучали речи памяти Соломона Михоэлса и солдат Израиля; но не прошло и четырех месяцев, как 21 сентября 1948 года в «Правде» появляется статья Эренбурга «По поводу одного письма». Некий мнимый читатель, еврей из Германии, якобы просит Эренбурга ответить, станет ли государство Израиль настоящей родиной для советских евреев. «Ответ» Эренбурга, естественно, был написан по указанию Сталина. В нем говорится, что государство Израиль — пособник империализма и реакции, что у него нет ни чести, ни достоинства, ни чувства солидарности, ни прошлого — короче, нет будущего. Резкая перемена курса Кремля по отношению к государству Израиль объясняется, во-первых, растущим влиянием Англии и США в этой стране, а во-вторых, стремительно увеличивающимся числом евреев, желающих покинуть Советский Союз и выехать на историческую родину, что привело к запрету на эмиграцию вообще.

Статья не ставила под сомнение ни легитимности еврейского государства, ни справедливости его борьбы против арабских отрядов; стало быть, состоявшееся в мае признание Израиля Советским Союзом оставалось в силе. Статья лишь отвечала на вопрос, «является ли создание этого государства разрешением так называемого „еврейского вопроса“» или наоборот, Израиль представляет собой ловушку, мираж, а то и идеологический капкан, расставленный сионистами, если не кем-то пострашнее: «Конечно, есть среди евреев и националисты и мистики. Они создали программу сионизма, но не они заселили Палестину евреями. Заселили Палестину евреями те идеологи человеконенавистничества, те адепты расизма, те антисемиты, которые сгоняли людей с насиженных мест и заставляли их искать — не счастья, а права на человеческое достоинство — за тридевять земель. <…> Израиль напоминает этот корабль, ковчег, плот, на котором держатся люди, застигнутые кровавым потопом расизма и фашизма»[461]. Но не они господствуют в Израиле, а англо-американский капитал, который ради нефти готов продать национальные интересы. Итак, заключает Эренбург, разрешение «еврейского вопроса» может быть достигнуто только путем его упразднения, то есть путем растворения евреев среди прогрессивного человечества: «Судьба еврейских тружеников всех стран связана с судьбой прогресса, с судьбой социализма. Советские евреи вместе со всеми советскими людьми отстраивают

свою социалистическую родину. Они смотрят не на Ближний Восток, они смотрят в будущее. И я думаю, что трудящиеся государства Израиль, далекие от мистики сионистов, взыскующие справедливости, смотрят теперь на Север — на Советский Союз, который идет впереди человечества к лучшему будущему».

Евреи во всем мире, и в первую очередь коммунисты, члены Мапам — израильской рабочей партии, были потрясены. «Самое страшное предательство — это когда предают свои»[462], — с горечью сказал израильский посол в разговоре с Жаном Катала.

Тем не менее Эренбург пытается оградить себя от обвинений в предательстве. Он приводит длинные цитаты из текста Юлиана Тувима, польского поэта, своего друга. Текст «Мы, польские евреи…» был написан в Нью-Йорке, где Тувим нашел убежище во время войны, после восстания в Варшавском гетто в апреле 1943 года. Проповедник ассимиляции, чудесно владеющий польским языком, в 1943-м Тувим объявил, что он претендует на «титул еврея doloris causa» (в отличие от honoris causa — не за «заслуги», а за «страдания»), на право носить «Орден Желтой Повязки». Он писал: «Кровь бывает двоякого рода: та, что в жилах, и та, что течет из жил. Исследование первой относится к области физиологии. Тот, кто приписывает крови, кроме физиологических, какие-то другие свойства, какую-то таинственную силу, тот, как мы это сейчас видим, испепеляет города, вырезывает людей и, наконец, как мы это скоро увидим, ведет к гибели свой собственный народ. Другая кровь — это та, которую главарь международного фашизма точит из жил человечества, чтобы доказать торжество своей кровищи над моей кровишкой, это кровь безвинно погубленных миллионов, кровь евреев, а не „еврейская кровь“. Почему говорю „мы — евреи“? Из-за крови»[463]. Но для Эренбурга это кровное братство, как и борьба за создание еврейского государства, имело значение, пока шла война и лилась кровь; с крушением нацизма, оно превратилось в «мистицизм и мракобесие», то есть, в орудие реакции. Братство выживших после Катастрофы для него не более чем «естественная солидарность», характерная для жертв любых преследований: «Если бы завтра нашелся какой-нибудь бесноватый, который объявил бы, что все рыжие люди или все курносые подлежат гонению и должны быть уничтожены, мы увидели бы естественную солидарность всех рыжих или всех курносых».

Как уже было сказано, столь ответственный материал не мог появиться в «Правде» иначе, как по команде Сталина. Это сигнал к очередной чистке, к открытию нового фронта «идеологической

борьбы». Эренбург несомненно, отдавал себе отчет, какое значение имеет его статья; в то же время он прекрасно понимал, что незаменимых нет и подобное задание могли поручить любому верноподданному еврею. Ему ясно и то, что его статья только фиговый листок для уже спланированной кампании — хотя, быть может, он и не представлял себе всех ее последствий. Тем не менее был выбран именно он, а не кто другой, и, согласившись выполнить сталинский приказ, он посеял смятение среди евреев как раз тогда, когда особенно нужна была твердость и солидарность.

До сих пор он мог еще себя обманывать, объяснять рост антисемитизма в конце войны влиянием нацистской пропаганды, а убийство Михоэлса — бесконтрольными акциями НКВД. Однако на сей раз приказ исходил непосредственно от Сталина, у которого слово никогда не расходились с делом. В середине октября ожидался приезд в Москву первой израильской дипломатической миссии во главе с Голдой Меир, уроженкой Киева, одной из основоположников государства Израиль. Для десятков тысяч советских евреев это был шанс заявить о своих обидах и о своих надеждах. Эренбург понимает, что нервы напряжены до предела — он ведь и сам немало потрудился для этого, и для взрыва достаточно малейшей искры. Реакция властей на этот взрыв могла быть чудовищной. Позже, в шестидесятые годы, Эренбург объясняет, что своей статьей он стремился предупредить последствия возможного энтузиазма и развенчать стереотипы, связанные с образом евреев: «Да, евреи жили отдельно, но потому, что их к этому принуждали; <…> Да, многие евреи эмигрировали в Америку, но только потому, что насилия и оскорбления лишали их родной земли». Но даже если таковы были его намерения, эти последние попытки уже ничего не могли изменить — задача была поставлена, решение принято Сталиным и обжалованию не подлежало.

Сознавал ли Эренбург, что замысел Сталина касался и его лично? В отличие от Соломона Михоэлса и двадцати четырех членов ЕАК, которые будут арестованы в конце 1948-го и расстреляны весной 1952-го, Эренбурга физически пощадят, но скомпрометируют. От него требовалось, чтобы он отрекся от самого себя, чтобы он, певец «трагической судьбы еврейского народа», стал образцом его ничтожества. Он должен был предать анафеме то, что воспевал еще вчера, — создание государства Израиль, еврейскую солидарность; он должен был обратиться к евреям, пережившим Катастрофу, с призывом, как в 1927 году, осудить сионистские затеи, отказаться от борьбы за национальную независимость и возложить все надежды на

Советский Союз.

16 октября, в день еврейского Нового года, десятки тысяч евреев вышли на улицы Москвы, чтобы приветствовать Голду Меир. Толпа кричала: «Еврейский народ жив!» Через неделю, в Судный день (Йом Кипур) прошла еще одна многолюдная демонстрация. Опасения Эренбурга оправдывались. Сталинский план становился яснее: в конце ноября был распущен Еврейский антифашистской комитет, закрыты «Эйникайт» и две другие газеты, выходившие на идише, разгромлено московское издательство «Дер Эмес», разбиты типографские машины. Набор «Черной книги» был рассыпан. Находясь проездом в Вильнюсе, Эренбург посетил Еврейский музей и преподнес его хранителю опасный дар: две огромные папки материалов, собранных для «Черной книги», — фотографии, свидетельства, документы, и попросил хранить все это в музее, где они будут якобы в большей безопасности. Видимо, у хранителя музея было другое мнение: через некоторое время, зная, что Эренбург в отъезде, он постучался в дверь его московской квартиры и отдал секретарю обе папки, попросив вернуть их хозяину. По прошествии многих лет он признался, что по здравом размышлении решил, что в столь тревожное время квартира Эренбурга будет гораздо более надежным хранилищем для этих материалов, чем Еврейский музей[464]. Он не ошибся: в течение зимы 1948–1949 годов были закрыты все еврейские культурные учреждения на территории СССР — школы, газеты, театры и музеи. Были арестованы Исаак Фефер, который в 1943 году вместе с Михоэлсом совершил пропагандистскую поездку по Соединенным Штатам, и актер Еврейского театра Беньямин Зускин. В январе 1949 года забрали еврейских авторов, писавших на идише, — Давида Бергельсона, Переца Маркиша, Лейба Квитко, Соломона Лозовского, директора Софинформбюро, физика Лину Штерн (одна была единственной из двадцати четырех арестованных, кому сохранили жизнь, заменив высшую меру лагерем)[465]. Семьи репрессированных отправили в ссылку. Прочие члены Еврейского антифашистского комитета в страхе ждали, когда настанет их черед. Среди них Василий Гроссман, продолживший работу над «Черной книгой» после отстранения Эренбурга; знаменитый физик Петр Капица, до войны живший в Англии; режиссер Сергей Эйзенштейн, поэт и переводчик Самуил Маршак, скрипач Давид Ойстрах, пианист Эмиль Гилельс и многие другие. Их пощадили — на свой лад, конечно. Эйзенштейн после второй части «Ивана Грозного» впал в немилость и слег с сердечным приступом, от которого вскоре умер, Гроссмана в 1952 году изобличат в «идеализме, реакционности и антиисторизме», Капице запретят вступать в

любые контакты с зарубежными учеными. Что же касается Эренбурга, то его не только пощадили, но и наградили поездкой в Париж.

Кампания борьбы с «низкопоклонством» началась еще летом 1946 года; с тех пор выяснилось, что вышеупомянутое «низкопоклонство» и прочие проявления «гнилого мелкобуржуазного духа, национализма и антипатриотизма» — дело рук «безродных космополитов»-евреев. Кампания началась с разоблачения в «Правде» «группы театральных критиков». Прозвучал вопрос: «Какое представление может быть у А. Гурвича о национальном характере русского советского человека?»[466] (При том, что Гурвич родился в России и прожил в ней всю жизнь.) После театральных критиков настала очередь режиссеров, ученых, спортсменов, университетских профессоров, ветеринаров, бухгалтеров, журналистов и, разумеется, писателей.

Евреев преследуют, унижают, на них пишут доносы. Газеты пестрят карикатурами, на которых крючконосые и толстогубые создания всегда занимаются чем-то нехорошим. В школах, университетах, в прессе, на радио, в аппаратах администрации были введены квоты, вернулась пресловутая «процентная норма». В двадцатые годы, в эйфории интернационализма, многие евреи меняли еврейские имена на русские; теперь эти имена в печати в скобках снабжаются подлинной фамилией — проходит кампания по «разоблачению псевдонимов». «Замаскировавшихся евреев» шельмовали, называя их «безродными космополитами», «отщепенцами», «беспачпортными бродягами», «флагманами реакционного американизма» и «международного сионизма», «антипатриотическим элементом», которому «чуждо все русское и советское».

Напуганные редакторы больше не решаются печатать статьи Эренбурга; по Москве ходят стихотворные мистификации на еврейскую тему, приписываемые Эренбургу и Маргарите Алигер: их предъявляют как доказательство вины (пресловутое «хранение и распространение») арестованным на допросах в КГБ. Эренбург вспоминал, что как-то раз «один достаточно ответственный в то время человек на докладе о литературе в присутствии свыше тысячи человек объявил: „Могу сообщить хорошую новость — разоблачен и арестован космополит номер один, враг народа Илья Эренбург“»[467]. Очутившись снова на грани пропасти, он прибегает к проверенной тактике: пишет письмо Сталину. И гроза минует его: по поручению вождя ему звонят из Кремля и выражают удивление, почему, дескать, товарищ Эренбург не сигнализировал обо всех этих «недоразумениях» раньше? И

предлагают… отправиться в Париж на Конгресс сторонников мира.

Голубь мира

После поездки по США в 1945 году, а затем и по странам Восточной Европы Эренбург начинает осваиваться со своей ролью. Под бдительным оком шпиков из посольства, то освистанный враждебной публикой, то встречаемый овациями (причем его «левые» друзья и не подозревали, как ежеминутно рискует этот гений эквилибристики), он буквально ходит по острию ножа. В 1948 году его посылают во Вроцлав на конгресс Интеллигенция в защиту мира. Первая послевоенная встреча коммунистов и попутчиков символически состоялась на земле, отнятой у Германии и вернувшейся в Польшу. Эренбург должен был служить буфером между советскими и западными делегатами, еще не привыкшими к ждановскому лексикону, потрясенными филиппиками Фадеева, обозвавшего Сартра «гиеной». Зато, отработав положенное, Эренбург имеет право спуститься в бар отеля, пойти в мастерскую художника, повидаться с друзьями: с Пикассо, Матиссом, Карло Леви, Альберто Моравиа. «Завтраки, обеды, дискуссии о корнях слов и фактуре книг: словом, все то, без чего я не мог провести ни дня в европейском городе», — всего этого в Москве не было. Вновь мелькают виды в окнах поездов, в иллюминаторах самолетов, за кормой пароходов. Только за 1950 год он побывал в Швейцарии, Бельгии, Швеции, Германии, Англии, Бразилии. В том же году он публикует в «Правде» «Открытое письмо писателям Запада», тут же перепечатанное коммунистической прессой всего мира, в котором призывает деятелей культуры подписать Стокгольмское воззвание против атомного оружия. В следующем году его деятельность борца за мир разворачивается в Соединенных Штатах, Латинской Америке, Китае, Индии, Японии. В своих воспоминаниях он много раз подчеркивает, что это была «настоящая работа», словно желая убедить в этом и читателя, и себя самого. В те годы, когда под подозрение подпадали даже эсперантисты и филателисты, когда прекращали переписку с родственниками за границей, когда родители запрещали детям изучать иностранные языки, советский писатель-еврей Илья Эренбург разъезжает по всему миру и служит неопровержимым доказательством свободы, которой пользуются советские граждане, а также отсутствия антисемитизма в СССР.

Весной 1949 года, когда арестованы еврейские писатели, Эренбург готовит речь к предстоящему Конгрессу сторонников мира в Париже. В нескольких фразах он осуждает расовые и национальные спеси и утверждает, что «у мировой культуры

кровеносные сосуды, которые нельзя безнаказанно перерезать»[468]. Что это было? Отвага? Провокация? Но Сталин предварительно прочел текст выступления Эренбурга и как раз против этого места на полях написал «Здорово!». Сообщники понимали друг друга.

В Париже Арагон и Эльза Триоле спрашивают Эренбурга, что это за «борьба с космополитами», которые к тому же все как один евреи? Почему раскрывают псевдонимы? Эренбург уклоняется от ответа. В Париже ему плохо, он страдает, его преследуют кошмары, но к концу Конгресса он успокаивается: «…дело было чистым: постараться убедить всех, что третья мировая война уничтожит цивилизацию»[469]. Позже Эстер Маркиш, вдова расстрелянного поэта, выдвинет против Эренбурга обвинение: «В годы погромов, с 1949 по 1952, Эренбург объективно служил ширмой для режима. В то время, когда антисемитизм приобрел такой масштаб, что начал походить на национал-социализм, Эренбург, подчеркивая свое еврейское происхождение, ездил по всему миру, произносил речи в защиту сталинской „мирной политики“ и обличал с международной трибуны „клеветнические измышления“ о якобы ведущейся в СССР антисемитской кампании»[470].

В ходе своей поездки по Латинской Америке, выступая в Буэнос-Айресе перед представителями еврейских организаций, Эренбург заверяет, что отдельные проявления антисемитизма в СССР объясняются «нацистской отравой»; на вопросы о причинах исчезновения еврейских культурных организаций он отвечает, что советские евреи так долго добивались отмены черты оседлости, существовавшей при царизме, что теперь они совершенно не стремятся к национальной обособленности. В Лондоне он с негодованием обличает драматурга и эссеиста Джона Пристли, известного своими социалистическими взглядами, который сказал, что не подпишет Стокгольмское воззвание до тех пор, пока советским театральным критикам не разрешат участвовать в международных конференциях. «Это похоже на шутку, но, к сожалению, Пристли говорит это всерьез. Но я к нему обратился не по театральным делам. Я полагал, что все наши разногласия должны отойти на задний план перед основной задачей каждого мыслящего человека — отстоять мир»[471]. Эренбург при этом старается не уточнять, что речь идет о евреях, шельмование которых положило начало кампании против «безродных космополитов».

Когда Эстер Маркиш обвиняет Эренбурга в том, что он служил «ширмой» Сталину, она ловит его на слове: уж если он переживал такие душевные терзания, почему бы ему было не

сказать правду об антисемитизме и арестах в СССР? Тогда, быть может, арестованным писателям удалось бы избежать расстрела в 1952 году? (Семьи казненных узнали об их судьбе только в 1955 году).

Но была ли у Эренбурга свобода выбора? В условиях «холодной войны» любая откровенность привела бы автоматически к переходу в другой лагерь, что означало бы в лучшем случае эмиграцию. Мог ли он быть вполне откровенен с друзьями-единомышленниками — Пикассо, д'Астье, Арагоном? Во Франции проходил скандальный процесс Кравченко: Виктор Кравченко, офицер Красной армии, во время Второй мировой войны член советской закупочной комиссии в Вашингтоне, попросил политического убежища в США. Его книга «Я выбрал свободу» (*I Chose Freedom)* открыла западному читателю страшную правду об ужасах коллективизации и о советских лагерях. После того как литературный журнал французской компартии, руководимый Арагоном, «Les Lettres Françaises», обвинил Кравченко во лжи и в том, что он американский агент, тот подал в суд. Общественное мнение во Франции раскололось: левые, коммунисты и большая часть социалистов обвиняли Кравченко во лжи, продолжая верить советской информации. С ними ли было ему делиться своими страхами? Эренбург никогда высоко не ставил французских коммунистов: как-то, еще во время войны, он заметил в разговоре с Жаном Катала, что они «хотят быть большими роялистами, чем сам король», — и не ошибся. В 1953 году, когда Веркор захочет поместить в «Les Lettres Françaises» объявление о дискуссии вокруг «дела врачей», организованной Национальным комитетом писателей Франции, Арагон ответит отказом.

А вот мнение Елены Зониной. Дочь «врага народа», да к тому же с еврейской фамилией, она никак не могла устроиться на работу. Эренбург помог ей, взял к себе личным секретарем. Она воспоминает: «Совместная работа началась с того, что он оставил мне, уезжая, письма, поручив составить ответ. Когда прочел после приезда ответы, удивился: „Вы всегда так суровы? перепишите все помягче“». Она долго его не любила, он ей казался «чужим, эмигрантом». Работая переводчицей, Зонина подружилась с Сартром и Симоной де Бовуар; позже, в 1960—1970-х, она часто ездила во Францию и хорошо знала царившую там интеллектуальную атмосферу[472]. Она вспоминает: «Участие Эренбурга в Движении защиты мира, конечно же, было органичным. Для него самым важным в советском государстве была его антифашистская сущность. Антисемитская кампания 1949 года?.. Кому, скажите на милость, имело смысл про нее

рассказывать? Тем, которые знали правду и были при этом убежденными антисоветчиками? Никто, кроме них, ему бы не поверил. Среди журналистов восемьдесят процентов составляли провокаторы, а оставшиеся двадцать процентов просто ничего бы не поняли»[473].

Разумеется, Эренбургу было не по силам изменить ход событий. Не в его силах было спасти бессчетное количество «космополитов», арестованных в те годы. Он, конечно, мог бы не появляться на публике, не произносить речей, не писать статей, не участвовать в пропаганде сталинского режима, выступая с трибуны Конгресса защитников мира, что он делал постоянно во время своих поездок… Он мог бы вести себя по-другому, исполнить «обет молчания», остаться «верным людям, годам, судьбе». Да, он мог бы это сделать — ценой собственной жизни.

«Я не Дрейфус, а вы не Золя»

Заседания Всемирного Совета Мира, сессии, конгрессы следуют один за другим. Официальные встречи с товарищами из «братских стран», зачастую более бедных, чем СССР; поездки в «загнивающие капстраны», где его поджидают верные друзья, а также свора журналистов; посещение заморских экзотических краев — все это подкашивает его силы. И всюду он повторяет заученные фразы о присущем СССР стремлении к миру, о коварных планах Америки, о старой европейской и молодой советской культуре, об угрозе человечеству, о евреях в Советском Союзе, которые хотят говорить и писать только на русском языке. Обычно его сопровождают Корнейчук, Симонов или Фадеев — представители литературной номенклатуры и участники Всемирного Совета Мира.

Возвращаться домой после всех этих «завтраков, обедов и споров о корнях слов» было нелегко. После войны они с Любой поселились на главной улице столицы — улице Горького. Главная магистраль выглядела зловеще: темно-серые фасады домов, наглухо закрытые окна без цветов (ведь за цветами мог быть спрятан автомат!). Эренбург не любил эту улицу, да и вообще ему не нравилась новая Москва, при каждом удобном случае он уезжал из города. Эренбурги купили дачу в Новом Иерусалиме на берегу Истры, где когда-то жил Чехов. Там они принимали гостей, а Илья Григорьевич предавался своему новому увлечению — садоводству. У Эренбургов было две машины — личная и служебная с водителем, так что, если требовалось, он мог быстро вернуться в столицу; в Москве, однако, косо смотрели на его продолжительные отлучки за город. Не нравилось и «оригинальничанье» Эренбурга, не пожелавшего, как все писатели, иметь дачу в Переделкине.

В 1950 году в Стокгольме Эренбург познакомился с Лизлоттой Мэр. Ее муж М. Мэр был мэром шведской столицы, убежденным борцом за мир, одним из первых подписавшим Стокгольмское воззвание. С этих пор возвращаться в Москву стало еще трудней, — из-за Лизлотты. В 1951 году Эренбургу исполнилось шестьдесят, Лизлотта была моложе его на тридцать лет. Ее родители, немецкие евреи и коммунисты, выехали из Германии в Советский Союз в 1933 году. Лизлотта ходила в советскую школу и на собственном опыте знала, что такое сталинизм. Они с Эренбургом понимали друг друга с полуслова. Это была любовь с первого взгляда, которая переросла в глубокое чувство, — «моя последняя любовь», как позже напишет он в

стихах. С Любой их объединяла долгая совместная жизнь, общее прошлое, и в его возрасте классический «треугольник» сделал бы невыносимой жизнь в любой стране. В его же положении — особенно: всякая встреча с Лизлоттой, даже простая переписка с ней вызывала подозрения. После смерти Сталина, когда повеет свободой, они будут встречаться во Франции — и это станет огромным облегчением.

После «Бури» Эренбург в основном пишет речи и огромное количество брошюр и статей, посвященных борьбе за мир. Его литературное творчество сводится к пьесе «Лев на площади», обличающей «низкопоклонство» французов перед Америкой. В 1949 году вместе со всем советским народом, со всем человечеством и с Союзом писателей он празднует семидесятилетие Сталина. Его юбилейная статья носит заглавие «Большие чувства»: в ней говорится о том, какой спектр самых разных чувств питает прогрессивное человечество к Сталину: не только любовь, но и преданность, уважение, восхищение… Со своей стороны, Сталин воспитывает в «простых людях» гуманизм, веру в разум, любовь к свободе, ненависть к врагам и т. д. С 1950 года Эренбург не только борец за мир, но и депутат Верховного Совета — сначала от Рижской области, потом от города Энгельс Российской Федерации. Он очень серьезно относится к новым обязанностям, много времени уделяя своим избирателям. Однако пришла пора браться за новый роман — «Девятый вал» (имеется в виду волна, взметнувшаяся в защиту мира) должен быть закончен к XIX съезду партии, то есть к 1952 году. В ту эпоху книги оцениваются по концовке: есть ли на последних страницах апофеоз Сталину? В конце романа Эренбурга, как и положено, появляется вождь, стоящий на Мавзолее, — человек, «который знал старый мир, был с Лениным, боролся, сидел в тюрьмах и взял на себя тяжелое бремя: укрепил Советское государство, провел народ через страшную бурю, а теперь ограждает мир, дыхание, жизнь…»[474] Его улыбка вселяет новые силы в пожилую учительницу Нину Георгиевну, потерявшую на войне сына. Одна из сюжетных линий романа связана с главным «чудом науки» тех лет — «сталинским планом преобразования природы», который проводился в жизнь под руководством шарлатана лжебиолога Трофима Лысенко, обрекшего на ссылку в лагеря блестящую плеяду генетиков и биологов, сторонников теории Менделя. После смерти Сталина, когда готовилось к выходу издание избранных сочинений Эренбурга, от него потребовали убрать из «Девятого вала» все упоминания о «гнездовом посеве дубов», разработанном героем романа. Эренбург не соглашается: «Я считал и считаю, что изменения, которые издательство заставляет

писателя делать при повторном издании книги, не только дурно отражаются на художественной силе его произведения, но и дискредитируют моральный авторитет писателя, ибо любой читатель может сравнить два издания одной и той же книги»[475]. И хотя впоследствии он сожалел, что опубликовал этот роман, тем не менее и в нем есть эпизоды и персонажи, которые цензура не потерпела бы ни у одного другого автора: киевлянин-антисемит; парижский художник, рассуждающий о реализме в искусстве, о том, что живопись не должна напоминать цветную фотографию; представитель французских левых, критикующий коммунистов за их сектантство, за то, что они ведут борьбу за мир в отрыве от широких антикапиталистических масс; советский инженер, который жалуется на казенный язык и негодует по поводу ошибок, допущенных правосудием, и т. д. Какое значение имели эти отступления от избитых схем, эти проявления свободы в языке и мысли? Обратимся к почте Эренбурга тех лет.

Возвращаясь из своих заграничных странствий, он находил на столе огромную корреспонденцию, заботливо подготовленную Еленой Зониной. Письма поступали к нему через посредничество издательств, а также пересылались из редакции «Литературной газеты», которая, между прочим, имела своеобразную привычку вскрывать его корреспонденцию, оставлять себе оригиналы некоторых писем, а ему отправлять лишь копии. Протесты Эренбурга не давали никаких результатов. В 1953 году он добился разрешения повесить на двери своей квартиры большой железный почтовый ящик, снабженный массивным замком.

Среди его почты — письма от друзей и знакомых из интеллектуальных кругов Москвы, Киева, Ленинграда. Вот что пишет ему в 1951 году Борис Эйхенбаум, бывший опоязовец, друг Тынянова и Шкловского, ведущий литературовед, в 1948 году уволенный из Ленинградского университета за «низкопоклонство перед Западом»: «Я просто хочу поблагодарить Вас за Вашу статью „Писатель и жизнь“. В ней сказано так много нужного, важного, забытого, и сказано так хорошо, что она должна иметь значение. Она продиктована Вам историей: в ней есть дыхание и правды, и искусства, и нашей эпохи»[476]. Речь идет о статье, в которой Эренбург утверждал, что «описанию страстей должны предшествовать страсти»[477]; иначе говоря, литература должна сохранять верность правде жизни. На фоне тогдашней духовной пустыни даже эти скромные истины выглядели отважным проявлением живой мысли, и Эйхенбаум был взволнован и благодарен.

Немало писем приходило от интеллигенции в широком смысле слова: учителей, инженеров, студентов. Несмотря на то

что связи Эренбурга с заграницей всегда внушали опасения, люди пишут ему, делятся с ним своими впечатлениями от прочитанных книг, рассказывают о своей жизни, просят совета.

В сторону, в особую стопку, откладывались письма из лагерей и от родственников заключенных. Люди, лишенные какой-либо юридической помощи, обращаются к нему как к защитнику: «Писателю Илье Эренбургу. Я обращаюсь к Вам с просьбой помочь мне освободиться из лагеря… Поймите! Я не могу встать перед вами и убедить вас в том горе, в каком я нахожусь сейчас, а хлопотать за меня некому»[478]. Из этих писем перед ним встает подлинный образ страдающей России. В этой стопке самые разные письма — написанные на обороте регистрационной карточки, единственном клочке, который удалось раздобыть; в школьной тетрадке, купленной специально по такому случаю; выведенные каллиграфическим почерком или нацарапанные из последних сил, когда рука едва удерживает перо, — все они были криком о помощи. Порой письмо написано сухо, сдержанно, за ним угадывается бывший военный или руководитель; иногда, наоборот, старомодно торжественно, словно автор обращается к самому графу Толстому: «Слезно умоляю, — пишет шестидесятипятилетний шахтер, дважды награжденный в Великую Отечественную войну. — Я обращаюсь к Вам как к народному депутату и мировому поборнику истинной правды и справедливости, как к советскому писателю: Помогите! помогите! помогите!» В письмах нет описаний лагерной жизни. Чаще всего они начинаются с рассказа о себе или с военных воспоминаний, затем следует описание злосчастных перипетий и предпринятых попыток оправдаться, которые ни к чему не привели. Есть также письма от родственников заключенных: от «советских сирот», детей, у которых отец погиб на войне, а мать сослана в лагеря. От шестидесятипятилетней женщины-инвалида, приговоренной к 25 годам лагерей и возмущенной бесчеловечностью этого приговора: «Умоляю вас помочь мне. Вы моя последняя надежда». От двадцатисемилетнего инвалида, приговоренного к 15 годам трудового лагеря: «При своем рассудке я знаю, что мне вынесены меры наказания очень и очень жестокие. Пользы с меня никакой. Я нахожусь в отбросах мира и чувствую, что я здесь как „крепостной рабочий“». Ему пишут бухгалтеры, кладовщики с еврейскими фамилиями — всем им, и тем, кто украл два литра масла, и тем, кто ничего не крал, вынесли одинаково безжалостные приговоры. «Я не Дрейфус, Вы не Золя», — пишет ему киевский бухгалтер, арестованный по доносу и приговоренный к двадцати пяти годам. Он с достоинством поясняет, что не пытается вызвать жалость у писателя, а

рассчитывает на помощь депутата Верховного Совета, у которого есть возможность добиться пересмотра дела. Другие, напротив, пишут о доверии, которым прониклись к Эренбургу именно благодаря его книгам: «Вы известны как человек, который знает людей, как самого себя <…> Вас знают, как знаменитого советского писателя, любимого народом…» Порой в письмах он находит конкретные ссылки на свои произведения. В романе «Девятый вал», вышедшем в 1952 году, многих заключенных поразил эпизод, в котором доктор Крылов, депутат Верховного Совета, рассказывает французскому журналисту, как ему удалось исправить серьезную судебную ошибку. Заключенный тридцати одного года, оставшийся в восемь лет сиротой, проведший в лагерях в общей сложности восемнадцать лет, пишет: «Но тот журналист не слишком опытный, раз он удовлетворился таким ответом. Я вот если бы он [спросил] у вас очень много сидит людей также несправедливо осужденных, как и этот человек, которому вы помогли, но у них нет знакомых депутатов Верховного Совета …как вот с ними дело обстоит? <…> Это Вы, гражданин Эренбург, не вставили в своем романе такого вопроса потому, что Вы бы не смогли придумать ответа»[479]. В Эренбурге видят защитника евреев: «Я был арестован 21.06.1950 г. органами МГБ СССР <…> по обвинению в антисоветской агитации. В течение четырнадцати суток мне не давали спать ни днем, ни ночью <…> грубое и наглое обращение, брань, угрозы, издевательства, оскорбления национального достоинства: „жидовская морда“, „жидовская сволочь“, „много вас понаехало в Москву“ <…> Я не выдержал и подписал»[480]. А вот еще один прилежный читатель, копия Лазика Ройтшванеца; из его многостраничного письма приведем небольшой отрывок: «Несмотря на то, что я вне свободы, однако мне доступно читать Ваши выступления в различных частях земного шара. Вы недавно от имени Советской общественности возмущались и требовали освобождения безвинных жертв американского империализма, в частности шести осужденных негров к смертной казни. Вы тоже заступились за безвинно приговоренного к смерти Вили-Моги, даже к Вам лично обращались матери греческих патриотов. Вы подняли голос протеста за детей, находящихся в плену у англичан. Я в неволе разделял Вашу радость в момент, когда Вам посчастливилось побывать в свободном Китае и вручить от сотен миллионов людей премию Сунь Цин-Лин, сподвижнику и другу в деле защиты мира»[481]. Автор этого письма, заключенный П.М. Хоффман, имевший семь лет комсомольского и восемь лет партийного стажа, прошедший всю войну, «лишился самого дорогого — высокого звания члена ВКП(б) <…> а также и

свободы на восемь лет» за кражу пяти кубических метров леса (которые он имел глупость возвратить, когда протрезвел). Он ни о чем не просит, а просто хочет пообщаться со своим любимым писателем. На полях его письма Эренбург сделал пометку: «Запросить характеристику с места работы». Значит, он собирался заняться этим делом. Судя по дальнейшей переписке, безрезультатно. Есть в почте Эренбурга и коллективные письма — например, от «матерей из города Томска» (действие романа «День второй» происходит в этом городе), датированное 1950 годом: год назад матери двадцатилетних юношей, арестованных по доносу, благодарили Эренбурга за вмешательство, которое привело к пересмотру дела, и вот они пишут снова: да, молодые люди признаны невиновными, но из лагеря до сих пор не освобождены.

Раз в неделю Елена Зонина ходит на прием к адвокату Верховного Суда. Воспитанная в ортодоксальном коммунистическом духе, даже в своем положении изгоя она не одобряет «благотворительности» Эренбурга. По ее мнению, социальное зло и несправедливость могут быть искоренены только путем радикального преобразования общества; она снисходительно, даже с некоторым пренебрежением относится к попыткам Эренбурга помочь отдельным людям, называя это «теорией малых дел»: «Для меня он был эмигрантом, не настоящим советским человеком. Послевоенный период был очень трудным для идеалистов. Многие приходили повидать Эренбурга и поговорить с ним по существу, например спросить его, как стало возможным возрождение антисемитизма в СССР. Эренбург всегда отвечал им: „Оставим в стороне принципы, поговорим о Вашей личной судьбе“. Он не хотел говорить о политике с незнакомыми людьми. У него было мало иллюзий касательно принципов, провозглашаемых в нашей стране»[482].

В 1952 году Эренбурга навестил биолог-агроном Василий Меркулов, повстречавшийся с Осипом Мандельштамом на пересылке во Владивостоке. По словам Меркулова, перед смертью Мандельштам посоветовал ему разыскать в Москве Эренбурга, заверяя, что тот ему поможет.

Последнее письмо Сталину

13 января 1953 года «Правда» объявила о раскрытии заговора врачей, обвиненных в подготовке покушений на Сталина и ряд высших советских руководителей. Из девяти врачей, обвиненных в заговоре, шестеро были евреями, «агентами международной еврейской буржуазно-националистической еврейской организации „Джойнт“». Президиум Академии наук СССР потребовал для них смертной казни. Константин Симонов, главный редактор «Литературной газеты», нашел для них определение, которое осталось в истории: «убийцы в белых халатах». Евреев охватила паника: ожидаются повальные расправы, ходят слухи о виселицах на Красной площади, о спешном строительстве бараков в Средней Азии, о спецпоездах. Некий философ из ЦК партии якобы уже теоретически обосновал необходимость депортации, ждали только сигнала «сверху». В день годовщины смерти Ленина под его портретом в газетах публикуется указ о награждении орденом его имени женщины-врача «за помощь, оказанную правительству в деле разоблачения врачей-убийц».

В тот же самый день, 21 января Эренбургу вручается Сталинская премия «За укрепление мира между народами». В своей краткой речи на церемонии вручения он почти буквально повторяет то, что сказал на Парижском конгрессе в 1949 году: «Каково бы ни было национальное происхождение того или иного человека, он прежде всего патриот своей родины и он подлинный интернационалист, противник расовой или национальной дискриминации, ревнитель братства и бесстрашный защитник мира <…> На этом торжестве в Белом парадном зале Кремля я хочу вспомнить тех сторонников мира, которых преследуют, мучают, травят, я хочу сказать про ночь тюрем, про допросы, суды — про мужество многих и многих…»[483] Слова, которые были равнодушно выслушаны в зале Плейель в Париже, заставили замереть людей, сидевших в Свердловском зале Кремля. Речь, конечно, была воспринята как провокация, и в газетах появилась ее «подправленная» версия. Последствия не заставили себя ждать: через несколько дней работник ЦК КПСС товарищ Акшинский пишет Эренбургу письмо по поводу двух его романов тридцатых годов — «День второй» и «Не переводя дыхания», которые готовятся к переизданию в составе собрания сочинений: мол, в этих книгах о стройках пятилетки «непомерно много фамилий лиц некоренных национальностей»[484]. Разъяренный Эренбург пишет М. Суслову: «Я никогда не решился бы Вас побеспокоить,

если бы те замечания, которые меня глубоко озадачили, не исходили бы от товарища, принадлежащего к аппарату ЦК КПСС»[485].

В конце января в московской квартире Эренбурга появляются посланцы Сталина — И. Минц и М. Маринин. Они знакомят Эренбурга с текстом «открытого письма» от имени еврейских деятелей, которое должно быть опубликовано в «Правде». Под письмом уже стоит немало фамилий видных деятелей партии, науки и искусства. В самых казенных выражениях они шельмовали «клику убийц-врачей… большинство которых — еврейские буржуазные националисты, завербованные международной сионистской организацией „Джойнт“ — филиалом американской разведки» и требовали, «как и все советские люди… самого беспощадного наказания преступников»[486]. Это был прямой призыв к погрому. Под предлогом, что вопрос серьезный и ему необходимо время для обдумывания, Эренбург уклоняется от немедленного подписания и спешно предупреждает своего друга Вениамина Каверина, к которому отправились Минц и Маринин. Каверин также отказывается подписать письмо. Эренбург, потрясенный всем происходящим, садится за пишущую машинку и, изведя кучу бумаги на черновики, составляет письмо к Сталину. Вот каким получился последний вариант текста:

«Дорогой Иосиф Виссарионович,

я решаюсь Вас побеспокоить только потому, что вопрос, который я сам не могу решить, представляется мне чрезвычайно важным.

Тов. Минц и Маринин ознакомили меня сегодня с проектом „Письма в редакцию газеты ‘Правда’“ и предложили мне его подписать. Я считаю своим долгом изложить мои сомнения и попросить Вашего совета.

Мне кажется, что единственным радикальным решением еврейского вопроса в нашем социалистическом государстве является полная ассимиляция, слияние людей еврейского происхождения с народами, среди которых они живут. Это срочно необходимо для борьбы против американской и сионистической пропаганды, которая стремится обособить людей еврейского происхождения. Я боюсь, что коллективное выступление ряда деятелей советской русской культуры, людей, которых объединяет только происхождение, может укрепить в людях колеблющихся и не очень сознательных националистические тенденции. В тексте „Письма“ имеется определение „еврейский народ“, которое может ободрить националистов и смутить людей,

еще не осознавших, что еврейской нации нет.

Особенно я озабочен влиянием такого „Письма в редакцию“ на расширение и укрепление мирового движения за мир. Когда в различных комиссиях, пресс-конференциях и пр. ставился вопрос, почему в Советском Союзе больше не существует еврейских школ или газет на еврейском языке, я отвечал, что после войны не осталось очагов бывшей „черты оседлости“, и что новые поколения советских граждан еврейского происхождения не желают обособляться от народов, среди которых они живут. Опубликование „Письма“, подписанного учеными, писателями, композиторами и т. д. еврейского происхождения, может раздуть отвратительную антисоветскую пропаганду, которую ведут сионисты, бундовцы и другие враги нашей Родины.

С точки зрения прогрессивных французов, итальянцев, англичан и пр., нет понятия „еврей“ как представитель некой национальности, слово „еврей“ там означает религиозную принадлежность, и клеветники смогут использовать „Письмо в редакцию“ для своих низких целей».

Далее Эренбург предлагает вместо «открытого письма от еврейской общественности» опубликовать в «Правде» ряд статей, разъясняющих политическую позицию СССР по отношению к ситуации на Ближнем Востоке.

«Вы понимаете, дорогой Иосиф Виссарионович, что я сам не могу решить эти вопросы и потому осмелился написать Вам. Речь идет о важном политическом акте, и я решаюсь просить Вас поручить одному из руководящих товарищей сообщить мне, желательно ли опубликование такого документа и желательна ли под ним моя подпись. Само собой разумеется, что, если это может быть полезным для защиты нашей Родины и для движения за мир, я тотчас подпишу „Письмо в редакцию“»[487].

Каковы могли быть последствия такого поступка Эренбурга, Каверина и трех других «еврейских деятелей», которые уклонились от подписания письма? Этого мы никогда не узнаем. В довершение ко всему, как раз в эти дни, 9 февраля, в помещении советской миссии в Тель-Авиве происходит взрыв. Москва заявляет, что это провокация, и разрывает дипломатические отношения с Израилем. Судьба распорядилась по-своему: у вождя просто не осталось времени ни на принятие решения, ни на ответ двум писателям, ни на их арест; он не успел ни помиловать «народ предателей и убийц», ни депортировать его. У Сталина произошло кровоизлияние в мозг, и 5 марта 1953 года было объявлено о его смерти. Прошел месяц, и министр внутренних дел Лаврентий Берия, считавшийся преемником Сталина, публично объявил, дело «врачей-убийц» от начала до

конца сфабрикованной провокацией.

Глава X
ОТТЕПЕЛЬ

С тех пор все переменилось. Нет даже языка, на котором тогда говорили.

Б. Пастернак. Письмо Г. Гудзь, жене В. Шаламова 7 марта 1953 г.

…две России глянут друг другу в глаза: та, что сажала, и та, которую посадили.

А. Ахматова

Бог умер

«И вот бог умер от кровоизлияния в мозг. Это казалось невероятным <…> Вот это и было неправдоподобным: Сталин умер, а жизнь продолжается»[488]. Кое-кто уже лелеял первые робкие надежды на встречу с пропавшими близкими. Другие, наоборот, были в ужасе. Симонов, Фадеев, Эренбург впоследствии признавались, что их охватила паника. Они опасались самого худшего: полного хаоса, жестоких репрессий. Похороны Сталина, когда в давке погибли сотни людей, подтверждали дурные предчувствия. Усопшего оплакивали по всей стране, как в Союзе писателей, так и в детских яслях. Соцреализм достиг вершин лирического пафоса. Под пером Эренбурга вождь (который, как известно, был небольшого роста и питал отвращение к путешествиям) становится титаном, что меряет земной шар семимильными шагами: «В эти трудные дни мы видим Сталина во весь его рост, видим, как он идет по дорогам земли, высится над нашим грозным временем. Он проходит по горам родной Грузии, по полям битв между Доном и Волгой, по широким проспектам строящейся Москвы, он идет далеко по людным улицам Шанхая, по холмам Франции, по лесам Бразилии, по площадям Рима, по деревням Индии, идет по гребню века»[489].

Был ли Сталин для Эренбурга действительно «богом», кумиром, объектом слепого поклонения и безусловной веры? Нет. Впоследствии Эренбург скажет, что разделял веру большинства, но никогда не был фанатиком. Он признается даже, что скорее Сталина боялся. После заключения советско-германского пакта, когда Эренбург особенно остро ощущал потребность оправдаться перед собственной совестью и перед окружающими за свою преданность сталинской России, он возвел Сталина в сан «великого государственного деятеля». Начало войны как будто подтвердило эту оценку: Сталин не поддался панике, союзники признавали, что он полностью владеет ситуацией. В 1965 году, после выхода в свет последней части воспоминаний «Люди, годы, жизнь», журналист Эрнст Генри будет распространять по Москве «Открытое письмо к писателю Илье Эренбургу», в котором осудит его за безграничную веру в вождя, повинного в огромных человеческих жертвах: «Вы переплетаете с мыслью о злых делах Сталина другую мысль: о его величии. <…> Вы делаете это сознательно. Зачем, Илья Григорьевич?»[490] Но даже и тогда Эренбург будет стоять на своем: «В письме ко мне, которое ходит по Москве, меня упрекают, что я называю Сталина умным. А как же можно считать глупым человека, который перехитрил

решительно всех своих, бесспорно умных товарищей? Это был ум особого рода, в котором главным было коварство, это был аморальный ум»[491]. Эренбург не допускает и мысли о каком-либо сходстве между Сталиным и Гитлером. Последнему он не только отказывает в таланте военачальника и крупного государственного деятеля, но даже не удостаивает его звания гениального проходимца, сумевшего отвести глаза всему миру. Гитлер для него — символ безумия, поразившего человечество в XX веке. Сталин же, несмотря ни на что, видится ему воплощением тех сил, что противостояли этому безумию, боролись за сохранение в мире исторического разума.

Но Сталин не только победитель фашизма. Он хозяин Российской империи, которую, впрочем, теперь называют державой социализма, и Эренбург склоняется перед державной мощью. Когда же началось его преклонение перед сильной властью? Может быть, еще в начале века, когда его отцу разрешили покинуть черту оседлости и поселиться в Москве, хотя как раз накануне из города были выдворены все евреи? Или в 1919 году, когда он стал свидетелем безвластия, анархии, поставившей страну на край пропасти? Как бы то ни было, он уверен, что только сильная власть способна последовательно отстаивать интересы страны. Конечно, он задыхается в атмосфере тотального надзора, чахнет в замурованных стенах советской культуры, где ему приходится отчитываться за каждый свой шаг, брыкаться, артачиться, — но в конечном итоге всегда признает эту власть и исполняет ее приказы. Точно так же Эренбург будет вести себя и при Хрущеве, убежденный, что начатая сверху десталинизация обречена на провал, если она не будет опираться на сильную власть. Он до конца шел за Хрущевым, глотая оскорбление за оскорблением, — и хотя приспособленчество играло тут не последнюю роль, главным было не это: он считал своим долгом всеми силами помогать новой власти, шаткой, недальновидной, окруженной врагами, ибо только в ней видел единственного гаранта реформ. Он хотел быть ее просвещенным и преданным советником.

В то же время Эренбург не может не понимать, что любовь интеллигенции к власти отнюдь не взаимна. В 1953 году он пишет стихотворение, предназначенное для ближайших друзей:

Называли нас «интеллигентщиной»,
Издевались, что на книгах скисли,
Были мы, как жулики, развенчаны
И забыли, что привыкли мыслить.
Говорили и ногами топали,

Что довольно нашей праздной гнили,
Нужно воз вытаскивать безропотно,
Мы его как милые тащили,
Нас топтали — не хватало опыта,
Мы скакали, будто лошадь в мыле.
Но на кухню не давали пропуска
И без нас ту кашу заварили.
Много было пройдено и добыто,
Оказалось, что ошибся повар,
И должны мы кашу ту расхлебывать
Без интеллигентских разговоров.

(«Называли нас „интеллигентщиной“»)[492]

«Оттепель»

В июле 1953 года, через пять месяцев после смерти Сталина, Лаврентий Берия был смещен со своего поста, арестован и вскоре расстрелян. Власть поделили между собой глава правительства Г.М. Маленков и Первый секретарь КПСС Н.С. Хрущев. После постановления ЦК «О нарушениях законности органами Государственной безопасности» установление «коллегиального руководства» стало еще одним шагом на пути к пересмотру прошлого; однако символ прежнего порядка, Иосиф Сталин, оставался неприкосновенным. Новое руководство торопится начать реформы, необходимые для вывода страны из экономического кризиса. Хрущев настаивает на скорейших переменах в сельском хозяйстве — отрасли, где архаичность производства бросалась в глаза и грозила голодом. Маленков обещает ускоренное развитие легкой промышленности, заброшенной в период индустриализации, и изобилие потребительских товаров. Однако людей, уставших, запуганных, потерявших волю, было не так-то легко мобилизовать на ударный труд под новыми лозунгами. Партийные вожди знали, к кому обратиться: к писателям, «инженерам человеческих душ». Руководители Союза писателей — А. Фадеев, К. Симонов, Б. Рюриков, А. Корнейчук и первый секретарь правления ССП А. Сурков становятся в ряды сторонников нового курса. Созывается писательская конференция, посвященная «деревенской прозе»; на на конференции подвергаются критике романы, в которых допущена «лакировка действительности», общество изображено так, словно уже достигло обещанного изобилия, а советский человек подан как идеальный герой — в то время как в жизни он не лишен недостатков, ему случается, мол, нарушать закон, а иногда даже и проявлять чиновнические замашки! Много говорится и об организационных проблемах: в частности, Фадеев обвиняет Суркова в нарушении «принципа коллегиальности». Партийные руководители не скупятся на обещания свобод, сулят «творческим работникам» полную независимость, предлагается созвать съезд писателей (впервые с 1934 года!), который будут готовить и проводить сами писатели, без партийного контроля.

Эренбург тут же откликается на партийный призыв. В октябре 1953 года, пока правление Союза писателей проводит совещания, он садится за статью «О работе писателя». В ней говорится о трудном положении советских писателей, которых донимают критики, развращенные материальными привилегиями, настоящие «прокуроры», чей разбор часто превращается в

«обвинительное заключение»: «…Они ставят отметки, как экзаменаторы»[493]. Впервые после войны звучат имена зарубежных писателей — Джойса, Стейнбека, Хемингуэя, Пруста, без непременного замазывания грязью в последующих абзацах. Статья была с энтузиазмом принята читателями. Впрочем, уже два месяца спустя смелость Эренбурга перестала казаться чем-то из ряда вон выходящим: Александр Твардовский публикует в «Новом мире» статью В. Померанцева «Об искренности в литературе». Статья производит эффект разорвавшейся бомбы. Померанцев позволил себе проигнорировать два теоретических столпа соцреализма: партийность и идейность. Его тут же осуждают за «нигилизм» и «ликвидаторство», а «Новый мир» получает выговор. Померанцев выбывает из игры, однако Твардовский продолжает публиковать в своем журнале все более взрывоопасные тексты. Процесс обновления быстро выходит за рамки, установленные для него сторонниками Хрущева.

В такой обстановке в апреле 1954 года в журнале «Знамя» появляется повесть Эренбурга «Оттепель», которую ожидал громкий, даже скандальный успех. Скандал заключался уже в самом ее названии. На Западе журналисты сразу же окрестили «оттепелью» эпоху окончания сталинизма и «холодной войны». Однако в СССР двусмысленность этого понятия вызвала горячие споры. Что же все-таки было главным в этом образе? О чем шла речь — о конце зимы и о тех горах нечистот, что обнажаются с первым таянием снегов? Или же имелось в виду начало весны, поры надежд, обновления, возрождения к новой жизни? В 1963 году, в эпоху «заморозков» (которые, как известно, часто приходят на смену оттепели), разъяренный Хрущев набросится на Эренбурга: «С понятием „оттепель“ связано представление о времени неустойчивости, непостоянства, незавершенности… <… > Теперь все в нашей стране свободно дышат, с доверием, без подозрительности относятся друг к другу <…> Но это вовсе не означает, что теперь, после осуждения культа личности наступила пора самотека, что будто бы ослаблены бразды правления, общественный корабль плывет по воле волн и каждый может своевольничать и вести себя как ему заблагорассудится»[494].

Помимо названия, успех «Оттепели» объяснялся и тем, что Эренбург затронул в повести ряд запретных вопросов — отступление советских войск в 1941 году, вспышку антисемитизма в начале 1953-го. Читатели, не привыкшие к подобным откровениям, были потрясены, в то время как Эренбург всего-навсего уловил веяние времени и, откликаясь на политический заказ сверху, запечатлел начавшееся «обновление».

Когда на Эренбурга обрушится атака сталинистов, первый секретарь правления Союза писателей сразу поспешит к нему на выручку, подчеркнув, что он как «крупный писатель и общественный деятель» «много делал и делает в нашей литературе и в нашей всенародной борьбе за мир»[495].

Между тем атмосфера в литературных кругах продолжала накаляться. Новомирские литераторы толкуют слишком свободно некоторые критические высказывания Хрущева. Так, призывы развивать инициативу масс были восприняты ими как возможность наконец избавиться от опеки аппарата, а именно Союза советских писателей; под возвращением к демократическим принципам они понимали уничтожение табели о рангах, прочно устоявшихся в советской литературе; и, наконец, в соответствии с объявленным новым курсом в сельском хозяйстве они принялись разоблачать литературу, рисовавшую колхозный рай. Атакуемое сталинистами справа, а новомирскими литераторами слева — правление Союза писателей летом 1956 года принимает решение сместить Твардовского с должности главного редактора и назначить на этот пост Константина Симонова. В адрес «Нового мира» выносится официальное порицание.

И вдруг «Оттепель», которая до этого момента, казалось, отвечала официальной линии на обновление, объявляется «идейно порочной». Эренбурга заодно с новомирцами обвиняют в «нигилистических, эстетских», а то и «объективистских» взглядах. Ему ставится в упрек отсутствие «положительных героев», мрачное настроение и недооценка руководящей роли партии. Эти упреки, впрочем, были совершенно обоснованны. Роль демиурга в «Оттепели» отводится… снежному бурану. Именно метель завершает целую эпоху, в течение одной ночи сметая двух аппаратчиков, партсекретаря и директора завода, оторвавшихся от народа. Только благодаря метели выясняется, какую убогую жизнь влачат рабочие. Однако даже когда стихия отступает, Эренбург отнюдь не пытается вдохновить читателя на борьбу с прогнившей бюрократией во имя роста производительности труда; писателя гораздо больше интересует психология советского человека. Оказывается, под надежной броней из принципов и долга этот индивидуум скрывает постоянную тревогу, страх утратить самоконтроль, выдать свои чувства. Советский человек не способен ни любить, ни быть любимым. «Оттепель» — это советская версия сказки о Снежной Королеве: под действием «потепления» начинают оттаивать оледеневшие души, возрождаются чувства, оживают сердца. «Положительным героям» повести, созданным по канонам соцреализма,

единственным, которыми автор владеет, вдруг оказываются присущи человеческие черты. Они открывают мир страданий и страстей, при этом с воодушевлением обсуждая последние злодеяния империализма или технологию обработки металла. В своей статье «Что такое социалистический реализм» Андрей Синявский раскроет эстетическую несостоятельность такого приема: «Нельзя, не впадая в пародию, создать положительного героя (в полном соцреалистическом качестве) и наделить его при этом человеческой психологией <…> Это приводит к самой безобразной мешанине. Персонажи мучаются почти по Достоевскому, грустят почти по Чехову, строят семейное счастье почти по Льву Толстому и в то же время, спохватившись, гаркают зычными голосами прописные истины, вычитанные из советских газет: „Да здравствует мир во всем мире!“»[496]

Действительно, результат получился неожиданный. Если не сказать катастрофический. Но это было неважно: несмотря на провалы, «Оттепель» ждал стремительный всенародный успех — и ненависть собратьев по цеху. «Личная жизнь, построенная вне жизни общества, — это пережиток капитализма», — скажет Константин Симонов на Съезде писателей[497]. В Париже ему вторит Доминик Дезанти, выражая на страницах «Юманите Диманш» сожаление, что Эренбург предпочел сконцентрироваться на «отрицательных сторонах советского строя и советского человека»[498].

Советский художник

Не подлежит сомнению, что из всех человеческих типов Эренбургу по-настоящему интересен лишь один — тип художника, творца. Писателю шестьдесят три года, из них двадцать лет отданы служению Сталину. Наступает время подводить итоги. Эренбург столько говорил о преданности своему делу, о служении людям. А как насчет верности искусству, своему таланту, заветам Хулио Хуренито? Кто виноват в том, что со времен «Дня второго» романы Эренбурга ничего не стоят, а сам он, вконец опустошенный, уподобился автомату и не в состоянии довести до конца ни одной мысли, ни одного произведения? Что произошло с писателем, с художником?

Герой «Оттепели» Володя Пухов — молодой, но уже преуспевающий художник: он добился признания, у него своя мастерская в Москве, машина, деньги. Однако в погоне за успехом он растерял свой талант, предал свое призвание. Он быстро понял: если хочешь добиться чего-нибудь, нужно писать «белых куриц согласно инструкции», «панно „Пир в колхозе“ или портрет директора завода»[499]. Эренбург противопоставляет Володе его друга и однокашника Сабурова, который упорно стремится выразить свое, особое творческое видение, не боясь ни материальных лишений, ни общественного порицания (он, естественно, не принят в Союз художников). Критики Эренбурга будут утверждать, что Сабуров — художник, «оторванный от жизни», «формалист». Володя считает приятеля «шизофреником»[500], жалеет его — и в то же время завидует его свободе. Как же получилось, что Володя промотал свой талант, превратился в чиновника, выполняющего социальный заказ «согласно инструкции»? В отличие от директора завода Журавлева, некогда честного коммуниста, отклонившегося от «столбовой дороги коммунизма» по идейным соображениям, Володя поддался соблазну, возжелав обеспеченности и привилегий. Он «ни на кого не капал, никого не топил»[501], а просто-напросто плыл по течению, держась принятого русла. Собратья Эренбурга, которые шли тем же путем, стряпали на скорую руку плохие романы, произносили речи перед тупоравнодушной писательской аудиторией, участвовали в международных конференциях в защиту мира, — не верят своим глазам. Симонов, друг Эренбурга, обвиняет его в ложном пафосе: «В повести дана окарикатуренная картина жизни советского искусства». Володя Пухов, вместе того чтобы быть осужден, как когда-то Володя Сафронов, герой «Дня Второго», хотя и

представлен халтурщиком, оказывается жертвой: он «жертва положения, которое, по мнению автора, якобы сложилось в нашем искусстве»[502]. Дружбе двух писателей положен конец.

Сколько бы ни возмущался Симонов, отстаивая честь Союза писателей, мысль, что «творческие деятели», верные слуги режима, оказываются одновременно и его жертвами, все больше овладевала умами. Первый секретарь правления ССП Алексей Сурков патетически восклицал: «И не надо, Илья Гр.[игорьевич], разговаривать со мной, как с чиновником из соседнего здания. **Я в этом учреждении не палач, а жертва**, [подчеркнуто Фридой Вигдоровой. — *Е.Б.*] У меня спрессованная биография, и я хотя моложе вас на 8 лет, но чувствую себя как человек лет так под 200. И я прошу разговаривать со мной с уважением. Я не только чиновник, я человек»[503]. И сам Эренбург, оправдываясь перед читателями, упрекавшими его в умеренности антисталинских разоблачений, выражается в том же духе: «Можно подумать, что нет писательских трагедий, писательской судьбы»[504].

Лишенный доверия своих союзников — реформаторов из Союза писателей, причисленный ими к лагерю «нигилистов», Эренбург не сдается. Как всегда в таких случаях, он апеллирует на самый верх, в секретариат ЦК партии. Он не намерен ни оправдываться, ни каяться, он просто напоминает, что рукопись «Оттепели» перед публикацией представлялась ответственным партийным работникам ЦК КПСС и ССП и была ими одобрена: «Если моя повесть вредна, ее можно было не печатать»[505]. Он добивается права ответить в печати на наиболее агрессивные статьи, особенно на критику Симонова: «Только тогда я смогу истолковать появившиеся статьи не как предпринятую против моей повести кампанию, а как обсуждение произведения, и только тогда у меня будет снова возможность за рубежом отвечать на вражеские и провокационные выходки, с которыми мне пришлось столкнуться в Стокгольме во время Международной встречи по ослаблению международной напряженности»[506].

Письмо было встречено с пониманием, и после разговора Эренбурга с секретарем ЦК КПСС П.Н. Поспеловым в «Литературной газете» был опубликован ответ на статью Симонова[507]. В декабре 1954 года на Втором съезде писателей Эренбург ведет себя дипломатично, всячески подчеркивая дистанцию между ним и новомирскими «нигилистами». Более того, он обещает учесть допущенные им в «Оттепели» ошибки. Весной 1955 года он заканчивает вторую часть повести. В ней партии отводится подобающая ей «руководящая и направляющая роль», а советский человек, хотя его «оттепельная» эйфория уже

миновала и груз истории снова давит на плечи, возвращается к созидательному труду. Заплатив положенную дань, Эренбург сосредоточивается на той единственной теме, которая его по-настоящему волнует: советский художник лицом к лицу со своим прошлым, а точнее, с историей своего падения. Кто виноват в нем?

«Почему никто меня на этом дурном пути не остановил?»[508] — с таким вопросом обращается Володя ко всем соглашателям, поддерживающим миф о ведущей роли «народных масс», вдохновляющих и направляющих художника. В течение двадцати лет эти самые массы на съездах и собраниях призывали громы и молнии на голову художника, направляли его творчество, требуя еще большей идейности, еще больше тракторов, еще большей бдительности. Сегодня те же самые массы снова призывают «усилить бдительность», но теперь уже с учетом «имевших место злоупотреблений». Смертельно устав от этой трескотни, Володя наконец не выдерживает. Его жизнь не удалась, талант растрачен на пустяки, он восстает и требует справедливости. Но уже слишком поздно. Он угодил в западню, расставленную историей, и, вместо того чтобы мстить, топит свое горе в водке. В пьяном угаре он публично разоблачает своего друга Сабурова как «формалиста». На встрече с читателями Эренбург пояснял: «А другие, которые даже не пьют и не в провинции, не Володи Пуховы, а покрепче, посильнее, они так же рассуждают и по тем же причинам, что и Володя»[509]. «Оттепель» обнажила страшную картину послесталинской России, чудовищную смесь величия и ничтожества. И автор обращается к Достоевскому: «Вот тебе и преступление и наказание»[510].

Да, признав совершенное преступление, Эренбург ожидает наказания. О том, что оно не за горами, говорит многое: это и вопросы читателей, настойчиво требующих отчета за прошлое; это и враждебность коллег из Союза, готовых отречься от него, заклеймить как «эстета» и «формалиста»; это и позиция писателей-нонконформистов, одним росчерком пера зачеркивающих все «достижения» соцреализма и «трагедию» его создателей. Однако худшее было впереди. Благонамеренная вторая часть «Оттепели» еще не успела появиться в печати, когда в Москве открылся XX съезд партии. На закрытом заседании съезда Никита Хрущев выступил с докладом о «культе личности», разоблачающим преступления Сталина по отношению к членам партии. Впервые сделана попытка вскрыть механизм террора. Эренбург глубоко потрясен, раздавлен, обескуражен: «Это уничтожает все сделанное нами»[511]. Не он один чувствует себя обманутым, униженным до роли «колесика и винтика» советской

машины. Но Эренбург сумеет преодолеть и это испытание. Фадеев же, главный проводник сталинских постановлений в писательской среде, не смог вынести страшной правды. Соучастник «преступления», он сам определил для себя «наказание», пустив пулю себе в голову.

В поисках единомышленников

Вторую часть «Оттепели» ожидал полный провал. Перо, привыкшее писать под диктовку, не могло не подвести автора. Осознав неудачу, Эренбург решает навсегда покончить со своим романным творчеством. Он обращается к поэзии: «Когда пора давать ответ, / Мы разгребаем груду слов — / Ведь мир другой, он не таков. / Слова швыряем мы в окно / А с ними славу заодно»[512]. Теперь он хочет служить искусству по-другому, более скромно, но не менее действенно. «Малые дела», за которые он берется, на самом деле оказываются очень важными и нужными: Эренбург намерен вернуть русской культуре запрещенные и забытые имена; помочь молодым авторам, которые, не успев приобрести известность, уже запрещены; и, наконец, открыть Россию для Запада.

Как раз в это время в двух «самых веселых бараках социалистического лагеря», Польше и Венгрии, зреет недовольство, начинается колоссальное брожение умов. Сумеет ли Эренбург отыскать здесь единомышленников, сторонников «оттепели»?

В 1955 году в Москве возрождается журнал «Иностранная литература». Эренбург, ставший членом редколлегии, оценивает это событие как первую брешь, пробитую в «железном занавесе»: «Мы должны бороться против изоляционистских тенденций, против барьеров, которые возводятся в интересах тех, кто хотел бы повернуть вспять прогресс в мире»[513], — говорит он в интервью, данном польскому журналу. И тут же обещает, что в ближайшем выпуске «ИЛ» будет опубликован… великий польский поэт-романтик Адам Мицкевич!

В октябре того же года Эренбург и Николай Тихонов отправляются в Вену на заседание Бюро Всемирного Совета Мира. Из-за нелетной погоды самолет принужден совершить посадку в Будапеште. Пользуясь случаем, их приглашают на встречу с венгерскими писателями, среди которых, как им объясняют, «создалась нездоровая атмосфера»[514]. Эренбурга забрасывают «провокационными» вопросами, первым делом о критических отзывах в советской прессе на его новую повесть «Оттепель». Он с удивлением узнает, что в Венгрии перевод «Оттепели» «размножен только для служебного пользования, и, таким образом, мое произведение рассматривается как полузапретное». По возвращении в гостиницу он находит, что атмосфера на встрече была какой-то странной: «Я так и не понял, что приключилось с венгерскими писателями; ясно было одно: они

недовольны <…> Я понял все, но не в ту ночь — год спустя», — напишет он в своих мемуарах[515]. Если бы он поинтересовался, откуда взялось это недовольство, он бы легко узнал, что венгерские писатели, сгруппировавшиеся вокруг «Кружка Петефи», как раз в эти дни подписали меморандум, требующий десталинизации культуры. Но он ничего не знал — или не хотел знать. В Москве ему быстро все объяснили. Оказывается, его ответы венгерским писателям были доведены до сведения М.А. Суслова, наследника Жданова в ЦК партии. Эренбургу пришлось оправдываться: «Что касается меня, то, помня о „нездоровой обстановке“, я счел необходимым в заключении беседы призвать всех писателей к борьбе за наше общее дело и т. д. Бела Иллеш, который вел со мной переговоры до встречи, сказал потом, что мое обращение поможет писателям-коммунистам»[516]. Год спустя товарищ Бела Иллеш будет поддерживать ввод советских войск в Венгрию.

Почему же Эренбург выказывает такое равнодушие к начавшемуся в странах соцлагеря брожению, обходит его своим вниманием? Во-первых, на фоне событий в СССР оно, видимо, кажется ему чем-то малозначительным. Во-вторых, как всегда, он ведет себя крайне осторожно. В СССР сталинисты все еще сохраняют свое влияние, каждое отступление сторонников нового курса придает им силы. Они по прежнему ссылаются на Сталина и на три незыблемых принципа советского искусства: идейность, партийность и народность. Произведение, игнорирующее партийные директивы и непонятное массам, считается «антинародным». Эренбург знал, что с этой стороны он особенно уязвим (и не может рассчитывать на поддержку даже сторонников нового курса, враждебных художественным новшествам.) Он отдает себе отчет, что играет с огнем, но по мере сил старается идти вперед. Каждый его шаг сопровождается скандалами и перепалками.

В 1955 году ему удалось добиться разрешения на публикацию стихотворений Марины Цветаевой и рассказов Исаака Бабеля. До сих пор эти два имени находились в СССР под строжайшим запретом. После 1939 года выросло целое поколение советских людей, которые даже не слышали о подобных писателях. Разрешение на издание было получено, но осуществить дело на практике оказалось нелегкой задачей. Как раз в это время группа писателей из Московского отделения ССП получила разрешение издать альманах «Литературная Москва». Новшество публикации состояло в том, что она должна была редактироваться коллективно (во главе редколлегии стоял Э.М. Казакевич), без

ответственного редактора и без участия «аппарата издательства», иначе говоря, свободно от партийно-цензурной опеки. Первый выпуск альманаха был приурочен к XX съезду партии. К Эренбургу, конечно, обратились за материалом, и он решил передать свою статью о Цветаевой, задуманную как вступительное слово к сборнику, и несколько ее стихотворений. Это предисловие далеко выходило за рамки принятого жанра; в нем отчетливо звучит восхищение, смешанное с некоторой долей зависти к той, которая до конца осталась верной своему призванию. Это была дань уважения к судьбе художника, избравшего иной путь, нежели он сам, и сумевшего сохранить свой дар даже ценой жизни.

Но вот в октябре вспыхнуло венгерское восстание против коммунистической власти. Первой мишенью вдруг ободренных сталинистов стала «Литературная Москва». Альманах осуждают за сговор с «ревизионистами» (ярлык, который был приклеен к движению интеллигенции в Венгрии, Югославии и Польше), за «нигилизм» и «пессимизм». Совершенно неожиданно для себя Эренбург оказался в сомнительной компании. Град оскорблений в адрес Цветаевой рикошетом задевает и автора предисловия к ее стихам. «Горький назвал Сологуба „Смертяшкин“. Цветаева повторяет зады Смертяшкина», — пишет журнал «Крокодил». «Нам жаль усилий И.Г. Эренбурга. Положительно зря возводит он в перл поэтического творения „дорожные грехи праздношатающейся музы“»[517]. В результате сборник Цветаевой был вычеркнут из издательских планов. С критикой в адрес Эренбурга выступила и Анна Ахматова. С самого начала она отнеслась подозрительно к идее создания альманаха, посчитав, что это будет очередное конформистское издание, следующее официальному курсу. Теперь Ахматова обвинила Эренбурга в том, что он поспешил с публикацией:

<Встреча 11 мая 1957:> «Поведала мне дурную новость: слухи о том, что однотомник Цветаевой отменен.

— Вот и не надо было печатать Маринины стихи в неосторожном альманахе с неосторожным предисловием <…> Знаю, помню, Вы защищали стихи и предисловие! Поступок доблестный и вполне бесполезный. Мнение Ваше, или мое, или Эренбурга — кому оно интересно? А не выскочи „Литературная Москва“ преждевременно с двумя-тремя стихотворениями Марины — читатель получил бы целый том»[518]. Интересно, что такого рода сомнения и споры сами по себе были чем-то новым: они стали возможны только в эпоху «оттепели». Вопрос был почти гамлетовский — что предпочтительнее: выступать с открытым забралом, сражаясь за дальнейшую отмену ограничений и

сохранение недавно полученных свобод? Или же лавировать, обходить подводные камни, хитрить, уклоняться от ударов, чтобы не спровоцировать сталинистов на новые выступления? Урок «Литературной Москвы» наглядно продемонстрировал: проблема «оттепели» заключалась в том, что никто не знал истинных границ дозволенного, и даже «генеральная линия партии» не была определена до конца, а цель нового курса — размыта и неясна самим сторонникам.

Вместе с поэзией возвращается и давняя страсть к живописи. Уже давно он забросил рисование (а Люба бросила писать картины), но художники часто становились персонажами его произведений. У себя на даче и в квартире на улице Горького Эренбург собрал замечательную коллекцию изделий народных промыслов и современной живописи: здесь были и Марке, и Пикассо, и Миро, и Шагал, и неизвестные широкой публике советские художники, лишенные возможности выставляться. Эренбургу удалось вытащить из полного забвения двоих: своего старого друга Петра Кончаловского и армянского художника Мартироса Сарьяна. Их работы наконец попали на выставки — впервые со времен двадцатых годов. Своей активностью он навлекает на себя дружную ненависть художников-соцреалистов, считающих его апологетом «формализма» и «антинародного искусства». И вот тогда он замышляет грандиозный проект — выставку Пикассо в Москве.

С 1954 года Эренбург поддерживает регулярные связи с западными музеями, которые проявляют интерес к советским коллекциям из запасников Эрмитажа и Русского музея. Выступая в качестве посредника, он терпеливо объясняет министру культуры Е.А. Фурцевой, в чем заключаются выгоды культурного обмена, и помогает выстраивать отношения с бывшими врагами империализма, иногда предоставляя для выставок на Западе картины из собственного собрания. Но выставка Пикассо в Москве — проект совершенно другого масштаба. Загадкой была, прежде всего, возможная реакция публики. Советская молодежь впервые встретилась с современным западным искусством в 1954 году, при этом в качестве «последнего слова в живописи» фигурировали импрессионисты. Пикассо же считался символом самого что ни на есть «антинародного искусства», хотя и был коммунистом и антифашистом. На помощь является сам художник. Пикассо готов во всем поддержать своего старого друга; для московской выставки он предоставил сорок новых картин и приложил к ним послание такого содержания: «Я давно сказал, что пришел к коммунизму как к роднику и что все мое

творчество привело меня к этому»[519].

Выставка открылась 24 октября 1956 года. Церемония открытия задерживалась, толпа, штурмовавшая вход в Пушкинский музей, была накалена до предела, когда Эренбург обратился к собравшимся: «Товарищи, вы ждали этой выставки двадцать пять лет, подождите теперь спокойно двадцать пять минут»[520]. Председатель Союза художников А. Герасимов, автор монументальных полотен, счел выставку открытым вызовом, брошенным как ему лично, так и всему лагерю соцреализма. Еще в 1948 году, во время кампании против «космополитов», Герасимов пытался дискредитировать Эренбурга, ставя ему в вину нелестные отзывы о Репине и «систематическую пропаганду произведений Пикассо»[521]. Сейчас он перешел к открытому наступлению: на выставке Пикассо появлялись странные личности, которые начинали громко протестовать против «этой мазни и шарлатанства»[522], пытаясь сорвать со стен картины; пришлось даже вызвать милицию.

Пока в Москве проходит скандальная выставка, в Восточной Европе раскручивается очередная «провокация», на сей раз мирового масштаба: она и похоронит надежды, связанные с оттепелью. В тот же день, 24 октября из Будапешта поступают первые сообщения о начавшихся там массовых выступлениях против режима — толпы людей выходят на улицы, требуя отставки правительства Ракоши. Первого ноября в столицу Венгрии вводятся советские войска. Восстание потоплено в крови.

Венгерские события

Впечатление, произведенное докладом Хрущева на XX съезде на литературные круги, стало беспокоить партию и до венгерских событий. Но решительно отступить от линии на десталинизацию заставило ее восстание в Будапеште. Первым делом расправились с романом В. Дудинцева «Не хлебом единым». Потом настал черед Константина Симонова, ответственного за эту публикацию в «Новом мире» — ему пришлось уйти с поста редактора журнала. Если сам съезд заставил сталинистов сбавить тон, то теперь явный рост антисталинских настроений вызывает все большее беспокойство и у самих сторонников нового курса. Венгерские события и роль, которую сыграл в них «кружок Петефи», были восприняты как последнее предупреждение: свободно мыслящие писатели, которые в состоянии дать независимую оценку историческому прошлому, представляют серьезную угрозу. Партийное руководство, некогда сумевшее по достоинству оценить силу воздействия литературы и подчинить ее своим целям, вдруг осознает, что это мощное оружие может обратиться против него.

От грохота советских танков по улицам Будапешта левые круги на Западе наконец проснулись. Если доклад Хрущева на XX съезде партии поверг всех в смятение, то теперь они решительно порывают с тактикой стыдливого замалчивания и во весь голос заявляют о своем беспокойстве по поводу происходящего. Восемнадцать известных представителей левой интеллигенции Франции, в том числе Жан-Поль Сартр и Веркор, друзья Эренбурга, писатели и члены компартии Клод Руа, Роже Вайян, Клод Морган и другие, публикуют открытое письмо советским писателям, протестуя против «вооруженной советской интервенции» в Венгрии.[523] В 1956 году, спустя десять лет после взятия Берлина, эта формулировка воспринимается в Советском Союзе как пощечина. Все советские писатели, от сталинистов до новомирских нонконформистов, забыв об идейных разногласиях, составляют пространную отповедь, напоминая об Испании и фашизме. Эренбург и Паустовский, которые в это время находились в Хельсинки с заданием попытаться залатать пробоины, образовавшиеся в Движении сторонников мира, разумеется, присоединяются к этому письму. Клод Морган, главный редактор журнала «Horizons», парижского органа Движения, был очевидцем венгерских событий. Он направляет Эренбургу взволнованное письмо, в котором живо описывает весь ужас происшедшего. Однако Эренбург, как и все его собратья по

цеху, оправдывает ввод советских войск: «…шла война, и рассуждать, что мы обороняемся не тем оружием, было глупо»[524]. При этом больше всего его огорчает то, что погибли плоды его многолетних усилий, а сам он оказался скомпрометированным в глазах Запада: «…чересчур было горько расплачиваться за чужие грехи»[525].

Однако брешь не так легко залатать. К. Морган, Ж.-П. Сартр, К. Руа, Р. Вайян выходят из компартии. Один лишь Веркор пошел на попятный: «Кого же мы осудили в порыве негодования? Тех самых людей, которые накануне венгерского восстания выступали за коммунизм с человеческим лицом. <…> В таком свете жестокая драма приобретает величие и размах, достойные шекспировских трагедий. <…> Наследники Макбета пожелали наконец восстановить справедливость, искупить злодеяния, заплатить по счетам»[526]. Эренбург спешит поздравить Веркора с тем, что тот не пошел по неверному пути Сартра, и, поскольку абсолютно необходимо продолжать диалог между Западом и СССР, предлагает следующий совместный проект: организовать в Москве выставку французской художественной репродукции, которая была запланирована еще до советского вторжения. Суть предприятия не так уж и важна.

Несомненно, Эренбург очень доволен тем, что Веркор проявил благоразумие и принял к сведению его соображения. Во время пребывания Веркора в Москве оба деликатно обходят молчанием щекотливые вопросы и беседуют исключительно на злободневную тему сохранения альпийской флоры[527]. Но западные интеллектуалы, которые, вместо того, чтобы поддержать «наследников Макбета» требуют их к ответу, обвиняют во всем коммунизм и покидают ряды сторонников мира, вызывают у него явное раздражение. Он пытается вернуть своих прихожан в «лоно церкви».

Между тем после расправы с «Литературной Москвой» Эренбург, как и все авторы злополучного альманаха, находится в опале. Тем не менее, ему разрешают напечатать статью «Необходимые разъяснения», адресованную, главным образом, зарубежным читателям. «Душевная растерянность», «духовная незрелость», «внутреннее смятение» — так характеризует Эренбург поведение западной интеллигенции. Суть статьи сводится к следующему: когда началось разоблачение культа личности, некоторые деятели западной культуры, которых трудно причислить к поклонникам капитализма, растерялись и усомнились в идеалах коммунизма до такой степени, что теперь рискуют потерять доверие советского народа: «Видя, что мы осуждаем отдельные ошибки нашего прошлого <…> [они]

начали ставить под сомнение все достижения советского общества и советской культуры <…> Мы не собираемся отказаться от критики наших недостатков, наших ошибок из-за того, что это может расстроить или даже перестроить некоторых западных писателей или ученых. Мы хотим любви не „слепой“, а умной, той, которой заслуживает наш народ и наша культура»[528].

Позже в мемуарах Эренбург подробнее напишет о переживаниях своих зарубежных друзей, при этом не слишком заботясь о законах дружбы. Роже Вайян у него постоянно льет слезы; Клод Руа полностью потерял душевное равновесие: «Напрасно я пытался его урезонить, он меня измучил своими мучениями»[529]. Резонанс от этой филиппики получился довольно скромным. Орган французских коммунистов газета «Les Lettres françaises» вовсе проигнорировала послание.

В шестидесятые годы Симона де Бовуар и Жан-Поль Сартр не раз встречались с Эренбургом как в Москве, так и за рубежом, на конгрессах Движения за мир. Симона де Бовуар вспоминает: «Особенно раздражала его самоуверенность. Он считал себя послом культуры страны, в руках которой будущее мира. Настоящий коммунист убежден в своем монопольном владении истиной, и неудивительно, что Эренбург всегда говорил тоном проповедника на амвоне. И только личное обаяние и острая проницательность смягчали его догматизм»[530]. В этом описании верно лишь одно: Эренбург действительно считал, что он представляет культуру страны, определяющей будущее мира. Но он не был ни «настоящим коммунистом», ни догматиком. И он имел полное право относиться к Сартру с чувством некоторого превосходства после того, как тот, еще недавно метавший громы и молнии против коммунистов и Москвы, снова присоединился к *его*, Эренбурга, Движению за мир, поддерживая контакты с Сурковым, Корнейчуком и прочими аппаратчиками от литературы[531]. И это Сартр, с его независимым умом, знанием «изнанки» советской жизни (которым он был во многом обязан своей дружбе с Еленой Зониной), занимающий особое место среди «друзей СССР»! А когда «образцовый дилетант» и «донкихотствующий политик»[532] Эмманюэль д’Астье де ла Вижери в своих бесконечных письмах рассказывает Эренбургу о «душевных терзаниях» французских сторонников мира, то тот в ответ просит прислать ему сигареты «Галуаз», бургундского и кроссворды.

Эренбург под обвинением

Веркор, проводя параллели с Шекспиром, опоздал на целую эпоху: тиран умер, а продолжающееся разоблачение культа личности превратилось в нескончаемую вереницу обнародованных гнусностей, и ничем не напоминало «шум и ярость» шекспировских трагедий.

Как часто бывает в истории, второй раз трагедия повторяется как фарс. И вот в ноябре того же 1956 года Эренбурга просят подписать протест советских граждан еврейской национальности против израильской агрессии: 1956-й год ознаменовался не только маршем советских танков по Венгрии, но и Суэцким кризисом, вторжением израильской армии при поддержке Англии и Франции в Египет и полной победой Израиля. По словам близких, Эренбург гордился этой победой[533]. Для советских руководителей события вокруг Суэцкого канала были просто подарком судьбы — тут же заработала антиизраильская пропаганда, отодвинув в тень венгерские события. П.Н. Поспелов, правая рука Хрущева, обращается к Эренбургу с просьбой подписать заявление, осуждающее «империалистические происки Израиля». Эренбург не стал отказываться, однако выразил удивление, почему в письме ни слова не говорится о двух других участниках интервенции — Франции и Англии — и почему под таким документом подписываются только евреи. Его возражения не нашли понимания — письмо все-таки появилось в «Правде», но без подписи Эренбурга. Времена стали другими: отказываясь от подписи, он уже не ставил на карту ни свою жизнь, ни жизнь своего народа. Но одно осталось неизменным: по-прежнему лучшим средством от всех неурядиц оставалась антисемитская кампания, и по-прежнему Эренбургу предлагалось поддержать ее своей подписью.

Однако Эренбург понимает, что с этой стороны он более всего уязвим, и удара надо ждать не только от советской власти. В марте того же года во французском еженедельнике «Экспресс» появляется статья еврейского философа Манеса Шпербера, который, опираясь на «распространившиеся в России слухи», возлагает на Эренбурга «большую долю ответственности за исчезновение в СССР литературы на идише»[534]. Эренбург чувствует, что на этот раз он рискует оказаться уже не в роли жертвы, а в роли подсудимого. И действительно, статьей Шпербера дело не ограничилось.

В апреле 1957 года «Фольке Штимме», газета польских евреев-коммунистов, подняла вопрос о разгроме в 1945 году

советского Еврейского антифашистского комитета и расстреле еврейских писателей в 1952 году. Ответ советских товарищей был преисполнен такого негодования и высокомерия, что газета решила обратиться к международной общественности. Американский писатель Говард Фаст, известный своими левыми убеждениями, громогласно заявляет о своем выходе из компартии. Объясняя причины своего поступка, он упоминает Эренбурга: «Неужели такой человек, как Эренбург, видевший и осудивший нацизм, не смог найти слов, чтобы выразить протест против убийства еврейских писателей в СССР?»[535] Через несколько месяцев в британской и французской прессе появляются разоблачения Бернара Турнера, бывшего корреспондента американской газеты «Дейли Геральд Трибьюн» в СССР, который в 1943 году был арестован и приговорен к десяти годам лагерей. Турнер утверждал, что в лагере он встретился с И. Фефером и Д. Бергельсоном, и будто бы они обвиняли в своем аресте и в разгроме ЕАК Илью Эренбурга. В ответ Эренбург направляет письмо в редакцию «Le Monde». Письмо было опубликовано, но с комментарием, который лишал слова писателя всякой достоверности[536]. На этот раз ему пришлось испить чашу до дна. Он пытается обратить внимание на фактические ошибки, содержавшиеся в обвинениях Турнера: тех, кого намеревались расстрелять, не отправляли в лагерь, следовательно, Турнер никак не мог встретить Фефера и Бергельсона. В 1952 году никто не мог знать, что арестованные в январе 1949-го писатели были расстреляны: семьям сообщили об исполнении приговора только в 1955-м. Но было и немало такого, чего Эренбург не мог написать в своем ответе «Le Monde». Как, например, объяснить западной публике, что, привлекая внимание к судьбе осужденных, можно было не только усугубить их участь и поставить под удар себя самого, но и вызвать новую волну арестов? И что уж никак не ему, рисковавшему жизнью, но не подписавшему письма с требованием депортации евреев, оправдываться перед теми, кто выставляет его проводником сталинской политики антисемитизма. Да и в то время, когда Сталин уже давно был в могиле, а кампания против «безродных космополитов», казалось, канула в прошлое, знал ли кто-нибудь на Западе, что только что опубликованная им статья о Борисе Слуцком вызвала настоящий взрыв негодования? Разве в Париже хоть кто-нибудь представлял себе, что у него на родине попытка назвать «народной» поэзию поэта-еврея однозначно расценивалась как провокация или, хуже того, как преступление против русского народа?[537] Разве в Париже догадываются, что и само письмо Эренбурга в «Le Monde» было отредактировано

«ответственными товарищами», чтобы максимально завуалировать национальную принадлежность расстрелянных? О многом он мог бы еще сказать, чтобы оправдаться перед лицом страшных обвинений. Он мог бы рассказать о непростых годах своей жизни, о целой эпохе. Только время для подобных откровений было не самым подходящим: осенью 1957 года резко «похолодало». Но именно тогда у него зародилась мысль о книге воспоминаний. Тогда же он написал и пронзительное стихотворение, которое потом процитирует в своих мемуарах:

Есть надоедливая вдоволь повесть,
Как плачет человеческая совесть.
……
Она особенно скулит средь ночи,
Когда никто с ней говорить не хочет.
……..
Она скулит — ее никто не слышит —
Ни ангелы, ни близкие, ни мыши.
Да что тут слушать? Плачет, и не жалко.
Да что тут слушать? Есть своя смекалка.
Да что тут слушать? Это ведь не дело,
И это всем смертельно надоело.

(«Есть надоедливая вдоволь повесть…»[538]*)*

Голубь мира подстрелен

После разоблачения культа личности и последовавших за этим событий в Польше и Венгрии в недрах ЦК партии зреет оппозиция курсу Хрущева. Однако в июне 1957 года при поддержке маршала Жукова Первому секретарю еще удалось разгромить так называемую «антипартийную группу». Одержав победу, он тут же избавился от недавнего союзника, обвинив его в «бонапартизме», заодно покончив и с «коллегиальным руководством». Получив свободу действий, Хрущев возобновляет курс на модернизацию страны под лозунгом «Догоним и перегоним Америку!», пытаясь осуществить эту утопическую программу пресловутыми «волюнтаристскими» методами. Начинается эпоха «подъема целины»: сотни тысяч молодых людей, бросив учебу в вузах, отправляются в казахские степи и там, по уши в грязи, трудятся во имя коммунизма.

Хрущев сломал жизнь нескольким писателям, благословил погромную кампанию против альманаха «Литературная Москва», однако ему при этом нравилось играть роль «доброго царя-батюшки». В мае 1957 года представители «творческой интеллигенции» приглашаются на правительственную дачу для «дружеской беседы»: там, разгоряченный выпитой водкой, Хрущев пускается в рассуждения о том, какие отношения, по его мнению, должны быть между интеллигенцией и властью. Но никакой «дружеской беседы» не получилось. Авторы «Литературной Москвы» «замкнулись в молчании», то есть, за редким исключением, не пожелали каяться в допущенных ошибках и не приняли протянутой им руки верховного правителя.

Две статьи Эренбурга, которые были уже сданы в печать, — предисловие к сборнику рассказов Бабеля и очерк о Стендале — задержаны. Однако в тот момент его больше волнует другое.

Дело всей его жизни — Движение сторонников мира — начинает разваливаться на глазах, не выдержав потрясений 1956 года. Между тем именно оно обеспечивало ему возможность ездить за границу, встречаться с Лизлоттой, да и просто дышать полной грудью. Кроме того, эта деятельность была для него спасительным щитом: не будь у него международной известности миротворца, его давно бы раздавил сталинский режим. В 1957 году он предпринимает последнюю попытку спасти положение: накануне заседания Всемирного Бюро Совета Мира, первого после венгерских событий, он обращается с письмом к своим коллегам — членам Бюро. «Нет худа без добра, — пишет он. — Венгерский кризис лишний раз доказал, что сейчас, как никогда, нам

необходима международная организация, независимая от военных блоков, правительств, свободная от всякой идеологической опеки»[539]. Одновременно с письмом он составляет обращение в ЦК КПСС, в котором пытается убедить руководство, что необходим принципиально новый подход к Движению: «Для того чтобы сохранить движение хотя бы в тех рамках, в которых оно существовало, необходимо теперь изменить нашу тактику и путем взаимных уступок найти платформу, которая, служа в основе мирной политике Советского Союза, могла бы в том или ином вопросе довольно ясно отличаться от линии советской дипломатии». Надо расширить политическую базу Движения и ограничить прямое влияние компартий, особенно французской и итальянской[540].

Внутри страны нападки на Эренбурга продолжаются и становятся все ожесточеннее. Всеволод Кочетов, вождь просталинского реакционного крыла, в своем романе «Братья Ершовы» рисует на писателя злобную карикатуру. «Литературная газета», главным редактором которой в то время был Кочетов, а за ней и другие газеты журналы наперебой утверждают, что Эренбург «пишет с политическим подтекстом», «идеализирует буржуазный строй» и «близок взглядам польских и югославских ревизионистов». Эренбург снова обращается в Секретариат ЦК, а копию направляет лично Хрущеву: «Тон критики становится все более резким и, как мне кажется, недопустимым. В журнале „Нева“ т. Архипов обвиняет меня в „мистификации“ советских писателей, то есть в сознательном намерении ввести их в обман. Свое обвинение в мистификации читателей он основывает на том, что я пишу, что Бабель последние годы работал над романом и что эта рукопись пропала <…> Конечно, я мог бы обратиться в Народный суд с просьбой защитить меня от клеветы. Но разбор такого дела мог бы быть использован нашими врагами, и, естественно, я не обращаюсь в органы советского правосудия»[541].

«Доктор Живаго»

Уже два года, как его очерк «Уроки Стендаля» лежит в типографии, а Главлит не дает свое «добро». Автору ставится в упрек, что, размышляя об ответственности писателя, о связи литературы с жизнью, он совершенно игнорирует роль коммунистической партии и достижения соцреализма. Уже тот факт, что для обсуждения таких важных творческих проблем он обратился к опыту французского писателя, вызывает гнев со стороны апологетов «народности».

Пока Эренбург в своих заявлениях рассуждает о вмешательстве политики в литературу, ему представляется возможность продемонстрировать свои убеждения на деле. В конце октября 1958 года все силы советской пропаганды брошены на травлю великого русского поэта XX века Бориса Пастернака. Преступление Пастернака заключалось в том, что он дал согласие на публикацию своего романа «Доктор Живаго» за границей и к тому же получил Нобелевскую премию. Глава КГБ В.Е.Семичастный не постеснялся: «даже свинья не гадит там, где ест»; Пастернака шельмовали на митингах, писательских собраниях, в газетах и по радио: «моральное и политическое разложение», «Иуда, продавшийся капиталистам», «литературный власовец» — таков был язык этой полемики. Пастернак исключен из Союза писателей, он под угрозой высылки из страны. Эренбург приезжает в Москву со своей дачи в Новом Иерусалиме, но на собраниях писателей не присутствует. Он демонстративно отсиживается дома. На официальные звонки из Союза писателей его секретарь получила указание отвечать, что Ильи Григорьевича нет дома. Во всех других случаях он сам подходит к телефону. Он хочет, чтобы знали: ноги его не будет на этих «экзекуциях»[542].

В такой атмосфере, когда в воздухе вновь запахло ждановщиной, Эренбургу сообщают, что публикация его сборника «Французские тетради» снова откладывается. Книга была уже сверстана, когда на имя Пастернака был наложен запрет. Переговоры издательства «Советский писатель» с автором до того напряжены, что директор Н. Лесючевский пишет в ЦК КПСС донос об «отношении писателя И.Г. Эренбурга к Б.Л. Пастернаку». Эренбург соглашается переписать страницу, где имя Пастернака фигурирует в числе больших поэтов, но оказывается, что Пастернак также упомянут как русский переводчик Верлена. Терпение Эренбурга лопнуло: «Мне кажется политически необоснованной боязнь упоминания имени Пастернака в качестве образца неудачного перевода»[543]. В итоге «Французские

тетради» выходят в свет с этим единственным упоминанием о поэте.

Третий съезд Союза писателей, созванный в мае 1959 года, проходит в атмосфере мрачной подавленности и при личном участии Хрущева. Все известные писатели, в том числе и Эренбург, упорно отмалчиваются. В газетах пишут о «заговоре молчания». Когда после съезда Эренбург опубликует две статьи, посвященные вопросам литературы, — «Законы искусства» и «Перечитывая Чехова», «Литературная газета» поднимет крик о «предательских уловках».

Молчание стало его позицией; на большее он не решается. Однако за границу его посылают отнюдь не затем, чтобы он там молчал. «Дело Пастернака» в очередной раз посеяло смуту в рядах друзей СССР, и западная публика жаждала встретиться с советским писателем, чтобы ей объяснили: где же пресловутая свобода слова, которую отстаивал XX съезд партии? Что стало с великой русской литературой? Вот и Густав Херлинг-Грудзинский, польский писатель, эмигрант, живущий в Италии, в прошлом узник ГУЛАГа, автор книги «Иной мир», одного из первых свидетельств о советских лагерях, охотно отправился на встречу читателей с Эренбургом в Неаполе. «Смущенный молодой человек попросил разъяснить события, разыгравшиеся вокруг „Доктора Живаго“. Эренбург был готов к этому вопросу. На его губах заиграла снисходительная усмешка, правой рукой он сделал жест фокусника, извлекающего кролика из цилиндра. Кролик и впрямь выпрыгнул: „Знаете, дорогой товарищ, Пастернак великий поэт, но очень плохой прозаик. ‘Доктор Живаго’ — это очень плохой роман“»[544]. Через некоторое время встает Херлинг-Грудзинский и задает вопрос об общем уровне литературной продукции в СССР. «Эренбург, не угадав подвоха, воспользовался случаем продемонстрировать свой критический подход и отвечал, что уровень в целом недостаточно высокий, хотя в литературе преобладают „здоровые тенденции“. Но если общий уровень столь невысок, — настаивает польский писатель, — а Пастернак действительно великий поэт, почему бы не позволить ему роскошь опубликовать на родине свою книгу, которая, в самом худшем случае, будет не больше чем еще одним плохим романом? В конце концов, русская литература кое-чем ему обязана <…> Никогда не забуду, как был взбешен Эренбург. У фокусника в самый последний момент выхватили кролика, и все в зале увидели, что это просто-напросто муляж. В конце концов автор „Оттепели“ процедил сквозь зубы: „Да, отказ опубликовать ‘Доктора Живаго’ у нас в стране был ошибкой“. На

следующий день эта фраза появилась во всех итальянских газетах, за исключением коммунистических»[545].

Да, у него силой вырвали эту фразу. При этом он и не думал отрекаться от Пастернака: напротив, он бился за право сохранить его имя в своей статье и посвятить ему главу в своих воспоминаниях. Однако он вовсе не собирался ставить свою карьеру на карту, защищая опального поэта. Два года назад, говоря с Ивом Монтаном и Симоной Синьоре о Пастернаке, он признавался: «„Всем нам, советским писателям, удалось выжить только потому, что мы — ловкие акробаты… Все мы таковы… кроме Пастернака“ <…> И Эренбург нам рассказал про Пастернака, величайшего советского поэта. Его не печатали, но оставили в живых. Он живет в уединении, но он не забыт. „Он единственный из нас заслуживает уважения“»[546]. Да, Пастернак заслуживал уважения, даже восхищения, однако Эренбург не пошел на то, чтобы ради него пожертвовать собственным творчеством. Он знает, что его книги тоже имеют значение для современников. В архиве Эренбурга сохранились три письма, которые он получил как раз в это время. Затравленный критиками Эммануил Казакевич, ведущий редактор «Литературной Москвы», пишет: «В эти дни — не впервые за последнее время — думаю о Вас с благодарностью. Я прочитал начало Вашей статьи „Перечитывая Чехова“ в „Новом мире“. <… > Дело в авторе, в Вас, в Вашей непримиримой ненависти ко всякого рода подделкам, в Вашей непримиримости к пошлости и глупости вселенской, в Вашей фразе просветителя, во всей Вашей направленности великого бойца за социалистическую культуру без кавычек»[547]. Константин Паустовский, который в то время был одной из самых влиятельных фигур в литературных кругах, вторит ему: «Спасибо за „Французские тетради“, за импрессионистов, за Стендаля — за каждую мысль, что как глоток чистого воздуха врывается в отравленный дом. <…> Я Вас ощущаю как большую моральную опору»[548]. И, наконец, слова Юрия Домбровского, писателя, проведшего в ссылке и лагерях тридцать лет и ставшего, по выражению Б. Слуцкого, писателем, «широко известным в узких кругах»: «Я *никогда* и ни к кому не обращался с такой психопатической просьбой: надпишите мне эту великолепную книгу. Я страшно люблю Чехова, но ничего подобного Вашему эссе я не читал»[549].

Быть может, не вступаясь открыто за жертвы гонений, Эренбург просто берег силы: уже давно он вынашивает замысел нового большого произведения — книги воспоминаний. И прекрасно понимает, что написать такую книгу — это только полдела: ему придется вести борьбу за ее публикацию. Осенью

1960 года одержана первая победа: Александр Твардовский, в 1958 году вновь занявший пост главного редактора «Нового мира», печатает начальные главы книги «Люди, годы, жизнь». Победа, конечно, была неполной: Хрущев, к которому Эренбург лично обратился за поддержкой, так и не разрешил напечатать фамилию Бухарина, так что в публикации фигурировали только его имя и первая буква отчества. Эренбургу предстоят долгие месяцы упорной работы: годы, которые он пытается воскресить в памяти, слишком полны бурных событий. У людей, с которыми он встречался, слишком яркие, трагические, сложные судьбы; что же касается его собственной жизни — в ней было все, кроме простоты и ясности. Не случайно незадолго до смерти Эренбург признался, что «много в жизни плутал». Начав работать, он помолодел, возвращение к истокам вновь наполнило его уверенностью и силой. Выступая по радио в день своего семидесятилетия, Эренбург поспешил разуверить своих врагов: он вовсе не думает отправляться на пенсию, и те знаки признания, которыми его щедро награждают в юбилейные дни, вовсе не означают, что он стал «многоуважаемым шкафом», и он не собирается мириться с тем, что в 1961 году за ним признают только звание журналиста-антифашиста. Он — автор «Хулио Хуренито» и других книг, сегодня забытых. Он не просто русский писатель, он еврей, пишущий по-русски, и в день своего юбилея он хочет, чтобы именно это двойное определение прозвучало по всем волнам советского радио[550].

Глава XI
ВРЕМЯ ВОСПОМИНАНИЙ

И тени их качались на пороге,
Неслышный разговор они вели —
Прекрасные и мудрые, как боги,
И грустные, как жители земли.

Булат Окуджава.

«Песенка о московском муравье»

Старый упрямец

В 1961 году Эренбургу исполнилось семьдесят. В этом же году была принята новая программа КПСС, где ставилась задача построения коммунизма в течение ближайших двадцати лет. Как заявил Н.С. Хрущев, «нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». Лазик Ройтшванец, окажись он в это время возле своего создателя Ильи Григорьевича, не преминул бы поздравить себя с тем, что он вряд ли доживет до обещанного государством земного рая с пресловутым «изобилием материальных благ». Впрочем, Илья Григорьевич давно отрекся от своего литературного детища и даже выразил неудовольствие в связи с недавним польским изданием романа. Что же касается речей и лозунгов партийных руководителей, то для Эренбурга они давным-давно перестали быть поводом для шуток.

Дело, разумеется, не в том, что он утратил чувство юмора; просто юмор постепенно уступил место горькому сарказму. Эренбург прекрасно понимал, что одновременно с угасанием физических сил слабеют и его влияние, и его авторитет. Не в силах помешать, он наблюдает, как недоброжелатели хоронят его заживо, превращая в жалкий памятник советской публицистике. Но и не зря здравствуют по-прежнему все эти редакторы, цензоры, тупоумные писаки: одно их присутствие не позволяет расслабиться и зовет на борьбу. При этом он пользуется любым предлогом, чтобы хоть ненадолго скрыться за границу, во Францию. Когда-то он написал: «Зачем только черт меня дернул / Влюбиться в чужую страну?»[551] Вместе с Любой или Лизлоттой он часто останавливается у Пикассо в Валори. Художник придумал ему кличку «le Malin» (дьявол, плут) и не без злорадства развлекается, изображая своего друга увенчанным рогами.

Семьдесят лет — далеко не первая молодость, особенно для человека, которого уже в двадцать три не взяли в армию из-за слабого сердца. Однако худой, сутуловатый Эренбург только казался хрупким и слабым: выносливости его организма нередко завидуют более молодые — например, Фадеев, который был моложе его на десять лет. Правда, Эренбург никогда не участвовал в пьяных застольях, принятых в кругу его собратьев по литературе. Он был гурманом, ценителем тонких французских вин и деликатесов, которые трудно было отыскать даже в закрытых магазинах для номенклатуры: такие пристрастия еще больше подчеркивали его «особость». Он обожал долгие пешие прогулки, без устали осматривал достопримечательности, исторические места, памятники архитектуры, старинные

кладбища и музеи; он мог внезапно сорваться с места, получив приглашение посетить старинный монастырь или красивую полуразрушенную церковь, посмотреть местные народные промыслы, чудом сохранившиеся до наших дней.

Возраст не пощадил его внешность: на лице, казалось, навсегда застыла снисходительная гримаса, рот совсем запал — сказывалось отсутствие зубов. Но ухоженная (а не взлохмаченная, как когда-то) седая шевелюра и красивые тонкие руки по-прежнему притягивают взгляд. Его безупречный французский «с тем старомодным парижским акцентом, что был распространен среди иностранцев, живших в Париже накануне первой мировой»[552], очаровал Симону Синьоре, и даже Симона де Бовуар не могла отказать ему в «личном обаянии». За столом у Эренбурга всегда присутствуют иностранные гости, которые соперничают за право быть приглашенными на обед к настоящему советскому писателю. Приходя с визитом, они дарили французские вина и сигареты «Голуаз». Всех удивляли две пожилые еврейские дамы, в молчании восседавшие рядом с хозяином дома, — это были сестры Эренбурга, которых он уговорил переехать из Парижа в Советский Союз сразу после смерти Сталина.

Среди писателей у него было не так много друзей: Вениамин Каверин, Борис Слуцкий, Владимир Лидин, драматург Александр Гладков и самый близкий из всех — Овадий Савич. Они-то знали, что за твердостью характера и кажущейся надменностью Эренбурга скрываются необыкновенная щедрость и доброта. «С людьми, которые были ему совсем неинтересны, он был едва вежлив <…> была в нем решительность в отгораживании себя от ненужных людей: самозащита, необходимая, но не так уж часто встречающаяся» (А. Гладков)[553]. «Он всегда оставался собой. Его крупно прожитая жизнь требовала последовательности, единства» (В. Каверин)[554]. «При всем своем внешнем отстранении Эренбург нуждался в климате дружбы, он не терпел при этом поверхностного, необязательного приятельства с похлопыванием по плечу. Дружил он с немногими, но если уж дружил, был в такой степени обязателен, что я всегда страшился просить его о чем-нибудь» (В. Лидин)[555]. Надежда Мандельштам и Нина Табидзе отзывались о нем точно так же. Пожалуй, единственным человеком, обвинившим Эренбурга в догматизме, была Симона де Бовуар. Большинство тех, кто его знал, скорее согласились бы с Пьером Дэксом, который, возводя скептицизм Эренбурга к Монтеню, говорил, что этот человек «был способен играть с огнем, но не взойти на костер». Зато он отличался исключительным политическим чутьем; многие, в том

числе В. Каверин относили это за счет его пребывания на Западе: «У него был острый политический ум, редкая способность к предвидению, меткость в схватывании алгебраических формул истории»[556].

Эренбург был невероятно популярен среди молодежи. Номера «Нового мира» с главами его воспоминаний зачитывались до дыр — так же, как некогда его фронтовые репортажи. Именно на этих страницах молодые читатели первый раз встретились с именами знаменитых русских эмигрантов — Хаима Сутина, Марка Шагала, Марины Цветаевой, Эля Лисицкого; но не только: Эренбург не забыл и «внутренних эмигрантов», и тех, кто был уничтожен — Мандельштама, Бабеля, Мейерхольда. Читатель смог наконец вкусить от запретного плода европейского модернизма: под пером Эренбурга из небытия всплывали западные художники и писатели — Пикассо, Матисс, Йозеф Рот, Макс Жакоб, Аполлинер, Модильяни. Под влиянием Эренбурга формировался эстетический вкус целого поколения. Например, для Петра Вайля и Александра Гениса «Люди, годы, жизнь» стали настоящей энциклопедией, «полней Большой Советской». Эта книга учила, что «СССР не есть остров, изолированный от остального человечества во времени и в пространстве <…> Не только западная, но и русская культура ждала своего второго открытия. И Эренбург азартно открывал. <…> Он показывал, что темным сталинским векам предшествовал другой мир. Красочный, великолепный, веселый, ослепительный, как Атлантида.

Так начался Ренессанс»[557].

Даже манера одеваться сближала Эренбурга с молодежью, для которой стиль одежды был мерилом личной смелости. Разумеется, присущая ему элегантная небрежность была тщательно продумана; его «твидовый бледно-зеленый костюм, оранжевая сорочка и шерстяной галстук»[558] свидетельствовали о вкусе более тонком, нежели «хемингуэевские» черные свитера или обуженные брюки стиляг, заметно выделяя Эренбурга как среди безликой массы советских аппаратчиков, закованных в стандартные серые костюмы, так и среди унылой московской толпы. Но эта смелость имела четкие границы. Даже будучи «европейцем», он остается человеком сталинского поколения. Лизлотта Мэр вспоминала: «Как-то раз мы были в Париже, куда в это время приехал молодой поэт-нонконформист Андрей Вознесенский. Вознесенский трижды нарочно опаздывал на рейс, чтобы продлить свое пребывание во Франции. Эренбург никогда не пошел бы на это. Советский паспорт, проштампованный при выезде и въезде, был для него священен»[559].

Так случилось, что в сентябре 1961-го Эренбург оказался «в одном окопе» с Евгением Евтушенко, имя которого было символом «новой волны» советской поэзии, чьи авторские вечера собирали целые стадионы. Евтушенко опубликовал «Бабий Яр», стихотворение, посвященное евреям — жертвам кровавой нацистской расправы под Киевом: в сентябре 1941 года, зондеркомманда эсэсовцев и украинцев убила в яре сто тысяч человек, в большинстве евреев. Двумя годами раньше киевлянин Виктор Некрасов, автор знаменитого романа о Сталинградской битве, напомнил, что, хотя в СССР воздвигнуто немало памятников жертвам фашизма, среди них до сих пор нет памятника еврейским жертвам Бабьего Яра, официально же упоминалось лишь о «советских» жертвах. В своем стихотворении Евтушенко не только заклеймил фашистов, но и осудил русских антисемитов, стремившихся стереть со страниц русской истории упоминания о страданиях еврейского населения и всегда готовых взять на вооружение черносотенный лозунг «Бей жидов, спасай Россию!». Дмитрий Шостакович тут же откликнулся и написал музыку к стихам Евтушенко, но «патриоты», со своей стороны, подняли возмущенный крик. Среди ответных реплик особенной гнусностью выделяется стихотворный памфлет А. Маркова, который сожалеет о тех временах, когда «безродных космополитов» можно было громить открыто. Убежденный сталинист Д. Стариков, для которого Эренбург все эти годы был излюбленной мишенью, в своей статье цитирует «Бабий Яр» Евтушенко и стихотворение Эренбурга 1944 года с тем же заглавием, обвиняя последнего в «измене интернационализму». [560] Эренбурга, находившегося в тот момент в Риме, осаждают журналисты. Он наотрез отказывается от интервью, «чтобы не давать повода для антисоветской кампании», как он позже объяснит в письме Хрущеву, но посылает ответ на статью Старикова в «Литературную газету». Однако по указке Комитета по культуре «Литгазета» отказывается печатать письмо Эренбурга. Тогда Эренбург и обращается к Хрущеву. Написать непосредственно Первому секретарю КПСС его вынудила набиравшая силу мощная волна антисемитизма, которая отнюдь не сводилась к злобным инсинуациям А. Маркова и Д. Старикова.

«Я действительно в годы войны был интернационалистом, — пишет Эренбург, — и если я не заблуждаюсь и не выжил из ума, то им остался и по сей день. Если же я перестал быть интернационалистом, то я никак не могу защищать нашу советскую точку зрения.

Именно будучи интернационалистом и советским патриотом,

я теперь вместе с товарищами Корнейчуком, Аджубеем и другими в Лондоне, в Варшаве и в Риме выступал по поводу возрождения фашизма в Западной Германии и среди прочих симптомов этого возрождения указывал на возобновление среди бывших гитлеровцев и эсэсовцев антисемитских выходок.

Я никак не представляю себе, что можно обличать немецких фашистов, боясь вымолвить слово „антисемит“»[561].

Возможно, именно под впечатлением от споров вокруг «Бабьего Яра» Эренбург решился рассказать некоторым из друзей о своем письме Сталину 1953 года, написанном в связи с планировавшейся депортацией евреев. Вот как вспоминал о этом Герш Смоляр, назначенный в 1961 году главным редактором «Фольке Штимме», журнала польских евреев: «Самая драматичная из моих встреч с Эренбургом относится к 1961 году. Я выступал в роли прокурора, зачитывая ему те обвинения, которые выдвигала против него западная пресса. Эренбург сильно нервничал. Внешне он держался невозмутимо и отвечал, что никогда не говорил никому на Западе, будто в начале пятидесятых он встречался с Маркишем или Квитко. <…> Затем он рассказал мне, что в свое время известные еврейские деятели культуры составили письмо Сталину с требованием учинить коллективную расправу над советскими евреями»[562]. Ту же историю Эренбург поведал приехавшему в Москву Владимиру Познеру и своим московским друзьям — Борису Слуцкому, Борису Биргеру, Овадию Савичу, Бенедикту Сарнову. В каждом случае рассказ о событиях слегка варьировался. Эренбург вел себя как потерпевший кораблекрушение: он бросал в море одну запечатанную бутылку за другой в надежде, что по прошествии многих лет кто-нибудь выловит их и прочтет вложенные в них записки.

Цензура и самоцензура

XXII съезд КПСС, состоявшийся в октябре 1961 года, застал всех врасплох. Н.С. Хрущев снова выдвинул обвинения лично против Сталина и его последователей. На этот раз он не ограничился новыми фактами разоблачений, а предложил вынести тело Сталина из Мавзолея и поставить памятник жертвам сталинского произвола. (Из этих двух предложений будет осуществлено только первое.) Как и в начале «оттепели», Хрущев обращается за поддержкой к интеллигенции — писателям и ученым. Последних он восхваляет и награждает за успешный полет Юрия Гагарина, а писателям сулит возможность свободно писать и публиковаться. «Новый мир» снова становится флагманом десталинизации.

Но даже при той относительной свободе, которой пользуется теперь Александр Твардовский, главный редактор журнала, отношения между ним и Ильей Эренбургом не складываются. Не зря Твардовский называл Эренбурга, старейшего из новомирских авторов, «старым упрямцем». Главному редактору было с чем не соглашаться. Во-первых, сам жанр мемуаров представлял определенную сложность: будучи произведением литературы, мемуары в то же время тесно связаны с историческим контекстом, а трактовка событий прошлого по-прежнему находилась под партийным контролем, несмотря на благоприятные сдвиги после XXII съезда. Иначе говоря, публикуя мемуары Эренбурга, Твардовский, который, помимо всего прочего, был кандидатом в члены ЦК, брал на себя ответственность как коммунист. И хотя в «Новом мире» был специальный раздел мемуаристики, воспоминания Эренбурга будут печататься в художественной части журнала. Во-вторых, Твардовскому, выходцу из крестьянской среды, был не по душе утонченный мир «европеизированного аристократа» Эренбурга. Прочитав первые главы, он возмущается и упрекает автора в том, что тот создал произведение, непонятное для «простого советского человека». Такие обвинения были для Эренбурга не в новинку: он уже выслушивал нечто подобное в 1936 году в связи с «Книгой для взрослых». Твардовский советует Эренбургу пересмотреть эстетические принципы, которые он как редактор не разделяет и которые, как он опасается, окажутся чуждыми читателям «Нового мира». Эренбург так отвечает на это предложение: «С каким бы уважением ни относился я к литературе, предназначенной для народных масс, я не смогу отказаться от литературы, которая требует от читателя определенного уровня подготовки. Я считаю,

что моя книга, за исключением нескольких второстепенных деталей, предназначена для тех, кто имеет высшее образование. Мне кажется, что следует принять во внимание и отклик, который книга найдет среди западноевропейской интеллигенции, где, как раз благодаря своей „сложности“, прольет спасительный свет на мою духовную историю. Мне грустно видеть, что Вы явно недовольны моей книгой (как редактор, а не как читатель и друг). Она стоила мне немалых трудов»[563].

Каждая следующая глава мемуаров вызывает такие же стычки. Особенно те, что посвящены 1939–1940 годам. Заверяя автора, что он не хочет нарушать данного обещания, не поучать его и не корректировать текст, Твардовский тем не менее протестует против некоторых пассажей, находя их совершенно неприемлемыми. Так, он считает «бестактным и недопустимым» рассказ о «сотрудниках советского посольства, приветствующих гитлеровцев в Париже», в том числе о некоем «Львове», «посылающем Абетцу икру»[564]. Эренбург отвечает: «Идя навстречу Вашей просьбе, с горечью снимаю все о „Львове“ и о сотрудниках посольства»[565]. В конце концов он соглашается внести семь исправлений в текст, касающийся отношений между СССР и нацистской Германией после подписания советско-германского пакта. А вот замечание Твардовского, которое ему удалось оспорить: речь идет о знаменитом звонке Сталина в квартиру Эренбурга в апреле 1939 года. Телефонный звонок испугал любимых собак дочери хозяина Ирины, они начали лаять. Твардовский считает, что эта деталь совершенно не нужна, и добавляет: «Заодно замечу, что для огромного количества читателей Ваши собаки, возникающие там-сям в изложении, мешают его серьезности. Собаки (комнатные) в представлении народном — признак барства, и это предубеждение так глубоко, что, по-моему, не следовало бы его „эпатировать“»[566]. Эренбург отстаивает право собак заливаться лаем во время его телефонного разговора со Сталиным: «Я не считаю, что собаки оскорбительно вмешиваются в рассказ о телефонном звонке. Что же касается Вашего общего замечания, то позвольте мне сказать, что среди моих читателей имеются люди, которые любят и не любят собак, как есть люди, которые любят и не любят Пикассо. Поскольку Вы великодушно разрешили мне излагать мои эстетические суждения, которые Вам были не по душе, разрешите мне выходить на прогулку с моими собаками»[567]. Постоянные препирательства с Твардовским держат его в напряжении, вынужденные уступки и компромиссы оставляют чувство горечи, самоцензура надрывает душу. Но каким вознаграждением за эти мытарства стали читательские письма, тысячи писем,

приходившие со всех концов страны! Пришло письмо, полное взволнованной благодарности, от вдовы и сына Бухарина, от матери молодого писателя Василия Аксенова Евгении Гинзбург, автора воспоминаний о сталинских лагерях «Крутой маршрут». Она пишет: «Только что дочитала вторую книгу „Люди, годы, жизнь“. И захотелось сказать Вам спасибо. Я одна из тех, кто тоже читал „сонеты у костра“ больше чем за 10 тыс. километров от своего родного города Москвы. М.б., Вам будет интересно узнать, что и Ваши стихи читались у костров. Повторяли: „из слов остались самые простые — работа… воздух… поздно… никогда“ — и удивлялись: откуда он узнал, что так бывает. <…> Лет в 17–18 я знала наизусть целые страницы из „Хулио Хуренито“. Потом вот — стихи у костра. Правда, многие Ваши романы последующих лет оставляли меня холодной. А сейчас я снова по-настоящему взволнована и благодарю Вас за эту работу, за то, что Вы так написали о Мандельштаме, о Мейерхольде, о Табидзе и Яшвили, о многих других. Дай бог, чтобы у Вас все было хорошо и чтобы Вы обязательно дописали эту книгу»[568].

В 1962 году Эренбург часто встречается с молодежью: в университете, в клубах домов культуры, в театре «Современник», флагмане тогдашнего сценического авангарда. «В Московском университете обсуждение „Мемуаров“ превратилось в митинг, — вспоминал художник Александр Глезер. — Студенты осуждали за трусость своих отцов, допустивших недавнее прошлое, требовали всей правды до конца, в общем, вели себя так, словно они говорили не о книге, а собрались на политическую манифестацию»[569]. Как реагировал Эренбург на такое поведение молодежи, открыто ставящей самые неудобные вопросы? По своему обыкновению, он не спешит публично казниться и предпочитает не играть с огнем. Когда его спрашивают, что он думает, например, о Шолохове или Кочетове, он уклоняется от прямого ответа, замечая: «Здесь более или менее душегубка». Но эта уклончивость парадоксальным образом била точно в цель. В его ответах поражает все та же, столь характерная для него смесь «европейского» менталитета, культивирующего индивидуализм и терпимость, с советским, ставящим во главу угла «коллективную ответственность» и «партийную дисциплину». Когда аудитория освистывала то сталинистов, то ненавистников Сталина, Эренбург преподавал урок демократичности и терпимости, позволяя и тем, и другим высказывать свои убеждения. Он предлагал отказаться от привычки посылать лектору анонимные записки и задавать вопросы вслух; он поощрял в молодых любопытство, независимость, собственный взгляд на вещи. Ему не нравилось,

что на писателя часто смотрят как на «универмаг», где можно получить ответы на любой вопрос[570]. Но когда один из молодых слушателей заявил, что мемуары представляют собой «обвинительный акт против наших отцов», Эренбург восстал против такого понимания его книги: «Мне кажется, сейчас вам важно очиститься <…> от подмены критической мысли готовыми ответами и больше смотреть: нет ли этого и в ваших молодых товарищах, — чем думать о том, что надо составить обвинительный акт против папаши. Папашу вы обругали, а рядом растет ему смена. Надо заставить всех мыслить и мыслить. <…> Надо быть немного сложнее». Он настаивает на том, что у молодых есть долг перед прошлым: им дано немало — мир, мощь и богатство родной страны, Советского Союза, и всем этим они обязаны своим отцам, которые трудились не покладая рук, терпели лишения и страдания. Если бы в этом зале присутствовал Лазик Ройтшванец, который не любил, когда личность «подменялась печатью», он, как и студенты университета, вряд ли остался бы доволен ответами Эренбурга. Писатель закоснел в своем видении сталинской эпохи, он даже себе самому не позволял задаваться вопросами о причинах массового террора, об ответственности интеллигенции. Оказавшись лицом к лицу с молодежью, с ее сомнениями, Эренбург мог предложить один-единственный умиротворяющий ответ: «другие времена, другие нравы…» Мол, приход к власти фашизма в Европе и диктатура внутри страны не оставляли другого выхода, кроме приверженности Сталину. Кстати, ни о существовании ГУЛАГа, ни о рабском труде заключенных он не упомянул ни разу.

Эти встречи с молодежью происходят в атмосфере общей эйфории и упоения свободой. «Новый мир» и «Юность» предлагают читателю все более смелые и крамольные публикации; более того, нонконформисты добиваются успехов и на административном поприще: первые выборы в московском отделении Союза советских писателей, проходившие путем тайного голосования, закончились победой молодых поэтов Евтушенко и Вознесенского; «старик» Эренбург поддерживал их. Поэтические вечера, неформальные выставки художников-абстракционистов, дискуссии в Домах культуры — все это расшатывает старые авторитеты. В 1961 году выходит в свет небольшая книжка о Пикассо, написанная двумя молодыми авторами Андреем Синявским и Игорем Голомштоком. Часть тиража была сразу уничтожена. Эренбург обращается к Пикассо, стараясь убедить его принять Ленинскую премию мира: по его мнению, это помогло бы советской молодежи выиграть битву за

современное искусство. Пикассо, вопреки своему отвращению к официальным знакам признания, сдается на уговоры друга, но в своем ответе Комитету защиты мира выдвигает одно условие: премию ему должен вручать не советский посол, а лично Илья Эренбург. В сентябре 1962 года сам Хрущев разрешает А. Твардовскому опубликовать в «Новом мире» первое произведение, посвященное сталинским лагерям, рассказ тогда еще безвестного Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». С разрешения Первого секретаря «Правда» печатает стихотворение Евгения Евтушенко «Наследники Сталина». Казалось, оттепель вот-вот перейдет в настоящую весну.

Масштабная провокация

Неудачная внешняя политика, и в первую очередь кубинский кризис, принесший Хрущеву сомнительную славу политического шулера, заметно подорвали авторитет Первого секретаря в ЦК. Просталинская фракция поднимает голову, и Хрущев, который вчера еще позволял язвительно критиковать сталинистов на страницах «Правды», меняет тактику и отдает им на растерзание своих сторонников — творческую интеллигенцию. Снова заговорили о том, что культура уходит из-под партийного контроля. Руководители Союза художников, ретрограды-академисты, устраивают грандиозную провокацию, пригласив Хрущева посетить ретроспективную выставку советского искусства в Манеже, в двух шагах от Кремля. Инцидент, произошедший 1 декабря 1962 года, ознаменовал поворот опять к «заморозкам». Когда советский лидер со своей свитой аппаратчиков из Министерства культуры шествовал по залам экспозиции, услужливые организаторы экскурсии привлекли его внимание к полотнам авангардистов 1920-х годов, запрещенных к показу уже не одно десятилетие. Сначала он просто удивился, но войдя в последний зал, где были выставлены молодые художники-абстракционисты, не слушал уже никаких объяснений. Побелев от ярости, он разразился потоком бессвязных выкриков, обрывки которых сохранила народная молва: «педерасты», «мазня, которую может намалевать любой осел своим хвостом», «пачкотня ребенка, который сделал свои дела на полотно, а потом размазал ручонками». Разбушевавшийся лидер поклялся положить конец этому безобразию. На следующий день экспозиция была закрыта. Писатели и художники, поддерживавшие либеральные хрущевские реформы, составляют письмо, в котором обращаются к «дорогому Никите Сергеевичу» как к «человеку, больше всего сделавшему для искоренения сталинского произвола», предотвратившему упадок советского искусства, которое в условиях эстетической монополии, без возможности существования разных художественных направлений обречено на гибель. «Мы обращаемся к Вам с просьбой остановить в области изобразительного искусства поворот к прошлым методам, который противен духу нашего времени». Письмо было составлено Эренбургом и подписано самыми известными деятелями культуры (всего 19 подписей), среди которых Владимир Фаворский, Корней Чуковский, Илья Сельвинский, Михаил Ромм, Дмитрий Шостакович, Вениамин Каверин, Валентин Катаев и даже Константин Симонов. По-

видимому, Эренбург счел, что такое письмо может быть воспринято как коллективный протест и проявление излишнего свободомыслия; во всяком случае, он предпочел сопроводить его другим письмом, более осторожным, которое подписали, помимо него самого, только двое литераторов, долгие годы входившие в руководство Союза писателей, — Алексей Сурков и Николай Тихонов. Все эти демарши еще больше разъярили Хрущева, и в ход пошла тяжелая артиллерия. В декабре 1962 года на встречу с Первым секретарем приглашаются четыреста писателей, художников, ученых; чтобы лучше закрепить «урок», экзекуция повторяется восемь дней спустя. Скульптора Эрнста Неизвестного, поэтов Евтушенко и Вознесенского, писателя Виктора Некрасова, режиссера Марлена Хуциева публично поливают помоями за то, что они имели дерзость воспользоваться предоставленными им свободами. Эренбург также стал героем этого чудовищного хеппенинга. Хрущев набросился на него за второе письмо в защиту левых художников и принципа «мирного сосуществования» различных направлений в искусстве. Участник встречи режиссер М. Ромм зафиксировал такой диалог:

«Хрущев:

— Это, товарищи, грубая политическая ошибка. Мирное сосуществование возможно, но не в вопросах идеологии.

Эренбург ему с места:

— Да ведь это была острота! Никита Сергеевич, это в письме такой, ну что ли, шутливый способ выражения был. Мирное же письмо было.

— Нет, товарищ Эренбург, это не острота. Мирного сосуществования не будет, товарищи! И я предупреждаю всех, кто подписал это письмо. Вот так!»[571]

Хрущев никак не хочет сменить гнев на милость. Со второй встречи Эренбург ушел, не дожидаясь конца экзекуции, что не преминул отметить Первый секретарь:

«Хрущев:

— Здесь товарищ Эренбург?

Но товарищ Эренбург ушел. На нем уже верхом проскакали и столько его поминали, что старик не выдержал и ушел с этого второго заседания, кажется, именно в тот момент, когда рев шел и Вознесенского долбали»[572].

Дело принимало все более скверный оборот. Умело направляемый сталинистами гнев Хрущева обрушивается на так называемую «теорию молчания товарища Эренбурга». Речь идет о ключевом вопросе, об ответственности каждого за сталинский террор, что напрямую затрагивало Первого секретаря, главного разоблачителя: почему в свое время никто не сказал ни слова?

Почему молчали даже те, кто сейчас во всеуслышание обличает преступления Сталина? В 1956 году Хрущев, предвидя возможные упреки, прибег к тому же объяснению, что и Эренбург в 1962-м: это произошло потому, что все боялись. В четвертой книге воспоминаний (опубликованной в мае 1962 года), рассказывая о московской жизни в 1938 году, Эренбург признается, что уже тогда понимал необоснованность сталинских чисток, но страх и сознание собственного бессилия мешали ему вслух обличить ложь. Приходилось «жить, сжав зубы», присоединившись ко «всеобщему заговору молчания». На встрече с интеллигенцией Хрущев вдруг решил выразить свое удивление такой интерпретацией прошлого, призвав в свидетели всех собравшихся: «Можно подумать, что все всё понимали, в то время как мы-то не понимали ничего. Если все всё понимали, то почему же никто ничего не сказал? Он утверждает, что все вокруг хранили молчание. Нет, дорогой товарищ Эренбург, не все». И тут Эренбурга поджидал «сюрприз». Слово взяла Галина Серебрякова, писательница, прошедшая через ГУЛАГ, вдова крупного партийного руководителя, также жертвы сталинской чистки. Она решительно отвергает «теорию молчания», а заодно обвиняет Эренбурга: обвиняет вовсе не в том, что он молчал, а в том, что он являлся проводником сталинской воли, что он предал своих товарищей по Еврейскому антифашистскому комитету и виновен в их гибели. В качестве источника информации она сослалась на Александра Поскребышева, бывшего секретаря Сталина. Зал был потрясен. Никто не ожидал, что дискуссия примет такой оборот. Как замечает Мишель Татю, французский политический обозреватель, «главное оружие десталинизации — разоблачение соучастия в преступлениях — оказалось обоюдоострым и обратилось на противников сталинизма»[573]. По окончании собрания Шостакович, Каверин и некоторые другие демонстративно пожали руку Эренбургу, стараясь поддержать его и выразить свое доверие и сочувствие.

Все остальное было разыграно как по нотам: на Эренбурга спустили цепных псов, в прессе началась настоящая травля. Первый удар наносит давний враг, художник Александр Герасимов, затаивший злобу со времени выставки Пикассо, а теперь получивший возможность открыто расправиться с защитником «гнилого буржуазного формализма» в искусстве. Затем на Эренбурга набрасывается критик Владимир Ермилов, известный сталинист: он прославился тем, что еще в 1929 году клеймил Маяковского как «троцкиста», а в 1946-м назвал Василия Гроссмана «обломком декадентщины». В своей пространной рецензии на книгу «Люди, годы, жизнь» Ермилов оставил в

стороне вопросы эстетики и сразу взял быка за рога, подвергнув сомнению пресловутую «теорию молчания»: Эренбург-де специально выдумал ее, чтобы самому уйти от ответственности. Утверждая, что уже в 1930-х годах понимал безосновательность репрессий, он был, без сомнения, единственным, проявившим такую прозорливость: «Видимо, у И. Эренбурга были большие преимущества по сравнению с подавляющим большинством рядовых советских людей, у которых в те годы не было сомнений в правильности действий „людей, стоявших на командном посту“. <…> Но зато <…> многие отстаивали справедливость в отношении того или другого человека, в котором они были уверены, что он не враг, они боролись, и боролись не молчанием»[574]. Таким образом, Эренбург оказывается преступником «в квадрате»: во-первых, он «все понимал», стало быть, был вхож в коридоры власти, а во-вторых, молчал, т. е. фактически являлся соучастником преступлений.

Ответ Эренбурга появился практически сразу, буквально через несколько дней. Поскольку хорошо известно, с какими трудностями ему всегда приходилось сталкиваться, когда он добивался права обнародовать свои возражения по гораздо менее принципиальным вопросам, у нас есть все основания полагать, что в данном случае не один Эренбург оказался заинтересован в том, чтобы положить конец этой травле и открыть глаза Хрущева на суть происходящего. В ответной статье[575] Эренбург бойко отстаивает свои взгляды и высмеивает идиллическую картину тридцатых, нарисованную Ермиловым. Он смело бросается в атаку и даже рад, что его противники выступают с открытым забралом. Однако обычно присущее ему политическое чутье на этот раз его подвело. Он не понял, что речь шла не только и не столько о нем лично: для всех он был живым символом «оттепели», т. е. той самой эпохи, которая как раз начала подвергаться пересмотру. В итоге он оказался лишь пешкой в игре. Главной мишенью начавшейся масштабной провокации был вовсе не писатель Эренбург, а Первый секретарь ЦК КПСС Хрущев, автор реформ и десталинизации.

8 марта 1963 года Хрущев в третий раз приглашает представителей творческой интеллигенции для встречи с партийным руководством. На этот раз его раздражение вылилось в трехчасовой доклад, впоследствии опубликованный. Он обрушился на тех, кто злоупотребляет полученной свободой, кто считает, что «оттепель» — это время «неустойчивости, непостоянства, незавершенности», «пора самотека», когда «будто бы ослаблены бразды правления <…> и каждый может своевольничать и вести себя как ему заблагорассудится». Из всех

«паршивых овец» Хрущев особо выделил Эренбурга, которому досталось за все — за повесть «Оттепель», за защиту «так называемых левых» художественных направлений, за «принцип мирного сосуществования в искусстве и литературе», который есть не что иное, как «предательство идей марксизма-ленинизма и дела рабочих и крестьян», за его мемуары и за «теорию молчания». В пример ему Хрущев ставит двух писателей — Михаила Шолохова и Галину Серебрякову: в период репрессий они не молчали и при этом являли собой образец преданности коммунистическим идеалам. А что же товарищ Эренбург? «В эпоху культа личности он не подвергался преследованиям, его не притесняли»[576]. Несмотря на перенесенную несправедливость, товарищ Серебрякова не потеряла веры в партию: сегодня она с воодушевлением участвует в преобразованиях, происходящих в стране, в то время как Эренбург, «чья судьба сложилась совершенно иначе», созерцает все происходящее «из своего французского окна», и ему доставляет удовольствие «чернить реальность».

На следующий день в «Правде» появляется статья Л.Ф. Ильичева, секретаря ЦК КПСС по идеологии. Статья окончательно делает из Эренбурга поборника сталинизма. Этот злобный лай мало трогает «обвиняемого»; Эренбург потрясен другим — жестоким разносом Хрущева, грубыми поклепами и тем, что вдохновитель оттепели отвернулся от него.

Эренбург запирается дома и не хочет никого видеть. Лидия Чуковская вспоминает, что ей позвонил Паустовский, который жил тогда в Тарусе. Он был сильно озабочен состоянием Эренбурга и попросил ее навестить семидесятилетнего писателя: «Лицо у Эренбурга было совершенно желтое. Обычно такой спокойный, он весь кипел и выкрикивал: „Глава государства не имеет права судить писателей!“ „Это унизительно! это унизительно!“ — повторял он. Он был в таком состоянии, что, провожая меня, никак не мог отыскать дверь»[577]. Любовь Михайловна, видя, что ей не удается вытащить мужа из депрессии, обращается к друзьям. Елена Зонина вспоминает: «Я первый раз стала задавать ему вопросы. Между нами это было не принято. „Я вас не понимаю, Илья Григорьевич: у вас есть дача, деньги, вы писатель. Съезжайте на дачу, прочь из Москвы, пишите в стол, для себя“. — „Может быть, вы правы, — отвечал он. — Но я так давно впрягся в эту телегу, что я без этого не могу.“ Он знал, что немало сделал для государства, для „оттепели“, и рассчитывал, что Хрущев проявит к нему за это уважение. Он не мог понять, почему Хрущев позволил своему окружению так манипулировать собой, стал полностью отрицать его вклад в

десталинизацию и перестал понимать, кто его истинные сторонники. Его выпады были для Эренбурга словно пощечина»[578].

Как же он ведет себя, получив эту «пощечину»? Как верный слуга, как та самая «впрягшаяся в телегу лошадь», которая уже не может жить без своего воза. За эти дни он действительно сильно постарел. Однако не сдавался: не уехал на дачу, а стал добиваться встречи с Первым секретарем. Но Хрущев не находит времени его принять. Тогда он пишет Хрущеву письмо: «Мне 72 года, я не хочу перейти на положение пенсионера, хочу и могу еще работать. А на меня смотрят с опаской». Он приводит примеры такого отношения к себе в прессе, в советском представительстве Движения за мир, в Обществе дружбы «СССР — Франция». «Так жить я не могу. Вот уже 30 с лишним лет, как вся моя работа связана с советским народом, с идеей коммунизма. Я никогда не изменял им в самых тяжких условиях — среди наших врагов»[579]. Касаясь вопроса об «измене», он объясняется по поводу «неверно понятого» письма в защиту принципа «мирного сосуществования в искусстве». «Говоря о „мирном сосуществовании“, мы думали о товарищеских отношениях между советскими писателями, о ликвидации „групповщины“, подписи показывали, что на этом положении сошлись очень разные люди. Жалею, что мы составили это письмо»[580]. Все письмо дышит старческой усталостью, в нем слышны покаянные нотки, от которых он в свое время удерживался даже в письмах к Сталину: «Мне трудно по возрасту изменить мои художественные вкусы, но я человек дисциплинированный и не буду ни говорить, ни писать ни у нас, ни за границей того, что может противоречить решениям партии». В заключение он высказывает пожелание опубликовать статью «на международную тему, о борьбе за мир»: «Мне кажется, что такое выступление или упоминание где-либо о моей общественной работе подрежут крылья антисоветской кампании, связанной с моим именем»[581].

Публично униженный Хрущевым, Эренбург тем не менее участвует в заседании Общества дружбы «Франция — СССР». «Почему вы пошли туда? Это просто-напросто официоз, пропаганда и ничего более!» — сказал ему Лев Копелев, переводчик и журналист, знавший Эренбурга еще с довоенных лет: они познакомились в Восточной Пруссии до того, как Копелев попал в лагерь. «Как это почему? — ответил ему Эренбург. — Я слуга государства»[582].

Копелев не знал, что Эренбург все-таки увиделся с Хрущевым: их встреча прошла наедине, без свидетелей, и Первый секретарь заверил писателя, что тот может спокойно продолжать работать.

Нападки на Эренбурга прекратились, однако его по-прежнему не печатали. Твардовскому никак не удается добиться разрешения на публикацию продолжения мемуаров «Люди, годы, жизнь»; более того, теперь руководитель «Нового мира» вынужден держать оборону в собственной редакции, в первую очередь против А. Дементьева (которого Солженицын назвал «комиссаром самого либерального журнала»[583]). Дементьев настаивает на внесении существенных поправок в последнюю часть воспоминаний, посвященную послевоенному периоду, и на «объяснениях» Эренбурга в связи с недавно прозвучавшей в его адрес критикой Хрущева и Ильичева. «Хотелось бы, чтобы более убедительным и объективным был разговор о положении литературы и искусства в Советском Союзе. Не слишком ли много и желчно говорится о чиновниках, приставленных к литературе <…>? Но как бы тяжело ни сказывался культ личности на положении художественной интеллигенции, неужели только факты подобного рода может вспомнить И.Г. Эренбург? <…> Как же тогда развивались советская литература и искусство? Или их существование принадлежит к числу мифов XX столетия? <…> Спорна даже глава, посвященная постановлениям ЦК о литературе и искусстве 1946–1948 гг. и докладу А. Жданова. В ней тоже есть явные преувеличения». И так далее, не забыты и другие существенные моменты: «Не нужно ли более энергично осудить сионизм? Невозможно „вуалировать“ „Николая Ивановича“; правильно ли называть „Грязные руки“ Сартра талантливым произведением?»[584]

Год спустя, в апреле 1964-го, Эренбург, поставив последнюю точку в своей книге, в последний раз обращается к Хрущеву: «Мы оба уже не молоды, и я уверен, что вы поймете меня и дадите разрешение журналу опубликовать мою работу»[585].

После статьи В. Ермилова в «Известиях» и, в особенности, после публичных разносов Хрущевым в марте 1963-го он постоянно обнаруживает в своем огромном почтовом ящике, прибитом к двери квартиры, сочувственные письма. Письма приходят и на адрес «Литературной газеты», которая ему их пересылает. Пишут представители технической интеллигенции, студенты, солдаты, рабочие и колхозники, словом, «простые советские люди». Все выражают солидарность с Эренбургом и сразу переходят к главному: к «теории молчания». Очевидцы событий тридцатых подтверждают: «Это была трагедия эпохи» и признаются: «И мы, мы тоже молчали». Молодые стараются приободрить его: «Я Вас люблю. Спасибо Вам. Я верю в Вас. Колька Мишков из Ленинграда». «Не сдавайтесь. Все это, конечно,

очень неприятно, но это еще не самое худшее. Самое главное, что Ваши читатели Вас любят и верят Вам. Если Вам понадобится помощь, Вы можете всегда рассчитывать на любую поддержку (мы можем от руки переписать все Ваши тексты). Людмила Черина. Калининград»[586]. После хрущевского избиения эти горячие искренние письма были для него неоценимой поддержкой. Он черпает силы в простых словах о братстве и взаимном доверии. «Эренбург выдумал себе „идеального читателя“. Лекции и встречи с читателями, ответы на их письма — все это занимает у него очень много времени, а точнее, почти все время. Мне всегда казалось, что было что-то наивное и сентиментальное в его восприятии „читателя“ и „молодежи“», — рассказывал Алексей Эйснер, его товарищ по Испании, освободившийся из заключения в 1957 году[587].

«Откровения» Ермилова и Серебряковой произвели впечатление на западную публику, внутри же страны они имели скорее обратный эффект. Образ Эренбурга — «заступника за обиженных» ничуть не потускнел. Более того, иногда эта репутация ставит его в довольно сложное положение. Надежда Мандельштам рассказывает: «К Эренбургу однажды обратилась женщина с просьбой о помощи: она работала на железных дорогах и доставила в органы порядка немало ценной информации, между тем ее сократили, не зачтя в стаж пятнадцать лет трудовой деятельности. Она заверяла Эренбурга, что работала безупречно и что по ее рапортам было поднято немало дел. Эренбург осведомился, почему она обратилась именно к нему, и получил ответ: „Потому что вы за справедливость“.»[588] Или такое письмо: «Я хочу обратиться к Вам с одной просьбой. Дело в том, что я недавно прочла в Вашем журнале „Новый мир“ пятый выпуск и там нашла очень интересную для меня новость. Там Вы написали о моем отце. Ведь прошло столько лет, и я не слышала о нем ни единого слова. Все о нем отзываются только плохо, а Вы не особенно казните его. Даже немного обелили, правда, не совсем, но на какую-то долю и с меня сняли некоторую часть груза, который я ношу на себе уже 25 лет. Теперь я внесу ясность в свое письмо, чтоб Вы знали, кто Вас беспокоит. Я, как ни странно, дочь Николая Ивановича Ежова[589], о котором Вы писали в своей статье. Когда все случилось, меня увезли в пензенский д<етский> / дом, где я прожила 10 лет. Я о нем никогда ничего не знала, но пережила очень многое. <…> Я Вас очень прошу об одном. Если Вы можете мне хоть что-нибудь написать об отце, может быть, Вы знаете, что с ним и снимут ли когда-нибудь с него обвинение, — напишите мне»[590]. Эренбург ограничился сухим ответом: «Уважаемая Наталья Николаевна, я

лично не знал Николая Ивановича и ничего не могу прибавить к тому, что я написал. Ничего не знаю и о его дальнейшей судьбе. Сожалею, что не могу ответить на Ваши вопросы»[591].

Драматург Александр Гладков, вернувшись из заключения, часто навещает Эренбурга, чтобы поговорить с ним о Мейерхольде (Эренбург входил в комиссию по творческому наследию Мейерхольда). Во время долгих ночных бесед Эренбург часто рассказывает Гладкову истории из прошлого; позже, когда тот прочел те же самые истории на страницах «Нового мира», то заметил, что в палитре писателя прибавились нюансы, его характеристики менее язвительны и категоричны: «Я не раз слышал от Ильи Григорьевича резко уничижительные оценки <…> Но они очень смягчены в мемуарах. <…> Если он и был „субъективен“ в книге „Люди, годы, жизнь“, то всегда и последовательно в сторону доброты»…[592] Помимо очевидных причин — цензура, оставшиеся в живых родственники людей, о которых он писал, — было и еще нечто, заставлявшее Эренбурга сглаживать острые углы: он не считал себя вправе судить своих современников. В 1965 году Надежда Мандельштам дала ему прочесть рукопись своих воспоминаний. Лизлотта Мэр рассказывает: «Она была единственным человеком, суждений которого он боялся. Но на сей раз они поменялись ролями. Он очень высоко оценил книгу в целом, однако по поводу отдельных мест не мог сдержать раздражения и в сердцах почти кричал на нее, что она, мол, не имеет права обвинять людей в стукачестве без достаточных на то доказательств»[593].

«Поздний вечер был трудным и неспокойным…»

В 1964 году Эренбург перенес тяжелую потерю: умер Василий Гроссман, его старый друг, соратник по подготовке «Черной книги». «Похороны его были горькими, с живыми слезами. Пришли те, кто должен был прийти, и никто не пришел из тех, кто был не мил Гроссману»[594]. Другими словами, чиновники из Союза писателей и стукачи, кто был явно «не мил» покойнику, на кладбище отсутствовали, так как после того, как органы изъяли у Гроссмана рукопись романа «Жизнь и судьба», он жил как изгой и не заслуживал похоронного официоза. Эренбург произнес краткую надгробную речь. Думал ли он в тот момент о своих собственных похоронах, куда уж наверняка придут «те, кто ему не мил»? Вспоминал ли о том дне, когда их пути с Гроссманом окончательно разошлись, — как обрушился на него старый друг за Стокгольмское воззвание, за фальшивую роль «голубя мира», за все это пропагандистское движение, которое на деле служит лишь интересам Сталина и только обостряет международную обстановку[595]? Стоя у гроба, не мог Эренбург не корить себя, что не пришел на помощь товарищу в трудный момент, после обыска, когда у того изъяли его роман, бывший делом всей жизни, единственную книгу, в которой говорилась правда о судьбе советских евреев в годы войны, книгу, написать которую мечтал и он сам, а вместо нее написал бесцветную конъюнктурную «Бурю». Знал ли он, что сказал Гроссман о его мемуарах? «Это исповедь: исповедь подразумевает покаяние. А он сделал из этого фельетон»[596].

Пусть так, но ему не в чем каяться. Скольким зэкам, вернувшимся из лагерей, он помог! Правда, в это время даже Алексей Сурков и Борис Полевой выхлопатывают для вернувшихся «оттуда» субсидии, помогают с квартирой и пропиской, с пенсией, с работой — такая административная благотворительность поощрялась властями. Эренбург подчеркнуто не афиширует свое участие даже в судьбе близких ему людей, как, например, Анастасия Цветаева, помогает как бы издалека, по-деловому. Он ни в чем не раскаивается, он пытается понять пережитое. Если в стихах 1938 года он просил: «Не дай доглядеть, окажи, молю, ту милость, / Не видеть, не вспомнить, что с нами в жизни случилось»[597], то теперь, стоя у последней черты, он спешит разобраться — что же все-таки происходило? Он страстно стремится узнать новые подробности о жизни Кольцова

и Фадеева, понять, почему люди поддавались гипнозу сталинизма. Быть может, узнав это, он наконец сможет лучше понять себя самого? «Он жадно искал материала для своих размышлений, — пишет А. Гладков. — У него совершенно отсутствовала обычная стариковская самоуспокоенность и самоуверенность»[598].

Отставка Хрущева в октябре 1964 года лишила Эренбурга хозяина, руководителя, с которым он чувствовал себя так или иначе связанным, несмотря на все перенесенные унижения. Брежневу писать он не будет. Уже несколько лет он страдает раком предстательной железы. Оперироваться он не хочет, ибо всю жизнь боялся врачей. Его лечат гормонами, но болезнь прогрессирует. Зимой 1967 года с ним случился сердечный приступ, однако он отказался лечь в больницу, опасаясь, что слухи о его состоянии дойдут до чиновной верхушки и его не выпустят за границу. Путешествия по Франции и Италии с Лизлоттой необходимы ему как никогда. Во время этих поездок он продолжает работу над мемуарами. Седьмая книга, так и оставшаяся незаконченной, увидит свет только спустя двадцать лет после смерти автора.

По возвращении в СССР Эренбурга каждый раз поджидал неприятный сюрприз. В ноябре 1964 года в связи с семидесятилетием Исаака Бабеля (Эренбург возглавлял комиссию по его литературному наследию) планировались две конференции. Однако первый секретарь СП Константин Федин вдруг счел, что одного собрания будет вполне достаточно. И действительно, этого оказалось более чем достаточно, поскольку Эренбург, который говорил вступительное слово, спровоцировал настоящий скандал: «Те, которые живут, перед Бабелем и читателями обязаны. Разве не удивительно, что страна языка, на котором он писал, эта страна издает его в десять раз меньше, чем в социалистических странах и на Западе? Ведь это страшно! <… > Я согласен встать и служить, как пес, перед всеми организациями сколько скажут для того чтобы выполнить наконец переиздание книг, которые стали редкостью теперь, когда препятствий нет. Бумаги нет? Пускай я выключу один свой том. Нельзя злоупотреблять терпением людей, которые хотят послушать о давно погибшем писателе»[599].

В 1965 году по Москве распространяется открытое письмо журналиста Эрнста Генри Илье Эренбургу. Оно полно упреков в адрес Эренбурга в связи с его почтительными отзывами о Сталине. Когда на встрече с читателями ему задали вопрос по поводу этих обвинений, Эренбург ответил: «Я сделал то, на что я

способен, сделал все в пределах того, что мне понятно, дал психологический портрет наиболее экономными средствами. Но тут граница моего разумения <…> Ведь исторически дело не в личности Сталина, а в том, о чем говорил Тольятти: „Как Сталин мог прийти к власти? Как он мог удержаться у власти столько лет?“ Вот этого-то я и не понимаю. Миллионы верили в него безоглядно, шли на смерть с его именем на устах. Как это могло произойти? Я вижу петуха в меловом кругу или кролика перед пастью удава и не понимаю. <…> Я жажду получить ответ на этот вопрос, главный для предотвращения такого ужаса в будущем. Я прошу тех, кто может мне ответить, позвонить мне или прийти ко мне и поговорить со мной. Я готов слушать столько, сколько понадобится.»[600]. Заключая свое выступление, он сказал: «Если я бы я был должен посвятить свои воспоминания дорогим для меня людям, то я посвятил бы их людям будущего, которые сумеют реабилитировать совесть».

В феврале 1966 года Эренбург в числе двухсот представителей интеллигенции ставит свою подпись под ходатайством об освобождении Синявского и Даниэля. Два молодых литератора были приговорены к шести и к пяти годам заключения за публикацию своих «клеветнических» произведений за рубежом.

Последний скандал Эренбург спровоцировал своим отсутствием. Накануне открытия Четвертого съезда писателей — того самого, которому Александр Солженицын бросит вызов, разослав открытое письмо с заявлением о выходе из ССП, Эренбург уезжает в Италию. «Не знаю, что испытывают другие делегаты съезда, но меня лично крайне огорчает отсутствие моего дорогого старого друга Ильи Эренбурга, — язвительно заметит с трибуны Михаил Шолохов, только что получивший Нобелевскую премию по литературе. — Посмотришь, посмотришь вокруг — нет Ильи Григорьевича, и вроде чего-то тебе не хватает, становится как-то не по себе… <…> Где же Эренбург? Оказывается, он накануне съезда отбыл к берегам италийским. Нехорошо как-то получилось у моего друга»[601]. По возвращении Эренбург пишет стихотворение о баране, который прожил жизнь, согласно блея со всем стадом, но «умер не по-бараньи». Оно читается как ироническая автоэпитафия:

Мне, право, не до чаепитий,
И вы немного погодите,
Вы не останетесь в обиде —
Расскажете на панихиде
Про то, что был баран и сплыл он

С весьма неподходящим рылом,
И всем баранам в назиданье
Он даже сдох не по-бараньи[602].

Илья Эренбург умер 31 августа 1966 года в Москве, спустя две недели после смерти своего друга Овадия Савича.

Похороны русских писателей, как и их произведения, имеют свою традицию. Похороны Ильи Эренбурга ее не посрамили. Траурная церемония пришлась на первый день нового учебного года. Молодые не побоялись прогулять занятия. В газетах были опубликованы сообщения о том, что траурный кортеж пройдет по центру Москвы от Центрального дома литераторов до Новодевичьего кладбища. В назначенный час огромная толпа собралась перед ЦДЛ у главного входа на улице Герцена. На крыльце появился Борис Полевой, объявив, что сейчас из главного входа будут выносить гроб. Но это была уловка: гроб и венки поспешно вынесли с другой стороны здания, погрузили в автобус, который на всех парах помчался к Новодевичьему кладбищу. «Толпа разразилась криками и проклятьями», — вспоминал Сергей Юрьенен, которого на похоронах буквально взял за шиворот один из «литераторов в штатском», пытаясь таким образом убедить его «не ввязываться в эту сионистскую демонстрацию». У ограды кладбища Юрьенен увидел плотное оцепление — сюда были стянуты войска МВД. На крышах соседних домов размещались камеры слежения КГБ. Вход на кладбище был перекрыт. Когда кладбищенские ворота наконец открыли и тысячи людей ворвались на территорию некрополя, оказалось, что траурная церемония уже закончилась. «Кто-то вставил в траурный венок листок из школьной тетрадки с рисунком — копией знаменитого портрета Эренбурга работы Пикассо. Листок тут же вытащили, разорвали на мелкие клочки и развеяли по ветру»[603]. Об этих похоронах Борис Слуцкий написал:

Было много жалости и горечи.
Это не поднимет, не разбудит.
Скучно будет без Ильи Григорьича,
Тихо будет <…>

Эту свалку, эти дебри
Выиграл, конечно, он вчистую.
Усмехнулся, если поглядел бы
Ту толпу горючую, густую.

Эти искаженные отчаяньем,
Старые и молодые лица,
Что пришли к еврейскому печальнику,
Справедливцу и нетерпеливцу,

Что пришли к писателю прошения
За униженных и оскорбленных.
Так он, лежа в саванах, в пеленах,
выиграл последнее сражение.[604]

Надежда Мандельштам дружила с Эренбургом более пятидесяти лет. В своей книге она так напишет о нем: «Среди советских писателей он был и оставался белой вороной. <…> Беспомощный, как и все, он пытался что-то делать для людей. „Люди, годы, жизнь“, в сущности, единственная его книга, которая сыграла положительную роль в нашей стране. Его читатели, главным образом мелкая техническая интеллигенция, по этой книге впервые узнали десятки имен. Прочтя ее, они быстро двигались дальше, и со свойственной людям неблагодарностью тут же отказывались от того, кто открыл им глаза. И все же толпы пришли на его похороны, и я обратила внимание, что в толпе — хорошие человеческие лица. Это была антифашистская толпа, и стукачи, которых массами нагнали на похороны, резко в ней выделялись. Значит, Эренбург сделал свое дело, а дело это трудное и неблагодарное. Может быть, именно он разбудил тех, кто стали читателями самиздата»[605].

ИЛЛЮСТРАЦИИ



Фото из следственного дела. 1908
Первый и последний тюремный опыт



С матерью и сестрами на водах. Германия, Киссинген, 1909



Денди или «Илья Лохматый», как его называли в Париже знакомые, включая Ленина. Париж, 1910



«Когда кончится война?» Диего Ривера, Моди (Модильяни) и Эренбург.

Рисунок Маревны. 1916



Рю де ла Гэте. Парад.

Модильяни, Сутин, Ривера, Маревна, Волошин, Эренбург, Пикассо.

Рисунок Маревны. 1916



В 1918 году Эренбург и Алексей Толстой на Тверском бульваре в Москве вслушиваются в топот коней Апокалипсиса.



С женой Л.М. Козинцевой-Эренбург и Йозефом Ротом. Берлин, 1927



С Юлианом Тувимом, поэтом и переводчиком русской поэзии. Варшава, 1927

«Кровь бывает двоякого рода: та, что в жилах, и та, что течет из жил» — эти слова Тувима, сказанные в 1943 году, Эренбург повторит в 1948, обратив их против государства Израиль.



Проект обложки романа «Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца» работы Л. Козинцевой-Эренбург и Сеньора. Париж, 1928

Вечный жид Лазик парит над парижской площадью Этуаль, волоча за собой неизбежный гомельский комод.



Евгений Петров и Илья Ильф встречают Эренбурга, приехавшего в Москву на Первый съезд советских писателей. 1934 Радостная встреча. Но кто будет смеяться последним?



С писателями Г. Реглером, Э. Хемингуэем и кинорежиссером Й. Ивенсом

Мадрид, 1937

Война с фашизмом в Испании оказалась не только борьбой за республиканские свободы, но и полигоном для проверки сил НКВД.



«Радиомитинг» представителей еврейского народа.

Москва, 24 августа 1941

Сидят (слева направо): С. Маршак, П. Маркиш, Д. Бергельсон, И. Эренбург.

Стоят: Я. Флиер, Д. Ойстрах, И. Нусинов, С. Михоэлс, Я. Зак, Б. Йофан, В. Зускин, А. Тышлер, Ш. Эпштейн.

В мае 1942 года будет утвержден Еврейский антифашистский комитет. Инициаторы Комитета, два руководителя польского Бунда, Виктор Альтер и Хенрик Эрлих, будут тут же расстреляны.



На фронте возле Калуги с маршалом К.К. Рокоссовским. 1942



Белоруссия. 1944



С Альбертом Эйнштейном. 1946



На руинах Варшавского гетто. 1947



Авторский вечер в Центральном доме Красной армии. Москва, 1949

Ночное действо при свечах



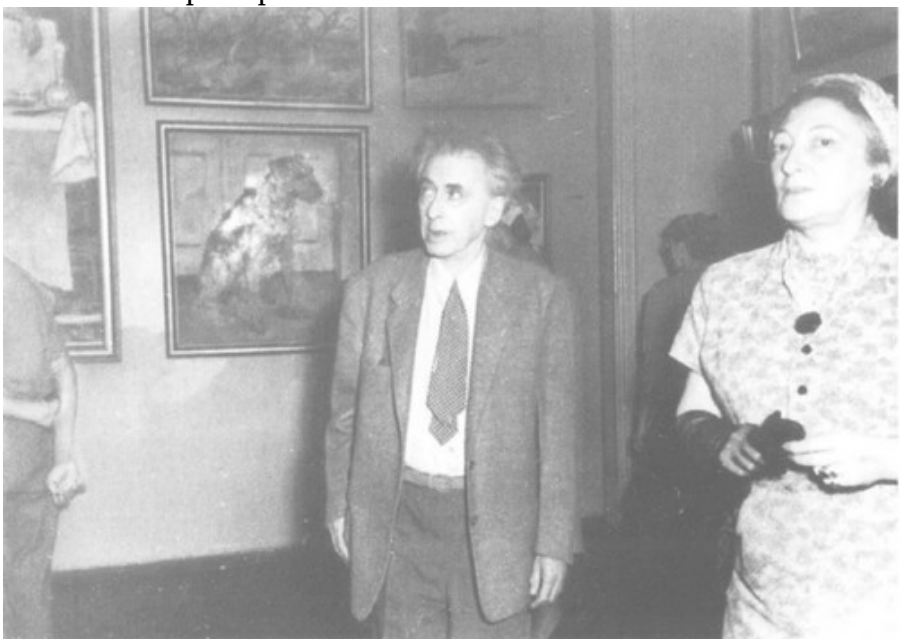
Москва, 1950
Советский писатель на вершине славы



Вручение Сталинской премии мира. Москва, Кремль, 21 января 1953

Слева академик Д. В. Скобельцин, справа А. Зегерс.

Речь Эренбурга, где нашлись слова: «…Я хочу сказать про ночь тюрем, про допросы, суды — про мужество многих и многих», была при публикации исправлена цензурой. Дело врачей было в самом разгаре.



С женой на открытии выставки П.П. Кончаловского. Москва, 1957

С русского авангарда снимается запрет.



На открытии выставки Пабло Пикассо. 1956
На стене портрет Эренбурга работы художника 1948 года

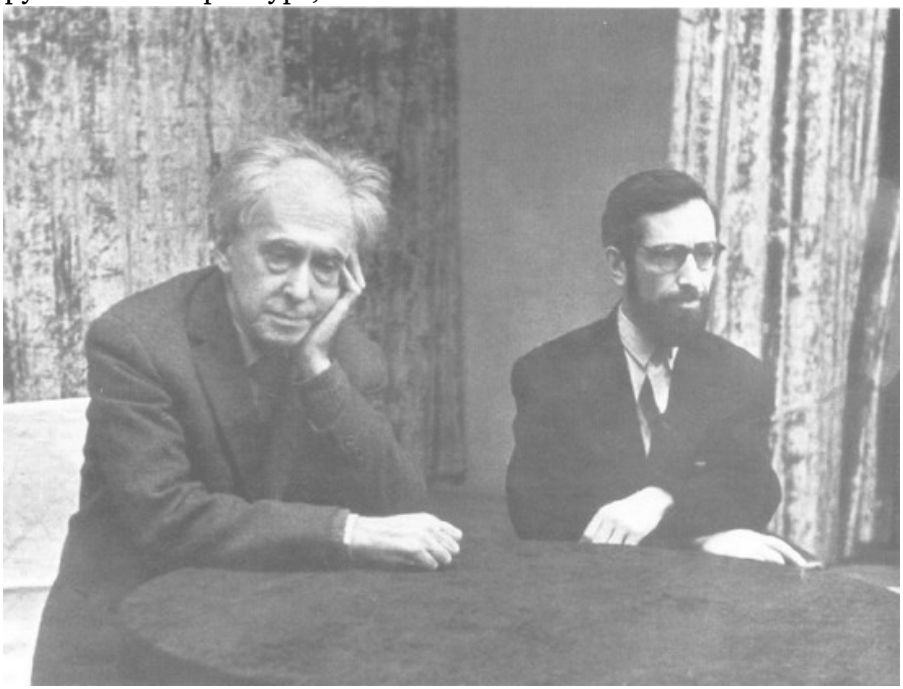


Рисунок Пабло Пикассо. 1963
Пикассо, которого когда-то Эренбург назвал чертом, нападает на Илью Лохматого.



С П. Пикассо и Л. Мэр на юге Франции. 1966

Эренбург уговорил художника принять Ленинскую премию мира. Пикассо согласился, но при условии, что награду ему вручит лично Эренбург, а не советский посол



Встреча с читателями. Москва, 1964

«Шесть томов текста и шесть томов умолчаний… Как смеем мы требовать от него большего?» (Нина Берберова)



Москва, 1960-е
Жизнь прожить — не поле перейти.



Центральный дом литераторов. Москва, сентябрь 1967
Прощание с «еврейским печальником»



В день похорон у Центрального дома литераторов. Москва, сентябрь 1967

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Абакумов Виктор Семенович 174
Абетц Отто 281
Аввакум 14
Авенариус Рихард 22
Аджубей Алексей Иванович 229
Айхенвальд Юлий Исаевич 39
Аксенов Василий Павлович 232
Ашинский Василий Семенович 200
Александров Георгий Федорович 174, 176, 177, 182, 183
Алигер Маргарита Иосифовна 190
Альберти Рафаэль 135, 146
Альтер Виктор 164
Альтман Натан Исаевич 27, 42
Амп Пьер 99
Андерс Владислав 158
Андерсон Шервуд 118
Андреев Леонид Николаевич 14
Андреева (Юрковская) Мария Федоровна 15
Антонов-Овсеенко Владимир Александрович 131, 134, 135
Аполлинер Гийом (Вонж-Костровицкий) 32, 228
Арагон Луи 60, 87, 112, 119, 192, 193
Аренштейн Анна (Хана) *см.* Эренбург Анна (Хана)
Ариадна *см.* Эфрон Ариадна Сергеевна
Арманд Инесса (Стеффен Елизавета Федоровна) 21
Архипенко Александр Порфирьевич 68
Асеев Николай Николаевич 168
Астафьев 15
Астье де ля Вижери Эмманюэль 178, 180, 193, 218
Ахматова Анна Андреевна 34, 79, 147, 162, 181, 203, 213
Аш Шолем 180

Бабель Исаак Эммануилович 45, 87, 89, 92, 93, 105, 115, 122, 136, 137, 143, 144, 213, 221, 228,2 43
Багрицкий Эдуард Георгиевич 104
Бакунин Михаил Александрович 4
Бальзак Оноре де 56
Бальмонт Константин Дмитриевич 39, 42
Барбюс Анри 90, 109, 112, 118, 120
Батя Томас 100
Безыменский Александр Ильич 126
Бейлис Менахем Мендель 30, 51

Белле Жоашен (Иоахим) дю 34
Белый Андрей (Бугаев Борис Николаевич) 66, 71
Бенда Жюльен 122
Бенеш Эдуард 114
Беньямин Вальтер 7, 90, 94
Берберова Нина Николаевна 60
Берггольц Ольга Федоровна 177
Бергельсон Давид 46, 155, 189, 219
Бердяев Николай Александрович 18, 28, 34, 39
Бержери Гастон 101
Берия Лаврентий Павлович 202, 205
Биргер Борис Георгиевич 230
Блок Александр Александрович 28, 34, 40–43, 57,66, 78, 107
Блок Жан-Ришар 91, 118, 119, 120, 146, 180
Блуа Леон 31, 34, 36, 62
Бовуар Симона де 193, 217, 227, 228
Богданов (Малиновский) Александр Александрович 22
Брежнев Леонид Ильич 243
Бретон Андре 121, 122
Бродский Лев 10,11
Брюсов Валерий Яковлевич 31, 34, 42, 56, 76
Булгаков Михаил Афанасьевич 123
Бунин Иван Алексеевич 6, 39, 60
Бурлюк Давид Давидович 27
Бухарин Николай Иванович 8, 15–17, 55, 57, 58, 75, 77–79, 81, 86, 89, 94, 95, 101, 114, 116, 117, 119, 126, 129, 136 139, 144, 224, 232

Вайль Петр Львович 228
Вайян (Вайян-Кутюрье) Роже 119, 216, 217
Василевский Илья Маркович 71,112
Васильева Мария Михайловна 26, 28
Ват Александр 95
Вербицкая Анастасия Алексеевна 80, 86
Веркор (Брюллер Жан) 193, 216, 218
Верлен Поль 222
Верт Александр 153, 154, 158, 163, 170, 173, 175
Вийон Франсуа 34
Вильдрак Шарль (Мессаже) 91
Витте Сергей Юльевич 16
Вишневский Всеволод Витальевич 134, 135, 151
Вишняк Абрам 73, 74
Вишняк Вера 73, 74
Вознесенский Андрей Андреевич 228, 234, 236

Войтехов Борис Ильич 160
Волошин Максимилиан Александрович 34, 40, 41, 52, 53, 70
Вольтер (Франсуа-Мари Аруэ Вольтер) 61
Воронский Александр Константинович 78, 95
Ворошилов Климент Ефремович 116
Врангель Петр Николаевич 53, 54
Вышинский Андрей Януарьевич 137, 178

Гагарин Юрий Алексеевич 230
Гайкис Леон Яковлевич 135
Галактионов Михаил Романович 179
Гамсун Кнут 18
Ганс Абель 89
Гаре Роже Мартен дю 120
Гарро Роже 159
Гашек Ярослав 61
Геббельс Йозеф 149
Геенно Жан 120
Геликон *см.* Вишняк Абрам
Гельфанд (Парвус) Александр Львович 83
Гельфанд Марк Самсонович 129
Генис Александр Александрович 228
Генри Эрнст 204, 243
Герасимов Александр Михайлович 215, 237
Герасимова В.А. 123
Геринг Герман 178
Герцен Александр Иванович 48
Герцык Евгения К. 39
Гессен Иосиф Владимирович 68
Гийу Луи 119
Гилельс Эмиль Григорьевич 190
Гильсум Луиза, Морис 146
Гиляровский Владимир Алексеевич 12
Гинзбург Евгения Семеновна 232
Гитлер Адольф 110, 117, 129, 142, 145, 146, 148, 151, 152, 155, 161, 165, 169, 175, 204
Гладков Александр Константинович 168, 227, 241, 243
Глез Альберт 32, 91,101
Глезер Александр 232
Голль Шарль де 159, 170
Голомшток Игорь Наумович 234
Горгулов Павел Тимофеевич 102, 104 106
Горев Владимир Ефимович 133
Горький Максим (Пешков Алексей Максимович) 14, 22, 25,

28, 57, 66, 70, 76, 79, 101, 102, 105, 107, 114, 117, 121, 122, 127, 213
Гофман Э.Т.А. 70
Григорий Григорьевич *см.* Эренбург Герш
Громыко Андрей Андреевич 166
Гронский (Федулов) Иван Михайлович 105, 108
Гронфей Евгения 45
Гроссман Василий Семенович 153, 158,1 66, 171, 177, 182, 189, 190, 237, 242
Гудзь Г.И. 203
Гуль Роман Борисович 74
Гурвич Абрам Соломонович 190
Гутенберг Иоганн 55
Гюго Виктор 8

Д'Астье *см.* Астье де ля Вижери
Д'Обинье Агриппа 40
Даладье Эдуар 142, 145, 146
Даниэль Юлий Маркович 244
Дезанти Доминик 178, 208
Делоне Соня (урожд. Стерн-Терк Софья Ильинична) 33
Дементьев Александр Григорьевич 240
Демулен Камилл 9
Дениз *см.* Лакаш Дениз
Деникин Антон Иванович 45, 48, 50, 51, 54
Джойс Джеймс 206
Дзержинский Феликс Эдмундович 46
Димитров Георгий 113, 114
Добрушин Иехезхель 164
Довженко Александр Петрович 114
Долорес *см.* Ибаррури Долорес
Домбровский Юрий Осипович 224
Дос Пассос Джон 99
Достоевский Федор Михайлович 14, 34, 37, 63, 70, 81, 106, 107, 111, 208, 210
Драйзер Теодор 118
Дрейфус Альфред 194, 197
Дудинцев Владимир Дмитриевич 215
Думер Поль 102, 104
Дункан Исидора (Айседора) 18, 67
Дуров Владимир Леонидович 57
Дуррути Буэнавентура 130, 131
Духонин Николай Николаевич 50
Дэкс Пьер 228

Дюамель Жорж 91
Дюма Александр 70
Дюртен Люк 91, 120
Дягилев Сергей Павлович 36

Евреинов Николай Николаевич 44
Евтушенко Евгений Александрович 229, 234, 235
Егорова 15
Ежов Николай Иванович 137, 139, 143, 241
Екатерина II Великая 10
Ермилов Владимир Владимирович 237, 240, 241
Есенин Сергей Александрович 66, 67, 69

Жакоб Макс 20, 33, 37, 60, 228
Жамм Франсис 26, 28 31
Жданов Андрей Александрович 115, 119, 126, 180 183, 212, 240
Жид Андре 111, 113, 114, 118, 120, 122, 134, 135
Жироду Жан 120
Жорес Жан 9, 23
Жослен Поль (псевдоним И.Г. Эренбурга) 142
Жуков Георгий Константинович 156, 220

Зайцев Борис Константинович 55
Замятин Евгений Иванович 6, 34, 56, 70, 75, 85, 89–91, 99, 102, 103, 110, 111
Зингер Башевис 7
Зиновьев Григорий Евсеевич 127
Золя Эмиль 139, 194, 197
Зонина Лена 193, 196, 198, 218, 238
Зощенко Михаил Михайлович 70,168, 181
Зускин Беньямин 189

Ибаррури Долорес (Исидора) 132, 135
Ибсен Генрих 14
Иван IV Грозный 167,190
Иванов Всеволод Вячеславович 70
Иванов Вячеслав Иванович 39
Ивенс Йорис 131, 132, 135
Ивнев Рюрик 42
Иллеш Бела 212
Ильичев Леонид Федорович 139, 238, 240
Ильф Илья Арнольдович 108
Инбер Вера Михайловна 41

Ирина см. Эренбург Ирина Ильинична
Истрати Панаит 91

Кабальеро Ларго 127, 129, 130, 132
Каверин Вениамин Александрович 79, 80, 86,200, 201, 227, 228, 235, 236
Каганович Лазарь Моисеевич 116, 119, 123, 126
Казакевич Эммануил Генрихович 213, 224
Каменев Лев Борисович 57, 127
Каменева Ольга Давидовна 84, 91
Кампанис Луис 130
Капица Петр Леонидович 155, 190
Кара-Мурза Сергей 42
Карахан Лев Михайлович 55
Карко Франсис 60
Кармен Роман Лазаревич 131
Катаев Валентин Петрович 235
Катала Жан 153, 170, 187, 193
Катя *см.* Шмидт Екатерина
Каутский Карл 14
Квитко Лейб 46, 189, 230
Кейтель Вильгельм 178
Керенский Александр Федорович 38
Кестлер Артур 111
Киров Сергей Миронович 119, 122, 126, 127
Кислинг Моиз 32
Клэр Рене 89
Козинцев Михаил Исаакович 45
Козинцева-Эренбург Любовь Михайловна 45, 51–55, 58, 59, 61, 64, 73, 74, 78, 90, 123, 135, 140, 141, 158, 194, 195, 214, 226, 238
Кокто Жан 85
Кольцов Михаил Ефимович 120–122, 126–129, 132–135, 143, 144, 243
Комиссаржевская Вера Федоровна 15
Кончаловский Петр Петрович 214
Копелев Лев Зиновьевич 173, 239
Корне Поль 33
Корнейчук Александр Евдокимович 194, 205, 217, 229
Корнилов Лавр Георгиевич 38
Кот Пьер 147, 180
Котен Михаил Фридрихович фон 16
Кочетов Всеволод Анисимович 221, 233
Кравченко Виктор Андреевич 193

Красин Леонид Борисович 84
Кревель Рене 121,122
Крейгер Ивар 100
Крупская Надежда Константиновна 21, 55, 81
Купер Фенимор 16
Куприн Александр Иванович 14
Кьеркегор Сёрен 31
Кюри-Склодовская Мари 91

Ла Рошель Дрие 92
Лакаш Бернар 99, 147
Лакаш Дениз 99, 147, 151, 180
Ланге Оскар 180
Лапин Борис Матвеевич 154, 159, 178
Ле Корбюзье (Жаннере Шарль Эдуар) 68
Лебедев-Полянский Павел Иванович 81
Леви Карло 191
Леже Жанна 33
Леже Фернан 32, 33, 44, 60, 65, 68
Лежнев Исай Григорьевич 127
Ленин Владимир Ильич 14, 17, 20–24, 37, 55, 68, 75, 76, 78–81, 127, 130, 137, 153, 195, 199
Лесючевский Николай Васильевич 222
Лидин Владимир Германович 73, 78, 99, 102, 112, 168, 227, 228
Лиза *см.* Полонская Елизавета
Лизлотта *см.* Мэр Лизлотта
Лисицкий Эль 228, 68
Литвинов Максим Максимович 143, 173
Лифшиц Бенедикт Константинович 27
Лозовский Соломон Абрамович 149, 189
Лондр Альбер 95, 125
Луначарский Анатолий Васильевич 22, 26, 28, 42, 50, 60, 75, 81, 85, 86
Лундберг Евгений Германович 39, 81
Лунц Лев Натанович 70, 80
Лысенко Трофим Денисович 195
Львов 231
Львович Давид Оскарович 133
Львовы, сестры 15
Люба *см.* Козинцева-Эренбург Любовь Михайловна
Любовь Михайловна см. Козинцева-Эренбург Любовь Михайловна

Майлстоун Льюис 114
Макасеев Борис Константинович 131
Мак-Орлан Пьер 85, 87, 91, 101
Маленков Георгий Максимилианович 205
Мальро Андре 60, 110–114, 116, 118–120, 122, 132, 134, 135, 141, 144, 146, 154
Мальро Клара 114
Мандель Жорж 147
Мандельштам Александр Эмильевич 53
Мандельштам Надежда Яковлевна (урожд. Хазина) 45, 51, 139, 151, 228, 241, 242, 245
Мандельштам Осип Эмильевич 45, 46, 51, 53, 54, 57, 66, 89, 117, 123, 140, 144, 151, 181, 199, 228, 232
Мандельштам, братья 54
Манн Генрих 118
Манн Клаус 122
Манн Томас 118, 120
Маревна (Воробьева-Стебельская Мария Брониславовна) 25, 32, 33, 248
Маринин М. (Хавинсон Я.С.) 200
Марион Д. 100
Маритен Раиса (урожд. Умансова) 31
Марке Альбер 158, 214
Маркиш Перец Давидович 46, 150, 155, 164, 189, 230
Маркиш Эстер 192
Марков Алексей Алексеевич 229
Маркс Карл 16, 51, 80, 117
Маршак Самуил Яковлевич 155, 190
Матисс Анри 26, 180, 191, 228
Мах Эрнст 22
Маяковский Владимир Владимирович 41, 42, 47, 55, 66, 72, 91, 102, 103, 110, 116, 237
Медичи Лоренцо 50
Меир Голда 188, 189
Мейерхольд Всеволод Эмильевич 42, 55, 56, 87, 138, 143, 144, 228, 232, 241
Мельников Константин Степанович 85
Мендель Грегор 195
Менжинский Вячеслав Рудольфович 59, 77
Мережковский Дмитрий Сергеевич 28
Меркулов Василий Лаврентьевич 199
Меркурьева Вера Александровна 39, 44, 46, 48
Метерлинк Морис 14
Миаха Хосе 132

Мильман Валентина Ароновна 108, 152
Минц Исаак Израилевич 200
Мирабо Оноре Габриель де 9
Миро Жан 214
Мирова 133
Михаил Александрович см. Романов Михаил Александрович
Михоэлс Соломон Михайлович 7, 155, 164, 166, 179, 182, 184–186, 189
Мицкевич Адам 212
Модильяни Амедео 27, 33, 85,181
Молотов Вячеслав Михайлович 116, 145, 146, 148, 149, 152, 179, 185
Монзи Анатольде 101, 113, 147
Монробер Дениз *см.* Лакаш Дениз
Монтан Ив 223
Монтень Мишель де 228
Моравиа Альберто 191
Моран Поль 83
Морган Клод 216
МуссинакЛеон 119, 122
Муссолини Бенито 129, 142
Мэр Лизлотта (Лизелотта) 194, 195, 221, 226, 228, 242, 243

Набоков Владимир Владимирович 6
Нанда 86, 98
Наполеон Бонапарт 5
Не-Буква см. Василевский Л.
Негрин Лопес Хуан 130, 142
Неизвестный Эрнст Иосифович 235
Некрасов Виктор Платонович 229
Никитин Н. 85
Николай I 86
Николай II 16, 35, 36
Нин Андрес 134
Ницше Фридрих Вильгельм 107
Нусинов Исаак Маркович 164

Овидий 71
Ойстрах Давид Федорович 190
Окуджава Булат Шалвович 226
Олеша Юрий Карлович 115, 144
Ортенберг-Вадимов Давид Иосифович 153
Осоргин (Ильин) Михаил Андреевич 84

Пабст Георг Вильгельм 90
Павел Тарсянин 67
Парнах Валентин Яковлевич 84
Паскаль Блез 107
Пассионария см. Ибаррури Долорес
Пастернак Борис Леонидович 56, 66, 72, 73, 78, 87, 89, 115, 116, 122, 123, 144, 168, 177, 203, 222–224
Паустовский Константин Георгиевич 168, 216, 224, 238
Пеги Шарль 31, 33, 34, 36, 40
Песталоцци Иоганн Генрих 50
Петерс Яков (Екаб) Христофорович 46, 50
Петефи Шандор 212, 215
Пети Эрнест 159
Петлюра Семен (Симон) Васильевич 45
Петров Евгений Петрович 108, 153
Пикассо Пабло 23, 27, 33, 36, 45, 60, 85, 180, 191, 193, 214, 215, 226, 228, 232, 234, 237, 245
Пильняк Борис Андреевич 69, 70, 85, 94, 102
Пиранези Джованни Батиста 54
Платон 107
Платонов (Климентов) Андрей Платонович 168
Плеханов Георгий Валентинович 14, 24
Познер Владимир Соломонович 230
Полевой (Кампов) Борис Николаевич 242, 245
Полонская Елизавета Григорьевна 24, 71, 84, 86, 92, 98, 177
Померанцев Владимир 206
Поплавский Борис Юлианович 84
Поскребышев Александр Николаевич 236
Поспелов Петр Николаевич 210, 218
Пристли Джон 192
Пруст Марсель 206
Пуанкаре Раймон 34, 101
Пугачев Емельян 37
Пуни Иван Альбертович 68, 79
Путерман 146
Пушкин Александр Сергеевич 42, 86, 138, 155
Пятаков Георгий Леонидович 136

Радек Карл 113, 115, 116, 118, 136
Раковский Кристиан 84, 101
Ракоши Матиас (Матьяш) 215
Раппопорт Натан 182
Раппопорт Шарль 146

Раскольников (Ильин) Федор Федорович 95, 144, 145
Распутин Григорий Ефимович 67
Растрелли Бартоломео Франческо 42
Рафаэль 42
Реглер Густав 124, 129, 133
Рейно Поль 147
Рейс Игнатий 154
Ремизов Алексей Михайлович 74, 85
Ренуар Жан 89
Репин Илья Ефимович 215
Риббентроп Иоахим фон 145, 146, 178
Ривера Диего 27, 32, 33, 60, 61
Родченко Александр Михайлович 55, 85
Розенберг Марсель Израилевич 129, 130, 135
Роллан Ромен 109, 112,118
Романов Михаил Александрович, великий князь 33
Романов Сергей Александрович, великий князь 12
Ромен Жюль 91
Ромм Михаил Ильич 235
Рот Йозеф 100, 228
Руа Клод 216, 217
Рузвельт Франклин Делано 160, 167
Рыков Алексей Иванович 136
Рюриков Борис Сергеевич 205

Савинков Борис Викторович 38, 76, 77
Савич Овадий Герцович 135, 136, 141–143, 227, 230, 245
Савл *см.* Павел Тарсянин
Сальмон Андре 20, 60
Сандрар Блез 32, 33, 60, 65, 99
Сарнов Бенедикт Михайлович 230
Сартр Жан-Поль 191, 193, 216–218, 240
Сарьян Мартирос 214
Сати Эрик 36
Светлов Михаил Аркадьевич 149
Сейфулина Лидия Николаевна 91
Сельвинский Илья Львович 142, 159, 235
Семичастный Владимир Ефимович 222
Сергей Александрович *см.* Романов Сергей Александрович
Серебрякова Галина Иосифовна 236, 238, 241
Серж Виктор 122
Сименон Жорж 110
Симон 146
Симонов Константин (Кирилл) Михайлович 152, 153, 160,

162, 170, 179, 180, 182, 184, 194, 199, 203, 205, 207, 210, 215, 235
Синклер Эптон 99
Синьоре Симона 223, 227
Синявский Андрей Донатович 208, 234, 244
Скоропадский Павел Петрович 44
Скрябин Александр Николаевич 84
Слонимский Михаил Леонидович 79
Слуцкий Борис Абрамович 176, 219, 224, 227,230
Смирнов Андрей 79
Смоляр Герш 172, 230
Сокольников (Бриллиант) Григорий Яковлевич 136
Солженицын Александр Исаевич 234, 240, 244
Сорокин Тихон Иванович 25, 32, 34, 38, 74, 89
Ставский (Кирпичников) Владимир Петрович 135
Сталин Иосиф Виссарионович 7, 23, 77, 79, 89, 94, 101, 102, 105, 107, 109, 114, 115, 117–120, 123, 124, 126, 127, 130–133, 136–140, 144–147, 150–153, 155, 156, 158–161, 164, 167, 170, 173, 174, 177–179, 181, 184, 186, 188, 189, 191, 192, 195, 199–205, 208, 211, 212, 219, 227, 230–236, 239, 242–244
Стариков Дмитрий 229
Стейнбек Джон 206
Стендаль (Бейль Анри Мари) 6, 221, 222, 224
Стенич (Сметанич) Валентин Осипович 42
Степун Федор Августович 38
Стефа 180
Столыпин Петр Аркадьевич 20
Струве Петр Бернгардович 34
Сунь Цин-Лин 198
Суриц Яков Захарович 145
Сурков Алексей Александрович 162, 205, 206, 209, 217, 235, 242
Суслов Михаил Андреевич 200, 212
Сутин Хаим 27, 228
Суцкевер Абрам (Авром Герцевич) 166, 171
Сыркин Нахман 83

Табидзе Нина Александровна 228
Табидзе Тициан Юстинович 54, 137, 232
Татлин Владимир Евграфович 60
Татю Мишель 236
Твардовский Александр Трифонович 206, 207, 224, 230–232, 234, 239
Тихон *см.* Сорокин Тихон Иванович
Тихонов Николай Семенович 79, 122, 212, 235

Толлер Эрнст 90
Толстой Алексей Николаевич 39, 60, 69, 71, 76, 78, 134, 155, 173, 182
Толстой Лев Николаевич 6, 12–15, 70, 139, 197, 208
Тольятти Пальмиро 244
Третьяков Сергей Михайлович 99
Триоле Эльза 192
Троцкий Лев Давидович 23, 24, 34, 55, 78, 79, 95, 110, 119, 130, 134
Труайя Анри 103
Тувим Юлиан 146, 180, 187
Турнер Бернар 219
Тынянов Юрий Николаевич 80, 86, 168, 196
Тышлер Александр Григорьевич 45, 150

Удиану120
Уэнделл Уилки 160

Фаворский Владимир Андреевич 235
Фадеев Александр Александрович 134, 183, 184, 191, 194, 203, 205, 206, 211, 227, 243
Фаст Говард 219
Федин Константин Александрович 79, 113, 168, 243
Фейхтвангер Леон 118
Фефер Ицик (Исаак Соломонович) 166, 179, 182, 189, 219
Фишман Фаня 171
Форш Ольга Дмитриевна 79
Франк Нино 85, 90, 99, 110
Франко Баамонде Франсиско 129, 143
Фурманов Дмитрий Андреевич 131
Фурцева Екатерина Алексеевна 214

Хазина Надежда см. Мандельштам Надежда Яковлевна
Хаксли Олдос 120
Хекслей *см.* Хаксли Олдос
Хемингуэй Эрнест 132, 133, 135, 154, 206
Херасси Фернандо 180
Херлинг-Грудзинский Густав 223
Ходасевич Владислав Феликсович 66, 71
Хоффман П.М. 198
Хрущев Никита Сергеевич 7, 15, 16, 119, 138, 177, 204–207, 211, 215, 216, 218, 220–222, 224, 226, 229, 230, 234–240, 243
Хуциев Марлен Мартынович 235

Цадкин Осип (Иосель Аронович) 27, 33
Цвейг Стефан 7
Цветаева Анастасия Ивановна 242
Цветаева Марина Ивановна 37, 45, 56, 72–74, 81, 84, 89, 154, 181, 213, 228
Цетлин Михаил Осипович 25, 42
Цирес 15
Цыпин Гр. Е. 113

Чайковский Петр Ильич 11
Чапек Карел 120
Чаплин Чарли 87
Чемберлен Артур 91, 142, 146
Черчилль Уинстон 152, 160, 167, 179
Честертон Гилберт Кийт 120
Чехов Антон Павлович 6, 49, 194, 208, 223, 224
Чуковская Лидия Корнеевна 173, 238
Чуковский Корней Иванович 69, 235

Шагал Марк Захарович 27, 180, 214, 228
Шаламов Варлам Тихонович 203
Шанталь 34, 37, 38, 180
Шварц Евгений Львович 168
Шестов (Шварцман) Лев Исаакович 67, 84
Шифрин 45
Шкапская Мария Михайловна 66, 68, 70, 75, 77
Шкловский Виктор Борисович 41, 59, 67, 70, 72, 75, 79, 86, 111, 196
Шлецер Борис Федорович 84
Шмидт Екатерина 24–27, 33, 34, 38, 89
Шолохов Михаил Александрович 158, 162, 173, 233, 238, 244
Шостакович Дмитрий Дмитриевич 162, 229, 235, 236
Шоу Бернард 107, 120
Шпербер (Спербер) Манес 218
Штерн Лина 189
Шульгин Василий Витальевич 51, 52

Щербаков Александр Сергеевич 120–122, 126, 153, 156

Эйзенштейн Сергей Михайлович 110, 150, 155, 167, 190
Эйнштейн Альберт 166, 180, 185
Эйснер Алексей Владимирович 241
Эйхенбаум Борис Михайлович 79, 196
Экстер Александра Александровна 27, 44, 47

Элленс Франц 61, 117
Элюар Поль 122
Эренбург Анна (урожд. Аренштейн Хана) 11, 43, 151, 155, 165
Эренбург Герш (Григорий Григорьевич) 10–12, 15, 43
Эренбург Ирина Ильинична 25, 34, 38, 74, 75, 89, 136, 140, 143, 148, 158, 159, 171, 178, 232
Эренбург-Козинцева Любовь *см.* Козинцева-Эренбург Любовь Михайловна
Эрлих Хенрик 164
Эфрон Ариадна Сергеевна 56, 73, 74
Эфрон Сергей Яковлевич 73, 154, 155

Юрьенен Сергей Сергеевич 245

Ягода Генрих Григорьевич 117
Якобсон Роман Осипович 146, 180
Ярхо 15
Яшвили Паоло (Павел Джибраэлович) 54, 137, 232
Ященко Александр Семенович 66–68, 71

notes

Примечания

1

Бахрах А. Павел Савлович. Русская мысль. 1980. 5 июня.

2

Эренбург И. Люди. Годы. Жизнь*. Кн. 1 / Сост., подгот. текста Б. Сарнова и И. Эренбург. Вступ. ст. Л. Лазарева, коммент. Б. Фрезинского // Собр. соч.: В 8 т. М.: Художественная литература, 1990–2000**. Т. 6. С. 355.

* Далее — ЛГЖ. Книга 1 — том 6; книги 2–5 (главы 1—13); том 7; книги 5 (окончание) — 7; том 8.

** Далее это издание — Соч.

3

Там же. С. 352.

Там же. С. 353.

Там же. С. 354.

Эренбург И. Книга для взрослых. Соч. Т. 3. С. 538.

Он же. Писатели о себе // Новая русская книга. Берлин, 1922. № 4.

Эренбург И. ЛГЖ. Кн. 1. Соч. Т. 6. С. 354.

Там же. С. 355.

10

Там же.

11

Там же.

Там же. С. 359.

13

Эренбург И. Книга для взрослых. Соч. Т. 3. С. 456–457.

14

Там же. С. 369

15

Там же. С. 462. См. также: *Goldberg A. (avec Mauny E de)*. Ilya Ehrenburg. Revolutionary, Novelist, Poet, War Correspondent, Propagandist: Extraordinary Epic of a Russian Survivor. London, 1985.

16

Эренбург И. ЛГЖ. Кн. 1. Соч. Т. 6. С. 371.

17

Он же. Из личного собрания Е.А. Зониной.

Он же. Книга для взрослых. Соч. Т. 3. С. 460.

Он же. ЛГЖ. Кн. 1. Соч. Т. 6. С. 372.

Литературное наследство. Т. 65. Новое о Маяковском. М., 1958. С. 444.

Эренбург И. ЛГЖ. Кн. 1. С. 382–383.

Там же. С. 379–380.

23

Dubnov S.M. History of the Jews in Russia and Poland. Philadelphia. 1920. Vol. 3. C. 114–115.

См.: Парижский вестник. 1910–1912.

Aline. Lénine à Paris. Librairie matérialiste. 1929. P. 72.

Эренбург И. ЛГЖ. Кн. 1. Соч. Т. 6.

Lounatcharski A. Silhouettes révolutionnaires. Moscou, 1923.

28

Гуль Р. Одвуконь. Нью-Йорк, 1973 С. 116; *Он же.* «Я унес Россию с собою» // Новый русский журнал. Нью-Йорк, 1978. № 12. С. 54. См. также: *Рубинштейн Дж.* Верность сердцу и верность судьбе. Жизнь и время Ильи Эренбурга. СПб.: Академический проект, 2002. С. 37.

Aline. Lénine à Paris. P. 73.

Маревна (Воробьева-Стебельская М.Б.). Моя жизнь с художниками «Улья». М., 2004. С. 48–49.

Маревна. Там же. С. 72–73.

Эренбург И. Книга для взрослых. Соч. Т. 3. С. 496.

Он же. ЛГЖ. Кн. 1.С. 431.

Там же. С. 424.

Шатских А. Мастерские Русской академии в Париже // Искусство. 1989. № 7.

Цит. по: *Biggart J.* L'Académie des émigrés russes // Revue d'Histoire du Quatorziéme arrondissement de Paris. 1977. № 22.

Эренбург И. Книга для взрослых. Соч. Т. 3. С. 495, 499.

Он же. Флорентийские терцины // Сб. «Я живу» // Эренбург И. Стихотворения и поэмы. СПб.: Академический проект, 2000*. С. 110.

* Далее — СП.

«Христос». Там же. С. 120–121.

Там же. С. 115.

41

Жамм Ф. В это утро наша церковь радостно звонила… // Жамм Ф. Стихи и проза / Пер. И. Эренбурга и Е. Шмидт. М., 1913.

Эренбург И. Из сб. «Детское». СП. С. 148.

43

Там же. С. 146.

Эренбург И. Заметки о русской поэзии // Гелиос. 1913. № 2. С. 14–17.

Он же. «Франсису Жамму» // Сб. «Детское». СП. С. 165.

Он же // Сб. «Я живу». СП. С. 123–124.

Он же // Сб. «Одуванчики». СП. С. 135.

Он же // Сб. «Будни». СП. С. 154.

49

Там же. С. 150.

Гудаш. Будни И.Г. Эренбурга // Парижский вестник. 1911. № 16. 19 апреля.

51

Русские ведомости. 1916. 6 июля.

Эренбург И. Лик войны. София, 1920. С. 38–39.

Маревна. Моя жизнь с художниками «Улья».

Там же. С. 139–141.

Там же. С. 89.

Там же. С. 88.

Эренбург И. Лик войны. С. 17.

Он же. ЛГЖ. Кн. 1. С. 179.

Он же. Россия в Шампани // Биржевые ведомости. 1916. 6 декабря.

Он же. Лик войны. С. 57.

61

Там же. С. 28.

62

Эренбург И. Париж — Петроград // Биржевые ведомости. 1917. 24 августа.

Он же. ЛГЖ. Кн. 2. С. 10.

Фрезинский Б., Зубарев Д. Эренбург, Савинков, Волошин в годы смуты. 1915–1918 // Звезда. 1996. № 1.

Эренбург И. В вагоне // Биржевые ведомости. 1917. 15 октября.

Он же. Понедельник // Киевская жизнь. 1919. № 14. 11 (24) сентября.

Он же. ЛГЖ. Кн. 2. Соч. Т. 7. С. 30.

68

И. Эренбург — В.А. Меркурьевой. 24 февраля и 7 мая 1919 г. // *Эренбург И.* Дай оглянуться. Письма 1908–1930 / Сост. Б.Я.Фрезинский. М.: Аграф, 2004*. Т. 1. С. 93, 97.

* Далее — Письма. Т. 1: Дай оглянуться… (1908–1930); Т. 2: На цоколе историй… (1931–1967).

69

Лундберг Е. Записки писателя (1917–1920). Берлин, 1922. С. 108.

Эренбург И. «Судный день» // Сб. «Молитва о России» // СП. С. 307.

Там же. С. 300.

Там же. С. 301.

Там же. С. 299.

Там же. С. 300.

Волошин М. Поэзия и революция. Александр Блок и Илья Эренбург // Камена. Харьков, 1919. № 2.

В.В. Маяковский и Л.Ю. Брик: Переписка 1915–1930 / Изд. подгот. Б. Янгфельдт. Stockholm, 1982. С. 50.

Эренбург И. ЛГЖ. Кн. 2. С. 11.

Блок А. Записные книжки. 1901–1920. М., 1965. С. 324.

Эренбург И. На тонущем корабле // Ипокрена. 1919. Апрель. Автор выражает благодарность Д.М. Фельдману, любезно предоставившему в 1990 году статьи И. Эренбурга в «самиздатском» исполнении.

Он же. Без бенгальского огня // Киевская жизнь. 1919. № 4. 29 августа (11 сентября)

Он же. ЛГЖ. Кн. 2. С. 50–51.

82

Он же. На тонущем корабле.

Он же. ЛГЖ. Кн. 2. С. 64.

Там же. С. 67–68.

Там же. С. 65–66.

Мандельштам Н. Вторая книга. Воспоминания. М., 2001.С. 11.

Булгаков М.А. Собр. соч.: В 8 т. СПб., 2004. Т. 8. С. 322 («Белая гвардия»).

88

Дневник военного врача А.И. Ермоленко. Цит. по: *Чудакова М.О.* Жизнеописание Михаила Булгакова. М., 1988. С. 95.

89

Там же. С. 105.

Эренбург И. ЛГЖ. Кн. 2. С. 75.

91

И. Эренбург — В.А. Меркурьевой. 10 апреля и 7 мая 1919. // Письма. Т. 1. С. 95, 97.

Мандельштам Н. Вторая книга. С. 11.

93

Там же.

Мандельштам Н. Воспоминания. М.: Согласие, 1999. С. 128.

Там же.

Эренбург И. // Сб. «Огонь». СП. С. 394.

Там же. С. 395, 392, 394, 393.

Там же. С. 369–370.

99

И. Эренбург — В.А. Меркурьевой. 24 февраля 1919 г // Письма. Т. 1. С. 93.

Эренбург И. Огонь. Сборник. СПб. С. 379.

101

Он же. Понедельник.

Он же. Без бенгальского огня.

103

Он же. На тонущем корабле.

Он же. На пути в Дамаск // Донская речь. 1919. № 12. Ноябрь. Печат. по: И.Г. Эренбург. Статьи 1919 года / Подгот. Д.М. Фельдмана // De Visu. № 0.1992.

105

Там же.

Эренбург И. Понедельник.

107

То же.

108

Эренбург И. Исход // Киевская жизнь. 1919. № 31. 6 (19) октября.

109

Он же. Элегия палачей // Донская речь. 1919. № 13. 27 октября. Печат. по: *Фельдман Д.М.* И.Г. Эренбург. Статьи 1919 года.

110

Там же.

Brown C. Ossip Mandelstam. A Biography. Cambridge, 1973.

112

Цит. по: *Мстиславский С.* Погромы. Из воспоминаний о деникинщине на Украине // Былое. 1925. № 1 (29). С. 186.

113

Мандельштам Н. Вторая книга. С. 16.

Эренбург И. Старый скорняк // Красная новь. 1928. № 6.

115

Цит. по: *Мстиславский С.* Погромы. С. 192, 197.

116

Эренбург И. О чем думает жид? // Киевская жизнь. 1919. № 33. 9(22) октября.

117

Эренбург И. ЛГЖ. Кн. 2. С. 84.

118

Он же. На пути в Дамаск.

119

Он же. ЛГЖ. Кн. 2. С. 89.

Там же. С. 92.

121

Эренбург И. Портреты русских поэтов. СПб.: Наука, 2002. С. 83.

Он же // Сб. «Раздумия». СП. С. 408.

123

Там же. С. 405–406.

Там же. С. 397.

125

Эренбург И. ЛГЖ. Кн. 2. С. 105.

Он же. Жизнь и гибель Николая Курбова. Соч. Т. 2. С. 72–73.

127

Он же. ЛГЖ. Кн. 2. С. 127.

Там же. С. 161

129

Там же. С. 118.

Елагин Ю. Темный гений. Всеволод Мейерхольд. Frankfurt a. M.: Overseas Publications Interchange Ltd., 1982. P. 235.

Эренбург И. И все-таки она вертится. М.; Берлин, 1922.

Он же // Сб. «Раздумия». СП. С. 411.

Он же. Портреты русских поэтов. С. 101.

134

Он же. На тонущем корабле.

135

Эфрон А. О Марине Цветаевой. Воспоминания дочери. М.: Советский писатель, 1989. С. 118, 117, 119.

Эренбург И. ЛГЖ. Кн. 4. С. 571.

Шкловский В.Б. ZOO. Письма не о любви. Берлин, 1922. С. 94.

138

Эренбург И. «Позади ты, и всё же со мною…» // Сб. «Раздумия». СП. С. 414.

139

Он же. Московские раздумия // Сб. «Раздумия». СП. С. 412.

Ehrenbourg E. L'Art Russe d'Aujourd'hui (Русское искусство сегодня) // L'Amour de l'art. 1921. Novembre.

141

Archive de la Préfecture de police de Paris. Direction de la police générale. Ea/186.

142

Леонид Геллер предлагает также в качестве образца Жюль Верна. См.: Ссылка в центр мира, или Рецепция как метод борьбы // Eds. J.-Ph. Jaccard, A. Morard, G. Tassis. Русские писатели в Париже. Взгляд на французскую литературу, 1920–1940. М.: Русский путь, 2007.

143

Эренбург И. Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников. Соч. Т. 1. С. 229.

Там же. С. 220.

145

Там же. С. 296.

Там же. С.296, 298.

147

Там же. С. 298.

Там же. С. 299.

149

Там же. С. 405.

Там же. С. 394–395.

151

Там же. С. 436.

Эренбург И. «О горе, горе убежавшим с каторги!..» // Сб. «Зарубежные раздумия». СП. С. 422.

153

«Пятно на карте — места хватит…» // Сб. «Зарубежные раздумия». СП. С. 419.

154

И. Эренбург — М.М. Шкапской. 27 ноября 1921 г//Письма. Т. 1. С. 128.

155

И. Эренбург — А.С. Ященко. 14 июля 1921 г. // Письма. Т. 1. С. 113.

Эренбург И. Над схваткой // Русская книга. 1921. № 8; О некоторых признаках расцвета российской поэзии // Русская книга. 1921. № 9.

157

И. Эренбург — А.С. Ященко. 14 июля 1921 г. // Письма. Т. 1. С. 113.

158

И. Эренбург — А.С. Ященко. 30 сентября 1921 г. // Там же. С. 122.

159

Шкловский В. Б. ZOO… С. 95.

160

Лундберг Е. Записки писателя (1920–1924). Л., 1930. Т. 2. С. 209.

См.: Одна или две русские литературы. L’Age d’Homme, 1981.

Пуни И. А все-таки она вертится // Новая русская книга. 1922. № 2.

163

И. Эренбург — М.М. Шкапской. 5 мая 1922 г// Письма. Т. 1. С. 155.

И. Эренбург — М.М. Шкапской. 14 мая 1922 г. Там же. С. 159.

165

И. Эренбург — М.М. Шкапской. 5 мая 1922 г. Там же. С. 156.

166

И. Эренбург — Е.Г. Полонской. 25 ноября 1922 г. Там же. С. 223.

167

И. Эренбург — М.М. Шкапской. 31 мая 1922 г. Там же. С. 166.

168

И. Эренбург — М.М. Шкапской. 5 мая 1922 г. Там же. С. 156–157.

169

Эренбург И. Писатели о себе // Новая русская книга. 1922. № 4. С. 43.

Русский Берлин 1921–1923 / Сост. Л. Флейшман, Р. Хьюз, О. Раевская-Хьюз. Ymca-Press, Paris, 1983, С. 209.

171

Цит по: *Вайнштейн М.* Антисемитизм… и завтра? Иерусалим, 1983. С. 146.

Шкловский В.Б. ZOO… С. 95.

173

И. Эренбург — Е.Г. Полонской. 29 октября 1922 г. // Письма. Т. 1. С. 210. И. Эренбург цитирует собственное стихотворение «Где солнце, как желток…» (сб. «Звериное тепло»).

174

И. Эренбург — Е.Г. Полонской. 12 июня 1923 г. Там же. С. 290.

175

Не-Буква. Тартарен из Таганрога // Накануне. Литературное приложение. 1922.29 октября.

176

И. Эренбург — Е.Г. Полонской. 18 ноября 1922 г// Письма. Т. 1. С. 218; И. Эренбург — М.М. Шкапской. 18 ноября 1922 г. Там же. С. 216.

177

Ященко А. Литература за пять истекших лет // Новая русская книга. 1922. № 11–12.

178

И. Эренбург — Е.Г. Полонской. 5 января 1922 г. // Письма. Т. 1. С. 228.

179

Эренбург И. Письма другу (из книги «Виза времени»). Соч. Т. 4. С. 14.

Там же. С. 9.

181

И. Эренбург — Е. Полонской. 29 марта 1922 // Письма. Т. 1. С.146.

Шкловский В. ZOO… С. 94.

183

Цит. по: *Цветаева М.* Пленный дух // *Разумовская М.* Марина Цветаева. Overseas Publication Interchange Ltd., 1983. P. 176.

184

И. Эренбург — М.И. Цветаевой. 16 июня 1922 г. // Письма. Т. 1. С. 175.

185

И. Эренбург — Е.Г. Полонской. 19 мая 1923 г.; 7 января 1923 г. Там же. С. 281–282; 244.

186

И. Эренбург — М.М. Шкапской. 18 августа 1923 г. Там же. С. 302.

187

Эфрон А. О Марине Цветаевой. Воспоминания дочери. М.: Советский писатель, 1989. С. 249.

188

Цит. по: *Михайлова М.* Эренбург и Цветаева // Книжное обозрение. 1987. № 42.

189

Там же.

190

М. Цветаева — Р. Гулю. 9 февраля 1923 г. // *Цветаева М.* Письма. М.: Эллис Лак, 1995.

Луначарский А. Очерк литературы революционного времени //Литературное наследство. 1970. Т. 82. С. 229.

Замятин Е. Лица. Нью-Йорк, 1967. С. 206.

Шкловский В.Б. ZOO… С. 95.

194

И. Эренбург — М.М. Шкапской. 5 октября и 20 августа 1922 г. // Письма. Т. 1. С. 205, 196; Е.Г. Полонской. 21 апреля 1923 г. // Там же. С. 271.

195

Геллер М. Концентрационный мир и советская литература. М., 1996. С. 87–96.

196

И. Эренбург — М М. Шкапской. 22 мая 1923 г. // Письма. Т. 1. С. 282.

197

Зелинский К. В изменившемся мире. М.: Советский писатель, 1969. С. 20, 22–24.

198

И. Эренбург — В. Лидину. 2 и 18 сентября 1923 г. // Письма. Т. 1. С. 305, 308.

199

И. Эренбург — В. Лидину. 1 сентября 1923 г. Там же.

Эренбург И. ЛГЖ. Кн. 4. Соч. Т. 7. С. 304.

201

Он же. Об обыкновенном и не обыкновенном // Ленин. Однодневная литературная газета, посвященная памяти Владимира Ильича Ленина (Ульянова). РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 2. Ед. хр. 441. Л. 1об.; ЛГЖ. Т. 7. С. 243–244.

Он же. Ускомчел // *Эренбург И.* Неправдоподобные истории. Берлин, 1921.

203

Эйхенбаум Б. Дневник. 9 марта 1924 г. Част. собр. Е. Берар.

Русский современник. 1924. № 3; 1924. № 4.

205

Ю. Тынянов — Л. Лунцу. Ленинград, 1924 // Вопросы литературы. 1988. № 12.

Эренбург И. ЛГЖ. Кн. 4. Соч. Т. 7. С. 238.

Он же. Рвач. Соч. Т. 2. С. 365.

208

И. Эренбург — Шкапской. 16 ноября 1924 г. // Письма. Т. 1. С. 369.

209

Цит. по: *Разумовская М.* Марина Цветаева. Р. 175.

210

И. Эренбург — М. Шкапской. 12 апреля 1924 г. // Письма. Т. 1. С. 336.

Попов В., Фрезинский Б. Илья Эренбург. Хроника жизни и творчества. СПб., 2000. Т. 2 (1924–1931). С. 80.

212

Цит. по: *Brym R.J.* The Jewish Intelligentsia and Russian Marxism / 1978. P. 74.

213

И. Эренбург — М.М. Шкапской. 16 ноября 1924 г. // Письма. Т. 1. С. 369; Е.Г. Полонской. 30 декабря 1925 г. Там же. С. 479.

214

И. Эренбург — Е.Г. Полонской. 25 марта 1925 г. Там же. С. 411.

215

И. Эренбург — Е.Г. Полонской. 7 февраля 1925 г. Там же. С. 398.

216

И. Эренбург — М.М. Шкапской. 16 ноября 1924 г. Там же. С. 369.

217

См.: *Berard E.* Ilia Erenburgs Berliner-Zeit // Russische Emigration in Deutschland 1914 bis 1941 / Ed. K. Schlögel. Berlin, 1995.

218

Последние новости. Париж. 21.7.1927. Цит. по: *Попов В., Фрезинский Б.* Илья Эренбург. Т. 2. С. 211.

219

Цветаева М. Мой ответ Осипу Мандельштаму // Цветаева М. Собр. соч. М., 1994. Т. 5. С. 314.

220

И. Эренбург — В.Г. Лидину. Декабрь 1926 г. // Письма. Т. 1. С. 522.

221

См.: *Morel J.-P.* Le Roman insupportable. L'Internationale littéraire et la France. 1920–1932. Paris: Gallimard, 1985.

Frank N. 10.7.2. et autre portraits. Paris: M. Nadeau, 1983. P. 237.

223

Там же.

Ehrenbourg I. Les Aventures extraordinaires de Julio Jurenito. Paris: Pion, 1924.

225

И. Эренбург — Е. И. Замятину. 18 января 1925 г. // Письма. Т. 1. С. 390.

Горбов Д. Итоги литературного года // Новый мир. 1925. № 12. С. 130.

Вопросы литературы. 1999. № 1. С. 301–302.

228

И. Эренбург — Е.Г. Полонской. 25 марта 1925 г. // Письма. Т. 1. С. 411.

229

T. 4. C. 546.

230

Там же.

231

Там же. С. 545.

Там же. С. 546.

233

Там же. С. 549.

Там же.

235

И. Эренбург — Е.И. Замятину. 4 апреля 1925 г. // Письма. Т. 1. С. 418.

Эренбург И. Ложка дегтя. Соч. Т. 4. С. 551.

237

Там же.

Там же. С. 553.

239

Там же. С. 551.

240

Там же.

241

Эренбург И. ЛГЖ. Кн. 3. С. 270.

242

И. Эренбург — Е.Д. Зозуле. 27 февраля 1927 г. // Письма. Т. 1. С. 529.

243

Переписка Бориса Пастернака/ Сост., подгот. текстов и коммент. Е.В. Пастернак и Е.Б. Пастернака. М.: Художественная литература, 1990. С. 372–373.

Frank N. 10.7.2. et autres portraits. P. 234.

245

И. Эренбург — Е.И. Замятину. 31 октября 1926 и 16 ноября 1925 г. // Письма. Т. 1. С. 512, 470–471.

Frank N. 10.7.2. et autre portraits. P. 236.

247

Берковский Н. Советская литература в Германии // Вечерняя красная газета. Л., 1927. 4 мая. Цит. по: *Попов В., Фрезинский Б.* Илья Эренбург. Т. 2. С. 202; Literarische Welt. 1927. № 10.

Цит. по: Tracts surréalists et déclarations collectives / Ed. J. Pierre. Le terrain vague. 1980. Vol. 1.P. 77.

Drieu la Rochelle P. Russie 1927 d'Alfred Fabre-Luce // NRF, 1928. Fevrier.

250

И. Эренбург — Е.Г. Полонской. 25 июля 1927 г. // Письма. Т. 1. С. 542.

251

И. Эренбург — Е.Г. Полонской. 24 сентября 1927 г. Там же.

Эренбург И. Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца. Соч. Т. 3. С. 7.

253

Там же. С. 12.

Там же. С. 205.

Там же. С. 80.

Benjamin W. Gesammelte Schriften. Suhrkamp Verlag, 1991. Bd. II. 2. P. 743–744.

46 *Wat A.* Mon siècle, Entretiens avec Cz. Milosz. Paris: L'Age d'Homme, 1989.

258

И. Эренбург — В.Г. Лидину. 5 января 1929 г. // Письма. Т. 1. С. 582.

259

Эренбург И. В Польше. Соч. Т. 4. С. 148. (Впервые опубл. в: Красная новь. 1928. № 4.)

Там же. С. 149.

261

Там же.

262

Там же.

Эренбург И. Ложка дегтя. Т. 4. С. 552–553.

Он же. В Польше//Красная новь. 1928. № 4. С. 172, 178. (Этот фрагмент отсутствует в перепечатках очерка. — *Е.Б.*)

265

Там же. См. также: Erenburg w Warszawie // Wiadomosci Literackie. 1927. № 51. 18 grudnia.

Приблизительно в то же время, в 1930 году, появляется в Берлине книга Theodor Lessing «Der jüdlische Selbsthass». Лессинг станет одной из первых жертв Гестапо.

Эренбург И. Ложка дегтя. Сон. Т. 4. С. 553.

Он же. Единый фронт. Берлин, 1930. С. 280, 250, 236–237.

269

Там же. С. 294.

Frank N. 10.7.2. et autre portraits. P. 239.

Эренбург И. ЛГЖ. Кн. 3. Соч. Т. 7. С. 304.

272

И. Эренбург — В.Г. Лидину. 21 ноября 1928 г. // Письма. Т. 1. С. 577.

И. Эренбург — В.Г. Лидину. 3 марта 1929 г. Там же. С. 584.

Morel J.-P. Le Roman insupportable. P. 332.

Эренбург И. ЛГЖ. Кн. 3. Соч. Т. 7. С. 304.

Там же. С. 309.

277

Marion D. «Europe — société anonyme» d'l. Ehrenbourg // NRF. 1932. Decembre.

Pozner V. 1 °C.V. par I. Ehrenbourg // NRF. 1930. Decembre.

279

Письмо И. Эренбурга // Вопросы литературы. 1999. № 1. С. 305. (И. Эренбург — Н.И.Бухарину. 22 февраля 1928 г. Письма. Т. 1. С. 559.)

280

Бухарин Н. Чего мы хотим от Горького // Правда. 1928. 29 марта. Цит. по: *Попов В., Фрезинский Б.* Илья Эренбург. Т. 2. С. 253.

281

Коэн С. Бухарин. Политическая биография. 1888–1938 / Пер. с англ. М.: Прогресс, 1988. С. 398–399.

282

И. Эренбург — В.Г. Лидину. 27 апреля 1930 г. // Письма. Т. 1. С. 594.

283

Замятин Е. Избранные произведения. М., 1999. Т. 2. С. 408.

Эренбург И. Бубновый валет и компания. Петроград, 1925.

285

Préfecture de Police de Paris. Direction de la Police générale, côte Ea. 186.

Эренбург И. ЛГЖ. Кн. 3. С. 369.

Там же. С. 382.

Эренбург И. День второй. Соч. Т. 3. С. 215, 218, 220.

289

Там же. С. 240, 242.

Там же. С. 244.

291

Там же. С. 293, 337.

Там же. С. 337–338.

293

Там же. С. 384.

Там же. С. 293.

295

Там же. С. 298.

Там же. С. 570.

297

Ильф И., Петров Е. Любовь должна быть обоюдной // Правда. 1934. № 108. 19 апреля. С. 4.

Ehrenbourg I. Jeunesse russe. Entretiens, lettres, journaux intimes // NRF. 1933. Janvier.

299

И. Эренбург — В.А. Мильман. 2 июня 1933 г. // Письма. Т. 2. С. 88.

300

И. Эренбург — В.А. Мильман. 30 июня 1933. Там же. С. 92.

И. Эренбург — В.А. Мильман. 5 сентября 1933 г. Там же. С. 97–98.

302

Письмо 31 августа 1933 //Я слышу всё… Почта Ильи Эренбурга. 1916–1967* / Сост. Б. Фрезинский. М.: Аграф, 2006. С. 53–54.

* Далее — Почта.

303

Эренбург И. Люди. Годы. Жизнь. 1990. Т. 2. С. 37–38.

Frank N. 10.7.2. etautres portraits. P. 251.

305

Ж. Сименон оставил портрет Эренбурга, выведя его в романе «La tête d’homme» («Голова человека»), 1931, под фамилией «Радек».

Frank N. Memoirs brisées. Calmann-Levy, 1967. P. 283.

Morel J.-P. Le Roman insupportable. P. 411.

Koestler A. Hiôroglyphes. Paris, 1978. Vol. 2. P. 128.

Lacouture J. Malraux, une vie dans le siècle. Seuil, 1976. P. 130.

Эренбург И. Андре Мальро. Соч. Т. 4. С. 567.

311

Там же. С. 561, 563.

312

Эренбург И. На западном фронте. 3. Сюрреалисты // Литературная газета. 1933. № 28. 17 июня. С. 2. I. Ehrenbourg, Duhamel, Gide, Malreaux, Mauriac, Morand, Romains, Unamuno vus par un écrivain d'URSS. Paris: Gallimard, 1934.

313

И. Эренбург — В.Г. Лидину. 4 марта 1933 г. // Письма. Т. 2. С. 68.

314

И. Эренбург — В.А. Мильман. 3,9 марта 1934 г. Там же. С. 122–123.

315

Речь идет о статье «Последние византийцы» (Известия. 1933. № 141. 4 июня. С. 2), посвященной французским писателям.

316

И. Эренбург — В.А. Мильман. 11 мая 1933 г. // Письма. Т. 2. С. 82.

317

Cahiers de la Petite Dame, 1929–1937. Paris: Gallimard, 1974. P. 389.

318

Речь И.Г. Лежнева // Первый Всесоюзный съезд советских писателей. С. 178.

319

Там же. С. 184.

Эренбург И. ЛГЖ. Кн. 4. С. 424.

Он же. Затянувшаяся развязка. М., 1934. С. 193 (очерк «В джунглях Европы»).

Мандельштам Н. Вторая книга. Воспоминания. С. 486.

Hellenz F. Documents secrets. Paris, 1958. P. 163.

Commune. Paris, 1934. Vol. 2. P. 63.

325

РЦХИДНИ. Ф. 558. Оп. 1. Ед. хр. 4591; Письма. Т. 2. С. 134–137.

В книге подчеркнуто — прим. верстальщика.

327

Цит. по: Письма. Т. 2. С. 137.

Эренбург И. ЛГЖ. Кн. 4. С. 433.

329

Письмо И. Эренбурга М.Е. Кольцову. 17 января 1935 // Письма. Т. 2. С. 145–146.

Там же. С. 146. (Хекслей — Олдос Хаксли. — *Е.Б.*).

331

Запись телефонного разговора 4 апреля 1935. РГАПИ. Ф. 1204. Оп. 2. Ед. хр. 170

Там же.

333

Писатели пишут А.С. Щербакову / Публ. А. Рубашкина // Нева. 1999. № 3. С. 175.

Эренбург И. ЛГЖ. Кн. 4. С. 449.

335

Benda J. Le Congrès international des écrivains // NRF. 1935. Août.

Герасимова В. Беглые записи // Вопросы литературы. 1989. № 6. С. 136.

Regler G. La Glaive et le Fourreau. Paris: Pion, 1960. P. 204.

Эренбург И. Люди. Годы. Жизнь. 1990. Т. 1. С. 561.

339

И. Эренбург — В.А. Мильман. 9 августа 1935 г. // Письма. Т. 2. С. 176.

Писатели пишут А.С. Щербакову. С. 177.

341

И. Эренбург — М.Е. Кольцову. 24 марта 1936 г. // Письма. Т. 2. С. 205.

И. Эренбург — С.Б. Рейзину. 24 марта 1936 г. Там же. С. 206.

343

И. Эренбург — В.А. Мильман. 9 июня 1936 г. Там же. С. 223.

344

И. Эренбург — М. Кольцову. 4 июля 1936 г. // РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 2. Ед. хр. 668.

Эренбург И. ЛГЖ. Кн. 4. С. 490.

346

Письмо И. Эренбурга, 26 октября 1936 г. Из личного собрания И.И. Эренбург.

См.: *Thomas H.* The Spanish Civil War. London, 1986.

Там же. С. 508–509.

349

Рапорт И. Эренбурга В.А. Антонову-Овсеенко. 17 ноября 1936 г. // Письма. Т. 2. С. 242.

Krivitsky W. I was Stalin's Agent. London, 1939.

См.: *Thomas H.* The Spanish Civil War. P. 477, 533.7

Правда. 15 декабря.

Soter M.A., Schneider L.M. El Congreso internacional de escritores antifascistas 1937. Barcelona, 1978. Vol. 1. P. 95.

Хемингуэй Э. По ком звонит колокол. М.: Правда, 1988. С. 357–358.

Эренбург И. ЛГЖ. Кн. 4. С. 510.

Regler G. La Glaive et le Fourreau. Paris: Pion, 1960. P. 326.

Кольцов М.Е. Испанский дневник // Кольцов М.Е. Избранные произведения: В 3 т. М.: Художественная литература, 1957. Т. 3. С. 499.

Soler M.A., Schneider L.M. El Congreso internacional… Vol. 3. P. 29.

359

И. Эренбург — М. Кольцову. 16 июля 1937 г. // Письма. Т. 2. С. 250.

Там же.

Коэн С. Бухарин. С. 438.

Шенталинский В. «Прошу меня выслушать…» // Огонек. 1989. Сентябрь № 39.

Эренбург И. ЛГЖ. Кн. 4. С. 558.

Там же. С 559.

Там же. С. 565.

366

Цит. по: *Коэн С.* Бухарин. С. 449 (сообщение Denny H. в «The New York Times», 13 March 1938).

Гладков А. Мейерхольд говорит. Записи 1934–1939 гг. // Гладков А. Театр. Воспоминания и размышления. М., 1980. С. 302.

368

Мандельштам Н. Вторая книга. Воспоминания. С. 358.

Част. Собр. И.И. Эренбург.

Эренбург И. ЛГЖ. Кн. 4. С. 566.

371

Там же.

Он же. Кн. 4. Т. 7. С. 587.

Эренбург И. // Сб. «Одиночество». СП. С. 479

Он же. «В кастильском нищенском селенье…» // Сб. «Испания». СПб. С. 464.

РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 2. Ед. хр. 3641.

Михаил Кольцов, каким он был. Воспоминания. М., 1965. С. 71.

377

Письмо В. Мейерхольда на имя Вышинского. 13 января 1940. Цит. по: *Ваксберг А.* Процессы// Реабилитирован посмертно. Вып. 1. М.: Юридическая литература, 1988. С. 291.

Эренбург И. «Верность» // Сб. «Верность». СП. С. 460.

Цит. по: *Поликарпов В.* Федор Раскольников // Огонек. 1987. Июнь. № 26. С. 6.

Эренбург И. ЛГЖ. Кн. 4. С. 613.

381

Там же. С. 616.

Stradecki J. Tuwim w Paryzu // Polityka. 1984. № 11.17 marca.

383

Эренбург И. ЛГЖ. Кн. 4. С. 631.

Там же. С. 633–634.

385

Там же. С. 634.

Эренбург И. ЛГЖ. Кн. 4. С. 638.

Там же. С. 640.

Эренбург И. // Сб. «Надежда». СП. С. 494–495.

Он же // Сб. «Одиночество». СП. С. 482–483.

Мандельштам Н. Вторая книга. Воспоминания. С. 349.

391

Эренбург И. ЛГЖ. Кн. 4. С. 645.

Там же. С. 647.

393

Симонов К. Живые и мертвые. М.: Советский писатель, 1977. С. 60.

Cathala J. Sans fleur ni fusil. Paris: Albin Michel, 1981. P.317.

Werth A. Moscow 41. London, 1942.

Эренбург И. ЛГЖ. Кн. 5. Соч. Т. 7. С. 663.

Эренбург И. // Сб. «Стихи о войне». СП. С. 500.

398

Он же. Война. Т. 1: Июнь 1941 — апрель 1942. М.: Гослитиздат, 1942. С. 350 (ст. «Чудо»).

399

Из частного собрания И.И. Эренбург.

Эренбург И. ЛГЖ. Кн. 5. Соч. Т. 7. С. 665.

401

Верт А. Россия в войне 1941–1945 / Пер. с англ. М.: Эксмо, 2003. С. 484.

Эренбург И. ЛГЖ. Кн. 5. Соч. Т. 7. С. 676.

403

В.С. Гроссман — И.Г. Эренбургу. Конец ноября 1941 г. // Почта. С. 75.

Верт А. Россия в войне 1941–1945. С. 331–332.

Там же. С. 349.

Эренбург И. Севастополь. Соч. Т. 5. С. 544.

Цит. по: *Верт А.* Россия в войне 1941–1945. С. 324.

Эренбург И. ЛГЖ. Кн. 5. Соч. Т. 7. С. 709.

409

Ахматова А. Стихотворения и поэмы. Л.: Советский писатель, 1977. С. 212 («Мужество», 23 февраля 1942).

Эренбург И. Оправдание ненависти. Соч. Т. 5. С. 539.

Верт А. Россия в войне 1941–1945. С. 284–285.

Рубашкин А. Публицистика И. Эренбурга против войны и фашизма. М.; Л., 1965. С. 265.

413

Эренбург И. Война. Т. 2: Апрель 1942 — март 1943. М.: Гослитиздат, 1943. С. 22 («Убей»).

См.: *Redlich Sh.* Propaganda and Nationalism in Wartime Russia: The Jewish Antifascist Committee in the USSR 1941–1948. N.Y, 1983.

415

Эйникайт. 1943. 15 марта.

Государственный антисемитизм в СССР 1938–1953. Документы / Сост. Г.В. Костырченко. М., 2005. С. 35–37.

417

Эйникайт. 1943. 25 июля.

418

Черная книга; жизнь и судьба. Стенограмма заседания Еврейского антифашистского комитета. 1946, 25 апреля / Публ. И. Альтмана // Горизонт. 1989. № 10. С. 30–38.

Альтман И. Неизвестная «Черная книга». Иерусалим; М., 1993. С. 16–28.

Цит. по: *Рубашкин А.* Публицистика И. Эренбурга против войны и фашизма. С. 301.

421

Выступление И. Эренбурга на IX Пленуме правления ССП. Февраль 1944. Част. собр. И.И. Эренбург.

422

Выступление И. Эренбурга на творческом заседании ССП. 26 марта 1943 г.//РГАЛИ. Ф. 1204. Оп.2. Ед. хр. 223.

423

И. Эренбург — В.Г. Лидину. 25 декабря 1943 г. // Письма. Т. 2. С. 327.

424

А. Ахматова — И. Эренбургу. 30 мая 1944 г. // Почта. С. 164.

425

Гладков А.К. Мейерхольд: В 2 т. М.: СТД РСФСР, 1990. Т. 2: Пять лет с Мейерхольдом. С. 421.

Эренбург И. Война. Т. 3: Апрель 1943 — март 1944. М.: Гослитиздат, 1944. С. 289, 329 («Великий и негасимый», «Изгнание врага»).

427

Еврейский народ в борьбе против фашизма. Материалы 3 антифашистского митинга представителей еврейского народа. 2 апреля 1944 г. // ОГИЗ. 1945. С. 38–41.

Верт А. Россия в войне 1941–1945. С. 533–534.

Эренбург И. Путь к Германии. М., 1944. С. 35 («Накануне»); Тоже: Правда. 1944. 7 августа.

Эренбург И. Кончать с немцем // Красноармеец. 1944. № 27. 23 февраля.

431

Цит. по: *Эренбург И.* ЛГЖ. Кн. 5. Т. 7. С. 670, 669.

Werth A. La Russie en guerre. Vol. 2. P. 279.

Cathala J. Sans fleur ni fusil. P. 354.

Гроссман В. Украина без евреев // За родину. 1944. 28 ноября.

Еврейский народ в борьбе против фашизма. М., 1945. С. 39–40.

436

Интервью, данное Г. Смоляром автору книги. Израиль, январь 1989 г.

437

Частное сообщение. Свидетель просил не предавать огласке свою фамилию.

Эренбург И. // Сб. «Дерево». СП. С. 513.

439

Государственный антисемитизм в СССР 1938–1953. С. 45–46.

Цит. по: *Gilboa Y.* The Black Years of Soviet Jewry, 1939–1953. Boston, 1972. P. 238–240.

Suckever A. Ilya Ehrenburg, 1944–1946 // Die Goldene Keit. 1967. № 61.

Цит. по: *Werth A.* La Russie en guerre. Vol. 2. P. 279.

Верт А. Россия в войне 1941–1945. С. 536.

Цит. по: *Фрезинский Б.* Почерк вождя // Невское время. 1995. 14 апреля.

Там же.

446

Письмо И. Эренбургу. 3 мая 1945 г. // Почта. С. 211–212.

Верт А. Россия в войне 1941–1945. С. 284–285.

448

Письмо И. Эренбургу от Правления Ленинградской Большой синагоги. 14 мая 1945 г. Впервые приведено в ст.: *Bérard E.* Ilya Ehrenburg in Stalin's Post-War Russia // Soviet Jewish Affairs. 1987. Vol. 17. № 1.

Suckever A. Ilya Ehrenburg 1944–1946 // Di Goldene Keit. 1967. № 61.

Эренбург И. Книга для взрослых. Соч. Т. 3. С. 569.

Desanti D. Les Staliniens. Paris: Fayard, 1975. P. 60.

Симонов К. Глазами человека моего поколения. Размышления о Сталине. М.: Правда, 1990. С. 96–97.

453

Эренбург И. Девятый вал. М.: Советский писатель, 1953. С. 7.

454

Выступление И. Эренбурга в ЦДЛ ССП СССР по поводу первой годовщины со дня смерти А.Н. Толстого. 25 февраля 1946 г. Част. собр. И.И. Эренбург.

См.: *Baron S.* The Russian Jews under Tsar and Soviets. N.Y, 1964. P. 312.

456

Эренбург И. Буря. Собр. соч.: В 9 т. М.: Художественная литература, 1965. Т. 5. С.463.

Симонов К. Глазами человека моего поколения. С. 159–160.

458

Эйникайт. 1948.15 января.

459

Телеграмма И. Эренбурга А. Эйнштейну. 19 мая 1948 г. Част. собр.

460

Вечер памяти С.М. Михоэлса 24 мая 1948 г. Выступление Ильи Эренбурга. Впервые приведено в: *Bérard E.* Ilya Ehrenburg in Stalin's Post-War Russia. С небольшими изменениями: *Эренбург И.* «…и через сто лет дети будут читать о страстном патриоте Советского Союза…» // Театр. 1990. № 4. С. 34–35.

461

Эренбург И. По поводу одного письма // Правда. 1948. 21 сентября.

Интервью, данное автору Ж. Катала. Февраль 1978 г.

463

Цит. по ст. Эренбурга «По поводу одного письма».

464

Интервью, данное автору дочерью писателя И.И. Эренбург. Ноябрь 1978 г.

См.: *Костырченко Г.* В плену у красного фараона. М., 1995.

Правда. 1949. 28 января.

Эренбург И. ЛГЖ. Кн. 6. С. 222.

Там же. С. 223–224.

469

Там же. С. 236.

Markish E. Le Long Retour. Laffont, 1970. P. 287.

471

Конференция защитников мира. Лондон 23 июля 1950. Част. собр. И.И. Эренбург.

См.: *Bérard Ewa.* Sartre et Beauvoir en URSS // Commentaire. 1991. № 53. P. 161–168.

473

Интервью, данное автору Е.А. Зониной. Москва, ноябрь 1977 г.

Эренбург И. Девятый вал. С. 732.

475

И. Эренбург — П.Н. Поспелову. Февраль 1953. Част. собр. И.И. Эренбург.

Почта. С. 274.

Там же. С. 275.

РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 2. Ед. хр. 2717 («Просьбы о помощи в пересмотре дел» за июль — сентябрь 1951 г.). Далее письма из этой архивной единицы цитируются без ссылок.

479

Там же. Ед. хр. 2725. Николай Степанов. Обращения за 1956 г.

480

Там же. Ед. хр. 2723. Обращения за март — апрель 1954 г. М. Васкин. 17 марта 1954 г.

481

Там же. Ед. хр. 2717.

482

Интервью, данное автору Е.А. Зониной. Москва, ноябрь 1977 г.

483

Цит. по: *Эренбург И.* ЛГЖ. Кн. 6. С. 369.

484

См.: И. Эренбург — М.А. Суслову. 30 января 1953 г. // Письма. Т. 2. С. 372.

Там же. С. 373.

Государственный антисемитизм в СССР 1938–1953. С. 470–473.

Там же. С. 478–479.

Эренбург И. ЛГЖ. Кн. 6. С. 370, 378.

Он же. Великий защитник мира // Правда. 1953. 11 марта.

Генри Э. Открытое письмо писателю Илье Эренбургу // Грани. 1967. № 63.

491

Встреча с московскими читателями. 1965 год. // Советская культура. 1991. 26 января. С. 15.

Эренбург И. // Сб. «Новые стихи. 1964–1966». СП. С. 554.

Он же. О работе писателя // Знамя. 1953, № 10. С. 163.

Хрущев Н. Высокая идейность и художественное мастерство — великая сила советской литературы и искусства (Речь т. Н.С. Хрущева на встрече руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства 8 марта 1963 года) // Новый мир. 1963. № 3. С. 28–29.

495

Сурков А. Улучшить идейно-воспитательную работу среди писателей (На собрании партийной организации московских литераторов) // Литературная газета. 1954. № 71.15 июня. С. 1–2.

Абрам Терц (Синявский Л.). Что такое социалистический реализм? Париж: Syntaxis, 1988. С. 59–60.

Симонов К. Проблемы развития прозы // Литературная газета. 1954. № 151. 27 января.

Desanti D. Les Staliniens. P. 385.

499

Эренбург И. Оттепель // Собр. соч.: В 9 т. М.: Художественная литература, 1965. Т. 6. С. 76.

Там же. С. 33.

501

Там же. С. 35.

502

Симонов К. Новая повесть Ильи Эренбурга // Литературная газета. 1954. № 85. 17 июля.

503

Стенограмма собрания секции прозы Союза писателей от 14 июля 1954 г., записанная Ф. Вигдоровой. См.: Débat sur Le Dégel d'Ilya Ehrenbourg à l'Union des écrivains soviétiques / Publ. E. Bérard // La Revue russe. Paris, 2006. № 28. P. 59–68.

504

Стенограмма встречи с читателями по поводу второй части «Оттепели». Июнь 1956 г. Част. собр. Ю. Эйдельман. С. 37.

505

Письмо И.Г. Эренбурга в ЦК КПСС. 17 июля 1954 г. Част. собр. И.И. Эренбург.

506

Там же.

507

Эренбург И. О статье К. Симонова // Литературная газета. 1954. 3 августа.

Он же. Оттепель. Вторая часть // Знамя. 1956. № 4. С. 69.

509

Стенограмма встречи с читателями по поводу второй части «Оттепели» С. 41.

Эренбург И. Оттепель. Вторая часть. С. 58.

511

Интервью, данное автору Ю. Эйдельман, секретарем И. Эренбурга в 1956 г. Москва, октябрь 1989 г.

512

Эренбург И. «Ошибся — нужно повторить» // Сб. «Стихи. 1938–1958». СП. С. 525.

513

Wywiad z Ilja Erenburgiem *11* Przeglad Kulturalny. Варшава, 1955. Luty. № 8.

514

Цит. по: Вокруг мемуаров Ильи Эренбурга / Публ. Е. Берар // Минувшее: исторический альманах. Т. 8. Paris: Atheneum, 1990; М.: Феникс, 1992. С. 405–406.

515

Эренбург И. ЛГЖ. Кн. 7. С. 436.

Вокруг мемуаров Ильи Эренбурга… 1992. Т. 8. С. 387–406.

517

Рябов И. Про смертяшкиных // Крокодил. 1957. № 5. Февраль.

518

Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. М.: Согласие, 1997. Т. 2: 1952–1962. С. 255–256.

519

Эренбург И. ЛГЖ Кн. 7. С. 461.

Там же. Кн. 1. Т. 6. С. 552.

521

См.: *Костырченко* Г. В плену у красного фараона.

Эренбург И. ЛГЖ. Кн. 7. С. 462.

523

Contre Intervention soviétique // France-Observateur. 1956. № 339. 8 Novembre.

Эренбург И. ЛГЖ. Кн. 7. С. 466.

525

Там же. С. 463.

Vercors. Ne pas rompre le contact // France-Observateur. 1956. № 341. Novembre.

527

Интервью, данное автору Жан Брюллером (Веркор), Париж. Май 1980 г.

528

Эренбург И. Необходимые разъяснения // Литературная газета. 1957. 9,12 февраля. № 18–19.

529

Эренбург И. ЛГЖ. Кн. 7. С. 449, 459.

De Beauvoir S. La Force des choses. Paris: Gallimard, 1963. P. 347.

531

См.: *Bérard E.* Sartre et Beauvoir en URSS // Commentaire. 1991. № 53. P. 161–168.

Эренбург И. ЛГЖ. Кн. 6. С. 309.

533

Интервью, данные автору И.И. Эренбург (Москва, декабрь 1979 г.) и Л. Мэр (Стокгольм, декабрь 1979 г.).

Sperber M. La Liquidation de la littérature juive en URSS // L'Express. 1956. 30 Mars.

Fejto F. Les Juifs et l'antisémitisme dans les pays communistes. Paris: Plon, 1960.

536

L'Antisémitisme en URSS du temps de Staline // Le Monde. 1957. 22 августа. Ответ И. Эренбурга в: Le Monde. 1957. 26 сентября; см. также: И. Эренбург — главному редактору газеты «Монд» Бёв-Мери. 13 сентября 1957 г // Письма. Т. 2. С. 438–439.

537

Эренбург И. О стихах Бориса Слуцкого // Литературная газета. 1956. № 89. Июль.

Эренбург И. Стихи. 1938–1958. С. 526.

539

РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 2. Ед. хр. 448. Л. 6. (Перевод с франц.)

Там же. Ед. хр. 3416. Л. 37–42.

541

И. Эренбург — Н.С. Хрущеву. 17 августа 1958 г. // Письма. Т. 2. С. 449–450.

542

Интервью, данное автору Н. Столяровой. Ноябрь 1978 г.

543

Там же.

Herling-Grudzinski G. Zweig I Erenbrug // Kultura (Культура). Paris, 1967. Listopad.

545

Там же.

Signoret S. La Nostalgie n’est plus ce qu'elle était. Paris: Seuil, 1976. P. 177.

547

Э.Г. Казакевич — И. Эренбургу. 6 мая 1959 г. // Почта. С. 378.

548

К. Паустовский — И. Эренбургу. 14 февраля и 21 ноября 1959 г // РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 2. Ед. хр. 2028.

549

Ю.О. Домбровский — И. Эренбургу. 1960 г. // Почта. С. 411–412.

Част. собр. И.И. Эренбург.

551

Эренбург И. «Во Францию два гренадера…» //Сб. «Стихи. 1938–1958». СП. С. 523.

Signoret S. La Nostalgie n’est plus ce qu’elle était. P. 177.

553

Гладков А.К. Поздние вечера. Воспоминания. Статьи. Заметки. М.: Советский писатель, 1986. С. 204–205.

Каверин В. Поиски жанра // Воспоминания об Илье Эренбурге. М. Советский писатель, 1975. С. 46–47.

555

Лидин Вл. Страницы полдня // Новый мир. 1979. № 6. С. 64.

Каверин В. Поиски жанра. С. 41.

Вайль П., Генис А. 60-е. Мир советского человека. М.: Новое литературное обозрение, 1988. С. 44–45.

De Beauvoir S. La Force des choses. P. 347.

559

Интервью, данное автору Л. Мэр.

Стариков Д. Об одном стихотворении //Литература и жизнь. 1961. № 115. 27 сентября. С. 3.

561

И. Эренбург — Н.С. Хрущеву. 9 октября 1961 г. // Письма. Т. 2. С. 505–506.

Интервью, данные автору Г. Смоляром, В. Познером в ноябре 1978; Б. Биргером, Б. Сарновым, Л. Лазаревым в январе 1980.

Вокруг мемуаров Ильи Эренбурга… 1992. Т. 8. С. 387–406.

Там же.

565

Там же.

Там же.

567

Там же.

568

И. Эренбург — Е. Гинзбург. 20 марта 1961 г. // Почта. С. 445–446.

Глезер А. Человек с двойным дном. Paris, 1979. С. 39.

570

Стенограмма встречи И. Эренбурга со студентами МГУ. 19 апреля 1962 г. Част. собр. И.И. Эренбург.

571

Ромм М. Четыре встречи с Н.С. Хрущевым // Огонек. 1988. № 28. С. 8.

Там же. С. 26.

Tatu M. Le Pouvoir en URSS. Grasset, 1967. P. 333.

Ермилов В.В. Не замалчивать существа спора // Известия. 1963. № 25. 29 января. С. 3–4.

Эренбург И. Не надо замалчивать существа спора // Известия. 1963. 5 февраля.

Хрущев Н. Высокая идейность и художественное мастерство — великая сила советской литературы и искусства. С. 28–29.

577

Интервью, данное автору Л.К. Чуковской. Москва, декабрь 1979 г.

Интервью, данное автору Е.А. Зониной.

579

И. Эренбург — Н.С. Хрущеву. 27 апреля 1963 г. Цит. по: Вокруг мемуаров Ильи Эренбурга. С. 401.

Там же. С. 402.

581

Там же. С. 402–403.

582

Интервью, данное автору Л.З. Копелевым и Р.М. Орловой. Декабрь 1979 г.

583

Солженицын А.И. Бодался теленок с дубом. Paris: YMCA-Press, 1975. С. 44.

Вокруг мемуаров Ильи Эренбурга… С. 395, 396, 397.

585

И. Эренбург — Н.С. Хрущеву (без указания даты). Част. собр. И.И. Эренбург.

586

Письма И. Эренбургу. 17 марта 1963 г. Част. собр. Н. Столяровой.

587

Интервью, данное автору А. Эйснером. Декабрь 1979 г.

Мандельштам Н. Вторая книга. Воспоминания. С. 565.

589

Н.И. Ежов, глава НКВД, чья фамилия дала название целой эпохе великой чистки 1934–1938 гг., в свою очередь оказался среди репрессированных в 1938-м. Его дочь, судя по этому письму, верила, что ее отец все еще мог быть в живых.

590

Н.Н. Хаютина — И. Эренбургу. Май 1963 // Почта. С. 539–540.

591

И. Эренбург — Н.Н. Хаютиной. Там же. С. 540.

Гладков А.К. Поздние вечера. С. 206.

593

Интервью, данное автору Л. Мэр.

Эренбург И. ЛГЖ. Кн. 5. Т. 8. С. 53.

595

Интервью, данное автору Б. Сарновым.

Ямпольский Б. Последняя встреча с Василием Гроссманом // Континент. 1976. № 8.

Эренбург И. Одиночество. С. 479.

Гладков А.К. Поздние вечера. С. 207.

599

Стенограмма мемориального вечера к 70-летию Исаака Бабеля. ЦДЛ. 11 ноября 1964 г. Част. собр. Н. Столяровой.

600

Стенограмма встречи И. Эренбурга с читателями в Московской районной библиотеке № 66. 9 марта 1966 г. Част. собр. И.И. Эренбург.

601

Литературная газета. 1967. № 22. 31 мая. С. 13.

Эренбург И. Новые стихи. 1964–1966. С. 554.

Iourienen S. Lomonosov Campus ou Troisiéme génération. Acropole, 1986. P. 127–136.

Мандельштам Н. Вторая книга. С. 22.

605

Слуцкий Б. Год за годом // Литературный ежегодник. 1989. № 5. С. 94.